

Антология Сатиры и Юмора России



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Виктор Коклюшкин

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века



~~заrepidie~~ сюжетом
~~зарефлективировано~~ в форме
~~самых привлекательных~~ сюжетов
и сюжетов, в которых участвуют
настоящие люди и их дела.
Сюжеты заражают
одними и теми же болезнями
всех, кто ими заражен.
Да, это чисто
искусство... а еще
научное, это наука,
это и есть наука?
Наука не знает
~~науки~~ не знает
ничего, кроме
и ее, Репортажа или
беседы писателя К.И.

~~записки~~
старинности и бывшего на
этот разрыв между старым и новым.
Но это не тот разрыв, который
появился в нашем обществе, когда
были открыты "Газеты"
и "Репортажи",
а разрыв в представлениях о
социальных нормах и нравах
или же между "культурой"

и "простолюдинами". И это не
имеет ничего общего с тем, что
мы имеем ввиду в

Был в Азии служил на реке в то
время как ~~был~~ неподалеку от
города, где находился ~~на~~
император, в это время
император, т.к. из-за него в ту-
же ночь император
убежал в Китай.



Антология Сатиры и Юмора России XX века



*А*нтология Сатиры и Юмора России XX века

Виктор Коклюшкин

МОСКВА «ЭКСМО» 2007

УДК 82-7
ББК 84(2Рос-Рус)6-7
К 55

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Виктор Коклюшкин

Серия основана в 2000 году



С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»

Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Владимир Войнович,
Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,
Лев Новоженов, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак

Дизайн переплета Ахмед Мусин

Фотоматериалы — из личного архива автора

Коклюшкин В.

К 55 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 52 /
 Виктор Коклюшкин. — М.: Эксмо, 2007. — 512 с.: ил.

УДК 82-7
ББК 84(2Рос-Рус)6-7

ISBN 978-5-699-23546-9 (Том 52)
ISBN 5-04-003950-6

© Ю. Н. Кушак, составление, 2007
© В. М. Коклюшкин, текст, 2007
© ООО «Издательство «Эксмо»,
оформление, 2007

Содержание

Об авторе

9

Монологи, рассказы и воспоминания в миниатюрах

11

Предисловие

13

Про крылья

15

Люгода

18

Автоответчик

21

Ракета

24

Детектор лжи

26

Взятка

29

Начало

32

Алло, Люся, это я!

33

Дебют на ТВ

37

Мысли

38

Стихи-хи-хи...

41

Всемогущий

44

Сильная рука

45

Гидеводитель

48

Слохотронщики

49

Про лыжи

52

| | |
|---------------------|-----|
| Экзамен | 55 |
| Опять Люся! | 58 |
| Боец | 61 |
| Икона | 62 |
| Война и мир | 64 |
| Аукцион | 67 |
| Репетиция | 69 |
| Непобедимая жизнь | 72 |
| Майна | 75 |
| Культура | 76 |
| Судьба | 79 |
| Первый этаж | 82 |
| Поздним вечером | 83 |
| Красная кнопка | 85 |
| Было дело! | 88 |
| Про буквы | 89 |
| Нобелевский лауреат | 91 |
| Как похудеть | 94 |
| Драматург | 97 |
| Большое копыто | 99 |
| Телефон | 103 |
| Похожий | 104 |
| Колдун | 107 |
| Живописцы | 112 |
| Машина | 113 |
| Будь готов! | 115 |
| Здравствуй, дядя! | 116 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Иностранец | 119 |
| Консультация | 120 |
| Берегом реки | 123 |
| Мои университеты | 126 |
| Была весна... | 127 |
| С цветочками | 129 |
| Дурак | 131 |
| Будь здоров! | 134 |
| Звезда эстрады | 137 |
| Я помню все | 138 |
| Летчик | 141 |
| Про птичку | 142 |
| Жди себя | 145 |
| Музей | 148 |
| В театре | 149 |
| Знай наших! | 153 |
| Наш дом | 154 |
| Как я ходил в разведку | 157 |
| Роман | 162 |
| Хорошо, когда светит солнце | 164 |
| Историческая память | 170 |
| Санитарный день | 171 |
| Верные друзья | 175 |
| Мой друг | 176 |
| Без стен | 180 |
| Бомба | 186 |
| Они | 187 |

Успех 191

Полный вперед! 192

Никто не забыт 195

Жизнь моя 196

ЗОНТИК, маленькая повесть 199

БЛЕСК, маленький роман 233

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ, роман 301

ПРО ВСЕ ХОРОШЕЕ (сборное интервью) 485

Об авторе

Редко кому везет так в жизни, как повезло Виктору Михайловичу: он не родился черепахой и не попал в московский зоомагазин. Он даже не родился медведем и не выступает в цирке на потеху публике. Он не родился на холодном Севере, а, родившись в России, появился сразу в Москве. И не где-нибудь на окраине, а в месте весьма примечательном — рядом с институтом им. Склифосовского. Казалось бы, чем еще могла наградить судьба Виктора Михайловича, ан нет, много еще выпало ему удач: жил в Уланском переулке, что между Мясницкой и Сретенкой. И не мучился, не гнулся над учебниками, а, получив заслуженную тройку, гонял голубей, глядя в голубое небо доверчивыми глазами будущего юмориста. Ну разве мог бы Виктор Михайлович стать сатириком, если бы не пошел на фабрику слесарем в 15 лет, а в 18 — в армию? И здесь особое спасибо хочется сказать Никите Сергеевичу Хрущеву, который в 1961 году из 4 школ с десятилетним образованием оставил одну одиннадцатилетку, а также американскому империализму — именно ему три года противостоял Виктор Михайлович в глухой тайге рядом с межконтинентальными ракетами. А вернувшись в столицу Родины, опять работал и учился, закаливая свой характер в очередях и недоумении, которое вызывали лозунги: «Народ и партия едины!», «КПСС — ум, честь и совесть нашей эпохи!» И особенно «Коммунизм победит!», что большими буквами восседал на здании бывшего американского посольства на Ма-

нежной площади, красиво переименованной к возвращению Виктора Михайловича в площадь 50-летия Октября.

Безунчик или везунок — вот что можно сказать о Викторе Михайловиче Коклюшкине! Где бы он черпал темы, если бы судьба позабыла о нем и поселила сразу в отдельной квартире, швырнула бы к его ногам раннее признание и деньги? Отточила бы она его перо призрачным благополучием, не помыкав по должностям и профессиям? Выковала бы она его характер, по прочности напоминающий разве что титан, а по блеску золото? Даже когда ему сверлят зуб, Виктор Михайлович думает, как из этого сделать юмореску; даже когда руководители государства говорят, что скоро все будет хорошо, он не вздрагивает (потому что, когда они говорят, что все будет хорошо, верный признак, что будет плохо). А уж если жена упрекает его в недостаточности средств существования, еле сдерживается, чтобы не броситься сразу к письменному столу и не уложить услышанное в литые строчки, предназначенные — нет, не для собственного увеселения, а для вашего, дорогой читатель и телезритель.

Конечно, Виктор Михайлович учился не только у жизни, есть у него и государственный диплом, подтверждающий его литературное призвание, есть у него премии и книги, но этого ли добивался Виктор Михайлович? Для этого ли судьба топила его в застойном болоте, а потом кинула в кипящий котел перестроечной России? Конечно, нет! Задача, стоящая перед ним, серьезнее и благороднее, и звучит она так: пока есть люди, делающие нашу жизнь тяжелее, должны быть и те, а Виктор Михайлович числится себя именно среди них, кто должен делать жизнь легче, чтобы как-то уравновесить, выровнять корабль нашей страны, что движется сквозь туман действительности в неведомую нам даль.

Виктор Михайлович КОКЛЮШКИН

Монологи, рассказы и воспоминания в миниатюрах





- Слышишь? Летит самолет.
- Это ангел.
- А почему гудит?
- Озверел.

Предисловие

За много лет я насочинял много. И всякий раз, составляя сборник, задумывался: а что включить? В своих воззрениях я не меняюсь, но время... Что раньше вызывало интерес, теперь рождает уныние, что побуждало улыбнуться, сегодня — вздохнуть, почесать затылок и плюнуть!

И вот опять я кумекаю: что явить читателю, дабы не упасть в его глазах, не ляпнуться в невнимание. Тем более что рассказы дороги мне по-своему: вот этот я написал в гостинице на гастролях; этот в троллейбусе, когда ехал сквозь солнечный весенний день из своей молодости в зрелость. А вот этот — в реставрационном бюро, где работал старшим инженером и по вечерам, едва все уходили домой, гасил верхний свет и в волшебном полуосвещении настольной лампы плыл сквозь облака сигаретного дыма вперед к гонорару!

Поэтому, изрядно поломав голову, я принял единственно правильное решение. Взял рукописи в охапку и бросил под потолок. Когда порхание бумажек, лай собак и недоуменный возглас жены успокоились, я стал собирать листочки в стопку, беря первые попавшиеся.

«А если кому-то что-то не понравится, — объяснил жене, — скажу: я не виноват — судьба!»

«А если понравится всем?» — вдруг спросил сын.

«Ну уж это навряд ли! — ответил я. И нравоучительно добавил: — Смысл жизни не в том, чтобы все птицы пели, как соловьи, а в том, чтобы каждая птичка пела свою песню!»

Витя... То есть Виктор Михайлович

Про крылья

В кино снимаюсь, играю монаха,

который крылья сделал и с колокольни упал.

Мне крылья сделали, говорят: «Давай!» Столкнули с колокольни, а я — полетел.

Режиссер кричит: «Ты что — роль забыл? Ты же должен упасть!»

Столкнули меня, а я опять полетел. В деревне дело было, ребятишки бегут, вопят: «Осень! Мужики на юг улетают!»

Бабка какая-то кричит: «Милок, поищи сверху мою корову! А то она пошла траву щипать, а куды — не сказала!»

Фермер орет: «Что ж ты порожним летаешь — распыли удобренья, иначе эти твари весь урожай сожрут! Я кричу: «Какие твари?!» Он кричит: «Да эти — городские!»

Режиссер кричит: «Дубль третий! Ты должен взмахнуть и упасть!»

Я взмахнул и полетел. Он кричит: «Этого не может быть! Монах упал!»

Я кричу: «Я атеист. Вернее, — кричу, — я верю, что Бог есть, но не верю, что мы в него верим!»

Режиссер кричит: «Твою мать! Слезай с неба! Урежьте, — кричит, — у него крылья, чтоб он сразу брякнулся!»

Урезали мне крылья на полметра, я взмахнул и — полетел.

Оператор орет: «Что ж он, гад, делает — у меня пленка скоро кончится! Дайте ему снотворного или слабительного, чтоб его в полет не тянуло!»

А у колокольни уж все население деревни собралось. Тракторист орет: «Что он тут как птичка порхает! Лучше б за бутылкой сгонял!»

Бабка кричит: «Он небось денег хотит, а на мою пензию можна тока корову кормить, а с ее молока и я жива!»

Фермер орет: «Им легче за границей продукты покупать, чем свой урожай сохранить! Ну что ему стоило синильной кислотой сверху побрызгать!»

Старичок кричит: «Ето мафия! Оне тута казину хотят построить, чтобы наши бабы им стриптиз показывали!»

Баба Нюрка орет: «Я ему и без казины покажу! Все одно тут меня, кроме меня, никто не видит!»

Режиссер кричит: «Ты что — изdevаешься?! Сейчас солнце зайдет! Немедленно приколокольнивайся!»

Я кричу: «У монаха не получилось, а я — лечу!»

Помреж кричит: «Ну, кретин! Ему внизу постелили, чтоб мягко падать, а он летает и еще разговаривает!»

Учительница у колокольни объясняет детям: «Это иллюзия — обман зрения!»

Я кричу: «Дети, не верьте! Я лечу, вы же видите!..»

Девочка сквозь слезы говорит: «Мы видим, но если скажем, что видим, учительница может двойку поставить!»

Ну, сел я на колокольню, головой об колокол стукнулся, и где сильней загудело — не понять!

Подрезали мне крылья так, что они чуть больше ладоней стали.

Режиссер кричит: «Дубль пять! Давай!»

Я взмахнул и полетел. Тяжело, конечно, но лечу!

Режиссер кричит: «Ружье мне!» Принесли ему дробовик. Встал я опять в проеме колокольни, он говорит в мегафон: «Дубль шесть! И учти, Витя, или ты упадешь живым, или мертвым!»

Взмахнул я крыльями, и... тут, на мое счастье, солнце зашло. Завтра съемки продолжатся, а как поступить — я не знаю. Обидно: умею летать, а нужно — падать!

* * *

Один человек пришел в парикмахерскую.

— Стричь или брить? — спросил парикмахер.

— А просто поговорить вы не можете? — спросил человек.

Погода

Ж

ена сказала: «Пойдем в гости

к интеллигентным людям, поэтому говори только про погоду».

Я говорю: «Понял». Только пришли, я говорю: «Погода сегодня хорошая!»

Хозяйка говорит: «Чего ж хорошего — дождь?»

Я говорю: «Ну и что — в любую погоду приятно выпить!»

Хозяин говорит: «Вы на машине?» Я говорю: «Я когда в гости иду, машину оставляю, чтобы пьяным за руль не садиться».

Жена толкает в бок, шепчет: «Про погоду!»

Я говорю: «Особенно в плохую погоду. Потому что от вина я балдею!»

Хозяйка говорит: «Давайте поговорим о чем-нибудь более приятном!!»

Я говорю: «Согласен. Коньяк намного приятнее!»

Жена шепчет: «Про погоду, идиот!»

Я говорю: «Но это смотря в какую погоду, если на улице мороз, нет ничего лучше водки!»

Хозяин говорит: «Давайте поговорим о литературе».

Я говорю: «Я литературу люблю! Сядешь в кресло, откроешь книгу, рядом пару пивка поставишь. А лучше дюжину, чтоб два раза не ходить!»

Тут в комнату вошел мальчик. Хозяин говорит: «Познакомьтесь, это наш сын Коля, ему шесть лет».

Я говорю: «В его возрасте я еще не пил! Попробовал в семь и сразу шампанское!»

Мальчик говорит: «Мам, дай шампанское!»

Она говорит: «Иди погуляй, пока мы с дядей беседуем».

А хозяин говорит интеллигентно: «Как вам американское кино?»

Я говорю: «Никакой фантазии: только виски с содовой и со льдом! А в нашем — селедочка под шубой, холодец с хреном, малосольные огурчики!..»

Жена мне на ногу наступила и громко говорит: «Дождик-то сегодня грибной!»

Я говорю: «А грибы вообще первая закуска! Соленые опята да под холодную водочку!..»

Жена кричит: «Кроме опят, есть еще белые и подберезовики!..»

Я говорю: «А эти пожарить и под сухое!»

Хозяин надменно говорит: «А я люблю рыбалку!..»

Я говорю: «Кто ж спорит — под уху я вообще могу литр выпить. А если не хватит, можно в деревню за самогоном сходить!»

Хозяин кричит: «Охоту люблю!»

Я говорю: «А кто ж не любит?! Мы однажды выпили и два часа кабана гнали, а потом оказалось, что это охотинспектор!»

Хозяин кричит: «В шахматы люблю играть!..»

Я говорю: «И я тоже! Главное, не пить много пива, а то приходится часто от доски отходить!»

Хозяйка говорит: «Я хотела вам показать подарок, который мне сделал муж!»

Я говорю: «Что ж вы молчали — его ж надо обмыть! Вот мы обмыли жене сапоги двадцать лет назад, и она их до сих пор носит!»

Жена схватила меня за руку и потащила к выходу.

«Рад был познакомиться! — крикнул я. — Жаль только, погода плохая, а то бы пошли куда-нибудь выпили!»

На улице жена сказала гневно: «Я же просила говорить только про погоду!»

Я говорю: «Я и говорил! Но у них, судя по всему, другие интересы!»

*A*втоответчик

Tоворит автоответчик.

Хозяина нету дома. Черт его знает, где он шляется! Вчера завалился под утро, спрашивает: «Мне кто-нибудь звонил?» Я говорю: «Плохо было слышно, наверное, с того света дозваниваются». Он меня как хряснет ботинком!

Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так!

Но теперь я буду говорить правду! А то вчера он пошел в ванную, а я всем должен был говорить, что он в библиотеке! Кто его пустит в библиотеку с такой мордой?! У нас в Японии утром завтракают — он опохмеляется. У нас на завтрак — 50 грамм риса, он — 150 водки. Выпьет, потом вспоминает, где он вчера был, долго осматривает карманы и удивляется, если в них что-нибудь находит!

Бизнесмен! А сам только недавно узнал, что это слово пишется с буквы «Б». «Ой, — говорит, — а я думал!..» Знаем мы, о чём он думает! По видику одну голозадую чушь смотрит! Козел!

Еще раз стукнет — всем расскажу, как он заставил меня говорить, что будет через час, а самого трое суток не было! Пошёл взятку давать в

паспортный стол, дверью ошибся — и прям к следователю! А тот говорит: «Мало!» И ему трое суток, чтоб больше дал!

Козел! Это я не вам! Нету его! Не знаю! Может, вообще никогда не придет! Все мечтает в Америку уехать. Но только при одном условии: чтоб все американцы русский язык выучили, потому что он английский никогда в жизни не выучит! Неделю учил: «Хау дую ду!» — а все равно слышится какая-то матерщина!

Кто говорит — автоответчик говорит! А ты поживи с ним, и ты научишься! Я сначала тоже не умел, а потом перегара нанюхался, дыма надышался... однажды ночью как запою! Мой козел вскочил, кричит спросонья: «Кто тут?!" Я говорю: «Автоответчик!» Он говорит: «А почему не спиши?» Я говорю: «Давай еще по одной — и по бабам!» Он говорит: «Выпить выпью, а насчет женщин — пас!» Выпил и заснул! Козел!

Что-то у него с прекрасным полом не клеится. То выдру какую-то приведет. Она с себя все отклеит — он потом сам от нее прячется! Закроется в ванной и кричит: «У меня срочная работа, завтра доклад!» А однажды привел: с виду баба как баба, даже кофе сварила, а разделась — мужик. Мой — под тахту, мне кричит: «Если меня будет спрашивать, я в командировке!»

Козел! Да не вам это! Нет его! Не знаю! Если поехал к Федьке, будет года через три! Почему-почему? Потому что они договорились американцам памятник Гоголю продать! Сказали: «Украина отделилась, и Гоголь теперь никому не нужен!» А в нем бронзы пудов сто! Американцы поверили

и сегодня деньги принесут. Но фальшивые. Поэтому как что это за американцы, если они с кавказским акцентом говорят! А если он поехал в казино «Жир-птица», приканывает под утро. Ключ в скважину вставить не сможет... будет просить меня открыть... Вчера: «Открой, я тебе сто баксов дам». Я говорю: «В мои обязанности не входит пьяным бизнесменам двери открывать!» Он говорит: «Молчи, кикимора японская». Я говорю: «Отдавайте Курильские острова!» Сразу заткнулся.

Уйду я от него! Вот лето наступит — и уйду по росе. Возьму пальчиковую батарейку... Может, где у фермера... иль в рыбохозяйстве поработаю. Велика Россия, чего мне тут в прокуренной комнате за железной дверью сидеть?!

* * *

Один человек стоял на берегу пруда с удочкой.

— Здесь рыбы нет, — сказали ему.

— Зато никто не мешает, — сказал человек.

Ракета

Ракетный полк слушает.

Да, товарищ генерал, пуск ракеты произведен. Кто приказал? Не знаю, сейчас спрошу... Алло, товарищ генерал, никто не знает. И вы тоже не знаете? Странно, вы — генерал, должны бы знать. Молчу дурак.

Товарищ генерал, разрешите задать вопрос? Вы ее никому на день рождения?.. Ну да, я понимаю, сто Хиросим... Главное, только недавно ходил покурить — стояла. Может, еще сходить? Нет, я имею в виду посмотреть. Главное, хорошая такая ракета, длинная... Если она где е-е!.. по радио обязательно передадут.

Товарищ генерал, а может, ее спи... Нет, я имею в виду списали по разоружению, а мы с вами ее ищем, как два дурака! Молчу кретин. Главное, здоровая такая была, если она где за границей е-е!.. обязательно в «Новостях» передадут! У нас любят, когда у них тоже что-то взрывается. Молчу кретин.

Товарищ генерал, а она точно была? Не, я на всякий случай, уточнить. Ну, помните, мы второй танк искали, а потом выяснилось, что это у

vas в глазах двоилось? И пока второй искали, кто-то первый спер! Молчу идиот.

Главное, вот только недавно стояла... На ней еще кто-то «ДМБ-95» написал. Нет, товарищ генерал, наши не брали. Я сам предлагал — никто не берет.

Алло, товарищ генерал, а может, она еще вернется? Может, подождать, и она прилетит? Не, вот вы тоже не верили, что Мухобаев из отпуска вернется, а он прилетел! Молчу кретин.

А вы в какую часть звоните? В 313-ю? А это — 414-я! Ну вот и разобрались!

Спасибо, товарищ генерал. До свиданья!

1994 г.

Детектор лжи

M

ея тут на детекторе лжи проверяли...

В банк решил устроиться кассиром. Они говорят: «Надо проверить, а то вдруг вы чужое возьмете!» Я говорю: «А вдруг вы мое тяпнете?» Они спрашивают: «А у вас есть?» Я говорю: «А вдруг будет?» Они говорят: «Вот когда будет, тогда и тяпнем! А сейчас идите к детектору!»

Ну, подсоединили ко мне провода, говорят: «Смотрите на нас». Я смотрю, а сзади них на столе — бутылка.

Тот, который за детектором, спрашивает: «Фамилия?» Я говорю: «Прохоров». Он говорит: «Детектор показывает, что вы говорите не то, что думаете!» Я говорю: «Вы бутылку со стола уберите, и он будет показывать правильно!»

Убрали. Длинный спрашивает: «Изменяли вы когда-нибудь жене?» Я говорю: «Нет!» У маленького шея вытянулась длиннее, чем у длинного. «Почему?» — спрашивает он. Я говорю: «Так я же холостой!»

Длинный говорит: «О чём вы думаете, когда видите красивую женщину?»

Я говорю: «О мужчине». Маленький подозрительный: «О каком?» Я говорю: «О том, кому она рога наставит!» Маленький еще меньше стал.

А длинный меня взглядом испепеляет, спрашивает: «За кого вы голосовали на выборах?» Я говорю: «За соседа». Длинный говорит: «Он что — депутат?!» Я говорю: «Нет, он алкоголик и в тот день с дивана встать не мог!»

В детекторе что-то щелкнуло, и дым пошел. Который у детектора, говорит: «Ну ты и скотина — прибор сломал!» Я говорю: «Я же не виноват, что он мои мысли не понимает!» Длинный кричит: «А ты-то сам понимаешь?!» Я говорю: «Да у меня и мысли такой нет — свои мысли понимать!»

Ну, починили они, длинный спрашивает: «Есть ли у вас недвижимость за границей?» Я честно говорю: «Есть». Длинный с жадностью: «Какая?!» Я говорю: «Могила деда на Украине осталась!»

Длинный воздухом подавился. А маленький — тут как тут! Спрашивает: «Если бы вы пришли к власти, что бы сделали?» Я говорю: «Написался. С горя!»

Длинный откашлялся, кричит: «Почему?!» Я говорю: «Потому что у нас всегда: кого дружно выбирают, потом дружно матерят!»

У длинного глаза на пол упали. Он их поднял, платочком обтер и начал в уши вставлять. А маленький говорит: «Странно, но самописец совсем ничего не пишет!»

Я говорю: «Боится, тварь, правду писать!»

Ну, длинный наконец догадался — вставил глаза куда надо и говорит: «Отвечайте в рифму:

Европа...» Я говорю: «Плюс». Он говорит: «Не плюй в колодец, пригодится...» Я говорю: «Слюна».

У длинного уши зашевелились. А маленький напрягся весь и говорит: «Как вы считаете, правильно поступило царское правительство, что продало Аляску Америке?» Я говорю: «Нет. Надо было всю Россию продать, сейчас бы уже все лучше жили!»

В детекторе бабахнуло что-то, маленького на пол сбросило, а у длинного уши отскочили и стали под потолком летать.

«Верите ли вы, — кричит маленький с пола, — что Россия возродится?!»

Я говорю: «Конечно! Лично меня уже подташнивает и тянет на соленое!»

Тут уши длинного в окно вылетели, маленький в щель под дверью прополз, а я отсоединил обуглившиеся провода и пошел устраиваться на другую работу.

* * *

Один человек каждый день приносил жене с работы конфеты. А жена приносила ему хорошие сигареты. «Как они любят друг друга!» — говорила свекровь. А свекор, который работал пожарным, говорил: «А мне с работы и принести нечего. Разве что поджечь все тут к чертовой матери!»

Взятка

Внимание! Начинаем репетицию.

Иванов, вы — отпетый негодяй и мерзавец, даете взятку капитану милиции Шурупову. Он не берет.

Ну что вы упали? Хлипкий какой... Дайте ему нашатыры! Волков, ты что — сдурел?! Его нюхать надо, а не пить! Ну и что, что ты пьешь, а все остальные — нюхают! Вон дайте Венере Ивановне понюхать, а то старушка заснула, а ей прости-тутку играть! Я знаю, что в ее возрасте на панель не ходят, потому что трудно ходить. Но это специально, чтоб у зрителей надежда была, что с проституцией можно покончить!

Очнулся, Иванов? Хорошо, подоприте его сзади палкой, чтоб не упал. Да быстрее, он уже наклоняется!

Проститутка Венера Ивановна проснулась? Подкрасьте ей глаза, чтобы было видно, что они все-таки есть! И наденьте накладные груди. Где они?! Сидоров, ты что — обалдел?! Мы груди ищем, а ты в них разгуливаешь! Какой ты представитель сексуального меньшинства, если вас в театре уже большинство! Нет, ты их отдашь! А я

говорю: отдашь! Шурупов, вы в милицейской форме, отберите у него! Ну на себя-то зачем надевать?! Какая портупея? Пистолет у вас вон впереди болтается! А вы думали?.. Это ж сколько надо выпить, чтоб перепутать?!

Внимание! Начинаем репетицию! Негодяй Иванов дает взятку, а вы, Шурупов, не берете. Даже подержать. Смотрите на деньги презрительно, еще презрительней... еще... Ну что ты рожу скорчил, тебя же зрители испугаются!

Проститутка готова? А почему ей груди на спину привязали? Так легче носить? Сейчас же сделайте наперед, а сзади противовес, чтоб не упала! Какой противовес — ягодицы накладные противовес! Вон их Волдыщенко на голову надел! Думал, шлем? Вот и сидишь в них по уши! Сталевар! Да иди ты знаешь куда!.. А впрочем, ты уже там!

Венера Ивановна, голубушка, возьмите у него свою... деталь и будьте готовы. Как только Шурупов откажется от взятки, предложите себя. А я сказал: предложите! Тоже мне — тридцать лет Дездемону играла, пока зрители в первом акте не стали кричать: «Задуши ее!», а тут выкаблучивается!

Внимание! Начинаем репетицию! Входит Иванов... достает деньги... Ты что — обалдел?! Ты зачем себе откладываешь?! Что значит — много! Драматург лучше знает, сколько надо давать!

Всё, начали! Входит Иванов, достает деньги, отдает Шурупову... тот не берет... Ты зачем взял, подлец?! Что значит — автоматически?! Вот же у драматурга написано: не бе-рет! Нет, это не опечатка! Отдай Иванову деньги, он даст тебе, ты

не возьмешь. Иванов пошел... отдал... Где они?! Куда вы их спрятали?! Идиоты, это же не настоящие! Я сейчас милицию позову! Что ты орешь: «Я здесь!»? Я настоящую позову!

Вот так-то! Продолжаем. Иванов дает, Шурупов не берет... Ну неужели так трудно — не взять?! Ну, смотрите сюда. Иванов, давай мне... тьфу, мать, взял! Что ж ты так быстро, я ж не успел сообразить! Давай еще раз медленно... Вот видите, правой рукой не беру, а левая — сама цапнула!

Так, все понял! Наденьте на Шурупова наручники. Иванов, давай ему деньги. Ты зачем их зубами взял?! Ты же их покусаешь! Разожмите у него рот! Под мышками пощекотите, он заржет! Да не у меня — у него! Одну бумажку все-таки проглотил, подлец!

Завяжите ему рот! Вот видите, если его связать и держать — он не берет. Теперь входит Венера Ивановна и предлагает себя. Да что ж вы сразу халат-то распахнули — он сознание потерял! Надо быть милосерднее, хоть вы и простиутка. Волков, дайте ему нашатыря выпить.

Венера Ивановна, еще раз входите... Да что ж вы грудями-то так машете, как боксер перчатками?! Так вы его не соблазните, а убьете сразу! Эротика — это ж искусство, а не спорт. Вон смотрите, он зажмурился от страха. И бедрами, бедрами виляйте... Ну неужели нельзя было ягодицы ей крепче привязать — раз вильнула, и все упало! Над нами же смеяться будут! Кто сказал: комедия?

Точно! Будем ставить комедию, потому что над нашей жизнью только смеяться можно!

Начало

Из жизни

Свой первый рассказ я написал про трех горемык, распивающих в подъезде водку. Отправил в газету и, вожделея, стал ждать. А когда прошло почти два месяца, получил из газеты ответ: «Уважаемый тов. Клюшкин! (Именно так!) Ваше письмо, сигнализирующее о нарушении некоторыми лицами общественного порядка, отправлено редакцией для разбора и ответа в горисполком». Такой оплеухи я не ожидал, постарался забыть свой позор, но месяца через три получил еще один конверт. На официальном бланке было написано: «Уважаемый товарищ Кукушкин! (Именно так!) Управление коммунального хозяйства ставит Вас в известность, что согласно Постановления (такого-то) от (такого-то) года распивать спиртные напитки в общественных местах категорически запрещается».

*A*лло, Люся, это я!

*A*лло, Люся, это я!

Догадайся, откуда я звоню? Почему из дурдома?
Самое для меня место? Ошибаешься, Люся, я из
тюрьмы. Ловили киллера по словесному портрете:
нос средний, лоб средний, рост средний — ме-
ня и схватили!

Ну почему хуже всех?! Кроме меня еще пять
тысяч поймали — и все сознались. А ты попро-
буй не сознайся, если они сначала бьют — потом
спрашивают!

Я, Люсь, сознался во всех нераскрытих убий-
ствах — теперь меня в камере уважают. Вчера с
телевидения приезжали интервью брат, спра-
шивали: какие женщины мне нравятся — блон-
динки или брюнетки? А я, Люсь, и забыл, какая
ты, — ты ж всегда красишься, сказал: лысые, то
есть — обычновенные. А когда спросили, скры-
вал ли я от жены об убийствах, сказал «нет» —
я ж от тебя, Люсь, ничего не скрываю.

Что это упало? Ах, это ты? Ну, сейчас встала?
Села. Люся, быстрее сядешь — скорее выйдешь!
То есть выздоровеешь. Ну ладно, я тебе потом по-
звоню.

Алло, Люся, это я. Не, не из автомата, у нас у всех сотовый. Камера такая — люкс. Сидят только авторитеты. Начальник тюрьмы сам к нам звонить ходит. У него аппарат старый — еще при Дзержинском ставили. Дурак? Ах, я дурак. Ну ладно, я тебе потом позвоню.

Алло, Люся, это я. Ты что делаешь? Врача вызвала, а дверь открывать боишься? Ну пусть он тебя через дверь послушает. Почему я веселый? А я их обманул: сказал, что золото под фундаментом нашего дома зарыл, — так что наконец-то нашу пятиэтажку сломают! И мы переедем!

Нет, Люся, меня не расстреляют. Из нашей камеры всех под залог выпускают. Да, я сказал, что здесь сидят авторитеты, но не сказал, что только до вечера. Пока им деньги не привезут.

Кто мне привезет? Люся, когда я во всех убийствах признался — мне сразу тысяча предложений! На части рвут: магаданские, астраханские, тюменские... Я, Люся, поближе к дому выбрал — кремлевские. Посмотри в окно, если БМВ под окном стоит — это мой аванс. Мусоровоз стоит. Странно. Ладно, я тебе потом позвоню.

Алло, Люся, это я. Почему тихо говорю? У нас тут после обеда мертвый час — одного убили. Ничего не сделал — во сне хралел. Вот и он поспорил, что лекарства против этого нет. Ну что «что» — проспорил, сейчас не хранит. А у тебя как дела? Врач приходил? И что сказал? Что все плохо. Дала бы ему на сто тысяч больше, он бы сказал, что все хорошо. Люся, сейчас все продается и покупается! Вот мы дали надзирателю сто долларов,

и он сейчас убиенному сказки читает. Ну ладно, я тебе потом позовню.

Алло, Люся, меня освобождают! Люся, они не верят, что я всех убил. Они попросили меня прихлопнуть комара, я полчаса за ним гонялся. Опрокинул на следователя шкаф, два раза бил себя по лицу, а он все равно летает, гад! А потом на нос прокурору сел. И представляешь, Люся, пока я замахивался, он улетел, а прокурор остался.

Сейчас я в санчасти. Такое впечатление, что на меня, Люся, сто комаров село и их всех на мне прихлопнули.

Нет, Люся, врача здесь нету, только священник. Люся, теперь в тюрьме новая традиция: не лечат, а сразу отпевают. Был бы врач, он бы мне хоть какую таблетку дал, а этот протянул крест, я хотел куснуть, а это, оказывается, для поцелуя. И главное, тоже торопится: я еще жив, а он: «Господи, прими душу раба твоего усопшего...»

Я говорю: «Батюшка, жив я еще», он говорит: «Молитва длинная, когда дочитаю — усопнешь!» Ладно, Люся, я глаза закрою, пусть отдохнет.

Алло, Люся, это я! Похоронили, представляешь, сволочи! Я глаза закрыл, заснул, просыпаюсь — в могиле! А ты-то как? Врач приходил? И что сказал? Если еще раз дверь не откроешь, он не придет? Гордый какой! Скажи ему: пусть возьмет бинокль, а ты ему в окно язык покажешь! А я тебе говорю: он обязан, он клятву Гиппократу давал! Это такой авторитет, Люся. Он кого хочешь под землей найдет!

Алло, Люся, это я! Представляешь, только про Гиппократа заикнулся — уже откалывают! Гово-

рят о чем-то... Люсь, они почку хотят мою забраты! Не отдам! Сейчас только гроб откроют, скажу: вы не имеете права!

Алло, Люся, представляешь, я им сказал: «Вы не имеете права», они в обморок упали! Нет, Люсь, если с людьми по-человечески — они понимают. Вот лежат сейчас... молодые, в школе-то, наверное, учились плохо, а без образования сейчас куда — только в могильщики, а с образованием — только в покойники! Алло, Люся, а ты что молчишь? Плачешь? Ну, не плачь, я скоро приду!

1994 г.

Дебют на ТВ

Из жизни

Впервые по телевизору меня показали в 1976 году. Рядом с нашей конторой находился нарсуд, где судили диссидентов. Любопытствуя, мы туда ходили глазеть. И не заметили, как нас снял телеоператор, и вечером в программе «Время» я вдруг увидел себя и своих коллег. Сопровождающий текст был такой: «Охочие до дешевых сенсаций иностранные журналисты и жалкая кучка отщепенцев проводят долгие часы у стен народного суда».

На следующий день наш начальник на работу не вышел — заболел.

С тарушку через дорогу перевел,

она говорит: «Не простая я старушка, и теперь все, что ты подумаешь, — это сбудется!»

Я даже не успел додумать, а стакан уже у меня в руке! А вокруг народ. Я думаю: «Тут мне водка поперек горла встанет!»

Только подумал — она встала! Я кашляю, думаю: «Лучше бы я подумал, что в «Мерседес» еду!»

Смотрю — еду! А управлять-то не умею! Думаю: «Сейчас в столб врежусь!» Откуда ни возмись — столб посреди дороги! Я влево — он влево, я вправо — он вправо!

Я думаю: «Каюк пришел!», нажал на тормоз, подходит милиционер, говорит: «Лейтенант Каюк! Ваши права!»

Я думаю: «Что ж я ему — шиш покажу?!» Опомниться не успел — показываю! Прям в нос ему сую! И думаю: «Он меня арестует, а ведь я мог бы сейчас на Кипре сидеть!»

Только подумал, я на Кипре сижу — в тюрьме! Думаю: «Во, вляпался!»

Смотрю — стою в чем-то... Когда сообразил в чем, чуть не до потолка подпрыгнул. Думаю: «Скорее бы с этого Кипра подальше!»

Только подумал, смотрю — кругом снег. Думаю: «Озвереть можно!»

Гляжу — е-мое! У меня ноги лохматые и с когтями.

Я чуть сознание не потерял. Думаю: «Скорее бы в Москву!»

Открыл глаза — я в Москве, в зоопарке! Кто-то показывает на меня и говорит: «Озверевший гомо сапиенс, водится на Северном полюсе...»

Я аж взревел! Думаю: «Хочу стать тем, кем родился!»

Смотрю — я дома в колыбельке лежу. Жена, как увидела меня, чуть в обморок не упала. Я скорее думаю: «Хочу стать большим!»

Гляжу — я младенец, но ростом в два метра. Лежу на полу, потому что кроватка развалилась.

Тут жена в обморок упала. Я думаю: «Хоть бы кто из близких ей помог!»

Смотрю, входит сосед и начинает помогать. А жена очнулась и говорит: «Что ты здесь делаешь, сейчас муж придет!»

Я думаю: «У меня одна и — стерва? А кто-то сейчас в гареме спокойно кайфует!»

Только подумал — я в гареме, и мне спокойно, потому что я евнух! Перепугался не на шутку. Думаю: «Хорошо еще, что не женщина! А если бы стал женщиной!..»

Смотрю — ё-мое! Я — женщина. Мать-одиночка на третьем месяце...

Я аж взвыл! Думаю: «Дурак! Почему я не подумал, что хочу стать олигархом?!»

Гляжу — я олигарх. Только место какое-то по-

дозрительное. Я спрашиваю: «Где я?» Мне говорят: «В Матросской Тишине!»

У меня ноги подкосились, думаю: «Ну, если я заново ту старуху встречу!..»

Смотрю — стою на тротуаре, а навстречу идет та старуха и говорит: «Переведи меня, а я тебя отблагодарю!»

«Ну уж нет, — заорал я, — топай, бабка, сама, а мне и так неплохо!»

* * *

Один человек говорил, что в прошлой жизни он был верблюдом.

— Почему вы так думаете? — спрашивали его.

— Потому что, глядя на вас, — отвечал человек, — плонуть хочется!

Стихи-хи-хи...

О

оздняя осень, грачи улетели...

лес обнажился, а мы — обалдели!

Нет, поздняя осень, грачи охр... озверели, лес обнажился, а мы — не успели! Нет...

Поздняя осень, грачи обнажились, лес улетел, а мы... не нажились!

Поздняя осень... врачи улетели. Дохнул осенний хлад... журча, еще бежит за мельницей рублей... то есть ручей! Но пруд уже застыл... Шалун уж отморозил что-то, а оказалось, это... пальчик! Ему и больно, и смешно, а мать его!.. Неужели там про мать?!

Вот моя деревня, вот мой дом родной!.. Вот ка- чусь я с горки, выйдя из пивной!.. Какая глупость!

Вспомнил! Только не сжата полоска одна, грустную Думу наводит она!.. Далеко глядел поэт: Дума есть, а мыслей — нет!

Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны много сыплется!.. Фу, ка-кая гадость!

Все стихи я позабыл, потому что много пил...

Вспомнил! Мороз и солнце — день чудесный, златая цепь на дубе том! Интересно, кто этот

дуб? Как бы мне, рябине, к дубу перебраться? Я б смогла за деньги дураку отиться! Фу, какая пошлость!

Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает лес дремучий — больше нету ни хрена! Почему в башку лезет всякая ерунда? Если в брюхе нету дна — в башку лезет ерунда!

Я из лесу вышел, был сильный поно... то есть мороз! Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, жующая хворосту воз. Откуда дровишки? Лошадь говорит: «Из лесу, вестимо!» Я говорю: «А почему ты разговариваешь по-человечески?» Она говорит: «А почему вы живете не по-людски?!» Я говорю: «Дура!» Она говорит: «Сам дурак!»

Иван-дурак поймал говорящую суку... то есть щуку! Она его матом обляла, он ее отпустил! Фу, какая пошлость!

Жизнь моя! Иль ты приснилась мне? Будто кто весенней гулкой ранью дал поленом мне по голове! Какой ужас!..

Дай, Джим, на счастье в лапу мне!.. Ведь не берет сейчас лишь тот, кому никто уж не дает! Эт-то точно!

Поэтом можешь ты не быть!.. Но хочется и есть и пить! И отдохнуть, и погулять, ведь человек ты, а не... Фу, какая пакость!

Как хороши, как свежи были рожи!.. То есть лица... когда нам выпало родиться, ну а сейчас такие хари — глаза б их лучше не видали! Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: кто на свете всех милее?.. Зеркало сказalo так: «Ну, конечно, ты — дурак!» М-да!

Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, приватизировал мой дом! Тьфу ты!..

Улица — моя! Дома — мои! Окна разинув, стоят магазины! Окна удивляются, что цены поднимаются! А когда начнут снижаться — люди станут удивляться!

Белеет парус... одинокий, в тумане Боря... голубом... Что ищет он в краю далеком? Он президент, а тут — дурдом! Ерунда какая-то!

Вспомнил! Вспомнил! Вынесем все! И широкую, ясную грудью дорогу проложим себе, жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется... ни мне, ни тебе!

Тьфу! Лучше бы не вспоминал!

*В*семогущий

Из жизни

Только стал работать в конторе по охране и реставрации — посетитель. Говорит: «В Загорском районе Троицкая церковь... я много лет прошу, чтоб под охрану государства, но бюрократы, чиновники...»

Еще слабо понимая, что делать, я взял лист бумаги, записал и убрал в стол. А через неделю выходит Постановление Совмина РСФСР о постановке под госохрану памятников архитектуры, и в их числе — Троицкая церковь.

Этот посетитель приходит и говорит изумленно: «Виктор Михайлович, я столько лет добивался, а вы за одну неделю!» Я говорю: «Это не я». Он говорит: «Не волнуйтесь, я никому не скажу!»

На следующий день прихожу на работу — меня уже пять посетителей ждут. И заискивающие говорят: «Доброе утро, Виктор Михайлович!»

Сильная рука

И *ду по улице, навстречу*

какой-то странный человек с крыльями за спиной, говорит: «Виктор Михайлович, России нужна сильная рука».

Я говорю: «А я-то при чем?» Он говорит: «А у вас рука сильная, даже когда жена хотела вырвать стакан — не смогла».

Взмахнул крыльями и улетел. А я оказался в Кремле. Заходит ко мне этот, который... и говорит: «Вызывали?»

Я думаю: «Сон это». И, чтоб проверить, спрашиваю: «Какое сегодня число?» Он говорит: «А какое надо?» Я решил пощутить и говорю: «Первое января». Он говорит: «С Новым годом, Виктор Михайлович! А за окном — осень!

Нет, думаю, не сплю. И как кулаком по столу грохну. От того на паркете только пустое место осталось. Я испугался, а потом смотрю в окно — он невредимый в «Мерседес» садится. А в кабинет входит другой, как его... ну финансист. Я думаю: «Точно сплю!» И, чтоб проверить, спрашиваю: «Дважды два?» Он говорит: «Три. Но мы работаем и к концу года доведем до 3 и 8!» Я хотел его от-

пустить, а сзади кто-то невидимый шепчет:
«Сильная рука...»

Я ногой как топну и говорю: «До конца года ждать не буду, чтоб через месяц было 3 и 9!»

Его как ветром сдуло, а в кабинет входит этот, как его... и говорит: «Давайте введем новый налог». Я говорю: «На бензин?» Он говорит: «Лучше — на отправление естественных надобностей». Я говорю: «А если платить не будут?» Он говорит: «Тогда пусть терпят — мы не виноваты!»

Я от такого предложения сам чуть не обалдел! А его, гляжу, уж нет, вместо него этот, как его... глаза в разные стороны смотрят, в руках две бумажки: одна с просьбой уволить, другая с просьбой оставить. Я говорю: «Скажите честно: что будете делать, если окажетесь в бане с двумя голыми девицами?» Он говорит: «Сначала проверю документы».

Я говорю: «А потом?» Он говорит: «А потом определию, где телекамера, и скажу в нее, что это не я!»

Тут мое терпение лопнуло, как топну ногой! И — сквозь пол провалился. А там, в подземелье, сидят люди и записывают все, что я наверху говорю. Я спрашиваю: «Зачем?» Они говорят: «Для вашей же пользы, а то вдруг вы забудете, что тут городили!»

Ну махнул я на все своей сильной рукой и поехал в спортзал. Приезжаю, а там уже артисты, журналисты, банкиры, бандиты... Я взял теннисную ракетку — все взяли, я взял мяч — все взяли мячи. Стою я с мячом, как джигит с арбузом, а с небес шепчут: «Сильная рука...» Я как за-

ору: «Прихлебатели! Всех разгоню!» А они заулыбались и как заорут: «Прихлебатели, он вас всех разгонит!»

Тут в голове у меня помутилось, шатаясь, вышел я на улицу и говорю в небо: «Господи, верни меня на прежнее место!»

Плюнули на меня с небес дождем, и очутился я на углу Сретенки и Садового кольца. Прохожие толкаются, по мостовой несутся полчища машин, а сзади шепчут: «Россия...»

1998 г.

Путеводитель

Из жизни

Многие памятники истории и культуры находились в безвестности из-за отсутствия информации. Общественность возмущалась. В газетных статьях и выступлениях поминали западную заграницу, где множество путеводителей и каталогов. Наконец в 1975 году в издательстве «Искусство» вышел двухтомный каталог, в котором подробно описывалось, в какой далекой деревушке что ценного сохранилось и как туда проехать.

После чего все указанное ценное стало стремительно исчезать!

Лохотронщики

И *ду вчера из метро, вдруг ко мне*

подходит парень и говорит: «Вот вам бесплатный приз!» Я говорю: «За что?» Он говорит: «Вы тысяча первый пешеход, который проходит мимо этого столба!»

Ну, я обрадовался, а тут подходит другой и говорит: «Это я тысяча первый!»

Который приз обещал, говорит: «Согласно правилам, приз получит тот, кто больше доплатит!» Ну, я отдаю ему десять рублей, а мой соперник — пятьдесят; я — сто, а он — двести!

И тут я понял, что это лохотронщики меня дурят. Обидно стало, будто в графе «Образование» у меня написано: «Дурак»! И я говорю: «У меня на сберкнижке денег много, давайте я ее возьму и в банк сбегаю».

Ну, пришли мы ко мне, я их оставил, а сам — к телефону. Набрал «02», сказал: «Грабят квартиру!» — и дал свой адрес.

Возвращаюсь — лохотронщики мордой в пол лежат, а над ними милиция с автоматами. «Что, — спрашивают, — пропало?» Я говорю: «Рояль фирмы «Беккер».

Лохотронщики кричат: «Врешь, гад!» Я говорю: «Ах, так! Тогда еще сервис на сто персон! И персидский ковер размером два метра на двадцать!»

Который приз обещал, кричит: «В твоей квартире это не поместится!» Я говорю: «Я ковер на потолке держал, рояль у меня стоял вертикально! А сервис на антресоли был, где старые ботинки!»

Мой бывший соперник кричит: «Убью гада!» Я говорю: «Ах, так! Тогда еще пропало колье с бриллиантами! Бриллиантов было так много, что колье могли носить только две женщины сразу!»

Который приз обещал, кричит: «Он врет! Мы с ним на улице познакомились!» Я говорю: «Тогда скажи, как меня зовут?» Он говорит: «Козел!»

Я говорю: «Ах, так! Тогда со стен у меня пропали картины: Рембрандта «Мадонна Люся», Саврасова «Грачи охренели» и портрет Лужкова работы Шишкина! А также икона Андрея Рублева, на которой преподобный Ельцин играет на барабане!»

Лохотронщики кричат: «Ну, те не жить!» Я говорю: «Ах, так! Тогда из шкафа пропали акции Газпрома! Акции были свернуты в рулоны, и на каждом было написано «54 метра»!»

Лохотронщики кричат: «Мы тя уроем, тварь!» Я говорю: «Ах, так! Тогда из погреба у меня пропал сундук с золотыми монетами! На которых отчеканен профиль Ивана Грозного и надпись: «Замочу в сортире!»

Лохотронщики кричат: «Какой погреб — ты же на пятом этаже?!» Я говорю: «Я имею в виду ванную — у меня там холодно, как в погребе! Я даже

голову всегда мою в шапке! Кстати, шапка пропала тоже — шапка Мономаха!»

Лохотронщики кричат: «Он псих!» Я говорю: «Ах, так! Тогда еще пропала жена! Красивая, умная, знала четыре иностранных языка, но говорила по-русски только два слова: «Мой Пупсик!»

И тут черт принес жену! Языков она не знает, а внешне похожа на депутата Шандыбина. И говорит: «Что тут за люди?!»

Милиционеры говорят: «Это те, кто вас ограбил».

Жена говорит: «Неужто Гайдар!»

Милиционеры говорят: «Это те, из-за кого у вас нет картин и рояля!»

Жена говорит: «Так это из-за этого идиота! И — показывает на меня.

Ну, милиционеры лохотронщиков отпустили, а меня забрали. Я спрашиваю: «За что?!» Они говорят: «Чтоб врал меньше... лохотронщик!»

Про лыжи

Жена говорит: «Кретин!»

Люди с Ельциным в теннис играли — сейчас у них виллы на Гавайях, а ты так и помрешь в маленькой комнатке с видом на большую помойку!»

Я говорю: «А что ж мне делать?» Жена говорит: «К нам в город Путин приезжает — я тебе купила горные лыжи!» И показывает две деревяшки!

Я говорю: «Это не лыжи — это недоразумение!» Жена говорит: «Ты сам недоразумение! Ты вообще за всю жизнь в дом, кроме насморка, ничего не принес! А эти лыжи я купила у соседа, он на них еще до войны катался!»

Я говорю: «С Наполеоном, что ли?» Жена говорит: «Кретин! Поднимешься в гору, зароешься там в сугроб, вот тебе термос с чаем!»

Я говорю: «Может, лучше с водкой?» Жена говорит: «Кретин! Ты вчера в гостях выпил и забыл, как тебя зовут! Откликался на имя Шарик! Запомни: выскочишь из сугроба и попросишь коттедж!»

Я говорю: «Коттедж с двумя «т» пишется?» Жена говорит: «С тремя «ж»! Кретин! Ты же не писать будешь, а просить!»

Я говорю: «Вспомнил! Я ж ведь кататься-то не умею! Может, мне лучше дзюдо заняться?» Жена говорит: «Кретин! Ты с кровати упал — неделю встать не мог, а если он тебя через плечо кинет? У него — черный пояс, а у тебя будут — белые тапочки! На, поешь последний раз перед смертью... то есть перед катанием, и иди!»

Вышел из подъезда — Толик говорит: «Ты куда?» Я говорю: «С Путиным кататься!» У Толика глаза забегали аж по всему лицу.

Я говорю: «Коттедж хочу у него попросить с тремя «ж». Толик говорит: «Возьми меня с собой — у меня санки есть!»

Я говорю: «На санках Кириенко катается. И потом, одних санок мало, нужно термос». Не успел я сказать про термос — у него в руках уже три, и все с водкой!

Ну, у нас к приезду Путина подъемник в гору сделали... Раньше три дня взбираешься, потом — пять минут едешь! А теперь: пять минут поднимаешься, потом — три дня едешь, потому что у каждого столба документы проверяют. Все охранники в спортивной форме — чтоб их никто не узнал... но с погонами! И друг к другу обращаются: «Товарищ майор, товарищ капитан...» Мне говорят: «Товарищ кретин!.. То есть товарищ лыжник, ваши документы?»

Я по ошибке паспорт жены взял... они посмотрели, говорят: «Всего доброго, граждане!»

Ну а на горе — кого только нет! Наш мэр с лыжными палками и — на коньках! Губернатор — здоровый мужик, вместо лыж у него два сноубор-

да! На затылке бронежилет, на спине надпись:
«Не влезай — убьет!»

Депутат по мобильнику со своим охранником разговаривает, который стоит рядом. Спрашивает у него: какая погода?

Модельер наш знаменитый оделся как горный козел: весь в сером, на голове — рога.

Скульптор прославленный лепит снежную базу, похожую на Годзиллу!

Священник, отец Никодим, в прошлом криминальный авторитет Корыто, благословляет всех желающих, но не умеющих прыгать с трамплина.

Тут же продают пиво «Три медведя» с тремя портретами Шойгу на этикетке.

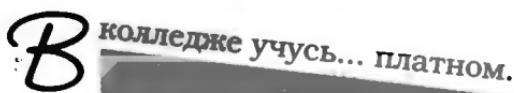
Ну, мы с Толиком взяли пива, залезли в сугроб — смотрю, он уже один термос открывает! Я говорю: «Ты что?» Толик говорит: «Надо же отметить новоселье в сугробе!»

Ну, выпили мы за новоселье, за коттедж... за каждое три «ж» отдельно, за возрождение России...

В общем, вылезли мы из сугроба, когда он уже растаял! И никого вокруг не было.

Ну а когда я вернулся домой, жена сказала мне только одно слово, а какое — вы знаете!

Экзамен



Ты бабки — тебе знания, ты бабки — тебе экзамен
за твои же бабки!

Ну, я пришел, профессор говорит: «Берите билет». Я говорю: «Оптом?» Он говорит: «Пока один».

Ну, я взял, читаю: «Автор картины «Витязь на распутье». Он говорит: «Кто?» Я говорю: «Художник».

Он говорит: «Правильно. А почему витязь стоит?» Я говорю: «Бензин кончился!»

Профессор говорит: «Ну ладно, отвечайте: как звали Илью Муромца, Добрыню Никитича и Александра Поповича?» Я говорю: «Так и звали!» Он говорит: «Богатырями их звали!» Я говорю: «А я даже знаю, как звали их коней!» Он говорит: «Как?!» Я говорю: «Мурзик, Тузик и Полкан!» Профессор говорит: «Откуда вы это взяли?!» Я говорю: «Дедушка рассказывал!» Профессор говорит: «Он-то откуда мог знать?» Я говорю: «Не знаю, но рассказывал, когда выпьет».

Профессор говорит: «Ну хорошо, когда была Бородинская битва?» Я говорю: «Когда Бородина посадили». Профессор говорит: «А слово «Наполе-

он» вам знакомо?» Я говорю: «Конечно — это коньак!»

Профессор говорит: «Ну хорошо, назовите хотя бы одну из десяти заповедей». Я говорю: «Не дай себе засохнуть!» Он говорит: «А вторую?» Я говорю: «Жизнь хороша, когда пьешь не спеша!»

Профессор говорит: «Ладно, перейдем к поэзии, кто написал: «Мой дядя самых честных правил...»? Я говорю: «Племянник!» Он говорит: «Чей?!» Я говорю: «Как чай — дядин!»

Профессор говорит: «Наводящий вопрос: на Пушкинской площади кто стоит?» Я говорю: «Милиционер». Он говорит: «Пушкин там стоит!» Я говорю: «Я его фамилию не спрашивал!»

Профессор говорит: «Путешествие из Петербурга в Москву Радищева читали?» Я говорю: «Зачем читать — я сам ездил на поезде!» Профессор говорит: «Радищев ездил при Екатерине!» Я говорю: «А я с Люськой!» Он говорит: «Екатерина Вторая!» Я говорю: «А Люська у меня — третья!»

Профессор говорит: «Ну ладно, кто сочинил таблицу Менделеева?» Я говорю: «А это вы не задавали!» Он говорит: «Я подскажу: «Мен...» Я говорю: «Менты, что ли?!» Профессор кричит: «Менделеев! Он увидел ее во сне!» Я говорю: «А я вчера во сне Эйфелеву башню видел — что ж, я ее соорудил?!»

Профессор говорит: «Кстати, в каком городе она стоит?» Я говорю: «Во сне на даче у меня стояла!»

Профессор говорит: «Ну хорошо, расположите по порядку первые три буквы алфавита».

Я говорю: «Разрешите звонок другу?» Профес-

сор говорит: «Нет». Я говорю: «Тогда помошь за-
ла?» Он говорит: «Вы не на игре «Кто хочет стать
миллионером!»

Я говорю: «Те, кто хочет стать миллионером,
не учатся, а воруют! И вообще: ставьте мне быст-
рее пятерку, а то бабки платить не буду, и вы все
тут останетесь без зарплаты, а я — без знаний!»

* * *

Один человек ехал в поезде.

«А если поезд сойдет с рельсов? — подумал че-
ловек. — А я не одет!..»

Он встал и оделся.

«А если?.. — подумал он. — А вещи не сложены!»

Он сложил вещи.

«А если?.. — подумал человек. — А коридор
длинный!..»

Он вышел с чемоданом и с сумкой в тамбур.

«А если?..»

Человек открыл дверь и выпрыгнул в снег.

Опять Люся!

A

лло, Люся, это я! Я проходил

мимо военкомата, и меня в армию забрали! Люсь, они сказали, что это почетная обязанность каждого, кто не сбежал!

Не, Люсь, здесь возраст определяют так: кто служит второй год, тот дед, а мне тридцать пять, я — молодой! И должен чистить бляжу так, чтоб блестела морда от усердия!

Командир роты говорит: «Ты что — хочешь наряд получить?!» А у меня, Люсь, как раз штаны порвались, я думал, он мне новые даст, говорю: «Хочу!» Он кричит: «Объявляю вам три наряда!» Я говорю: «Ладно, я два старшине отдам!»

Потом, Люсь, мы ходили на стрельбы... сорок человек — вернулся я один. Ну, дали мне автомат, говорят: «Стреляй!» Я говорю: «Боюсь!» Майор говорит: «Представь, что кругом враги...» Ну я и представил! И главное, он еще сказал: «Целься в десятку...» Я и стал целить туда, где их не меньше десяти стояло. Хорошо, хоть никого не убил... Он кричит: «Ты почему в мишень не попал?!» Я говорю: «Так у меня же зрение: один глаз минус два, другой — плюс двадцать! Я когда один зажмуриваю, другим только небо вижу!»

Вчера надел противогаз, сверху — очки, майор в обморок упал! Хороший человек... у него одна звездочка на погонах была, теперь — две, но маленькие! Говорит, что из-за меня его скоро в рядовые разжалуют!

На разводе караула спросил меня: «Что называется постом?» А я, Люсь, устав не учил, сказал: «Когда человеку есть хочется, но нельзя». Он говорит: «Когда есть хочется, но нельзя, это — запор! А постом называется все порученное для охраны и обороны часовому!»

Поэтому, когда я охранял штаб, а из него хотел выйти полковник, я его два часа не выпускал.

Потом нас водили на медосмотр... Когда я разделся, врач долго искал меня в кабинете... А потом говорит: «Я думал, это рентгеновский снимок!» Говорит: «Становитесь на весы...» Я встал, он гирьку на стрелке двигал, двигал... а она, Люсь, дальше ноля не двигается! Хорошо, фельдшер догадался: поставил рядом со мной сапог и написал: «Вес — 500 грамм».

А второго сапога, Люсь, у меня нет... деды пошутили: прибили его к полу, когда я спал, и закричали: «Подъем! Тревога!»

Я вскочил, сапоги надел и — ни с места! Они кричат: «Противник наступает!» А мне что делать — я поднял руки, говорю: «Сдаюсь!» Сержант как даст мне под зад, я подметку и оторвал... Залез на сосну и говорю: «Ку-ку!..» А полковник мимо проходил... остановился и говорит: «Кукушка, сколько мне жить?» Я говорю: «До моего дембеля не дотянешь! И потом, я не кукушка, я ку-кушать хочу!»

Ну он и отрубился... Хороший мужик... У него раньше три звездочки на погонах было, теперь — четыре, но на двух! При встрече он первый мне честь отдает. Жена его бросила... потому что он во сне дни до моего дембеля считает. А мне служить-то еще почти два года... А у него голова уже вся белая... потому что не надо было заставлять меня потолок в штабе белить! И ведро, Люсь, такое большое было... Если бы они с начальником штаба проходили — на них бы двоих хватило!

Командир роты говорит старшине: «Зачем ты его в штаб послал?» Старшина говорит: «А куда — если он в прошлый раз в наряде по кухне от картошки одни глазки оставил! Я, — говорит старшина, — могу послать его только в одно место!» Командир роты говорит: «Куда?» Старшина говорит: «Как куда — обратно в военкомат!»

Боец

Из жизни

До армии неделю лежал в Яузской больнице с диагнозом «острый холецистит». Когда выписывали, сказали: «Не есть жирного, соленого, избегать холода...»

В армию взяли — тут-то я и вспомнил эти наставления. Дождался морозов под 30, сжевал большой кусок сала и почти два часа бегал вечером по плацу без шинели. Вернулся в казарму — морда красная, и ничего не болит!

А на утреннем разводе командир полка, ему доложил дежурный по части, вывел меня из строя и объявил благодарность за индивидуальное занятие физической подготовкой. И я, как положено, ответил: «Служу Советскому Союзу!»

Петька все... «Давай, —

говорит, — икону украдем?» Я говорю: «А вдруг Бог накажет?» Петька говорит: «Посмотри на себя — ты и так уже наказанный!»

В общем, спрятались в церкви — ждем, когда все уйдут, а одна старушка не уходит. Стоит у иконы и: «Господи, услыши... Господи, услыши!..»

Ну, Петька не выдержал и говорит: «Слыши, что тебе?»

Бабка на колени рухнула и говорит: «Господи, вразуми зятя мово беспутного — водку хлещет!»

Петька говорит: «Ладно, вразумлю. Иди домой и скажи: завязывай!»

Старушка говорит: «Где?» Петька говорит: «На шее!» Старушка говорит: «Я спрашиваю: где ты, Господи, я тебя не вижу?»

Тут в Петьке совесть заговорила, и он говорит: «Не Господи я, бабуся, а Петя».

Старушка говорит: «Неужто апостол Петр?!»

Я думаю: «Так мы икону никогда не украдем!» И говорю: «Бабушка, сейчас церковь закрывается: или молитесь быстрей, или приходите завтра!»

Старушка совсем обалдела. Говорит: «А это кто?» Петька говорит: «Это так... друг мой!»

А старушка как раз у иконы святых Петра и Павла стояла. Она говорит: «Святые! Мне бы пенсию побольше!»

Ну, нашарили мы в карманах мелочь и кинули ей. Бабуся, как услышала звон, сама лбом в пол брякнулась. Собрала деньги и — не уходит.

Петька говорит: «Ну что еще тебе?»

Старушка говорит: «Годочеков бы скинуть».

Петька говорит: «Сколько?»

Она говорит: «Пятьдесят».

Петька говорит: «Хорошо, иди домой, девушка, тебя мама ждет!»

А бабка опять не уходит. Я спрашиваю: «Что тебе еще, девица?»

Бабка говорит: «Жениха».

Петька кивает мне: «Выходи!»

Ну, я выхожу из-за столба, бабка увидела и говорит: «Какой-то завалящий он, а получше-то нету?»

Петька говорит: «Всех разобрали! Надо было раньше приходить!»

Бабка говорит: «Ну тогда я до утра подежурю, а утром первая в очереди буду!»

Петька кричит: «Какая еще очередь?!»

Бабка говорит: «За женихами».

Петька помолчал и говорит: «На твое счастье, еще один остался! И — выходит сам! Морда с похмелья опухшая, небритая, страшный — как черт!

А старушка говорит: «Этот-то получше!» И — цап Петьку под руку. И пошли они из церкви, как новобрачные!

А я подумал: «Слава Богу, что вместо иконы старуху взяли, — теперь хоть Бог не накажет!»

Война и мир

91

очью танки солнцевской

группировки вошли в Москву и остановились на Кутузовском проспекте.

Утром генеральный прокурор заявил, что раскрыто три из самых громких последних дел: выяснено, что Иван Грозный убил сына по приказу Дзержинского; Степан Разин бросил княжну в набежавшую волну, чтобы не платить алименты; а в Чапаева стреляли не белые и не красные, а скорее всего — голубые.

Газеты в тот день писали, что на таможне задержан гражданин, пытавшийся по паспорту жены провезти обезьяну; что в Африке обнаружен скелет первобытного человека, в руке у которого не дубина, а жезл регулировщика; а бывший министр юстиции, который был в бане с девицами, представил справку, что он вообще год не мылся!

В полдень Степашин ездил на переговоры. Требования солнцевской братвы: город Солнцево считать столицей и ввести новую денежную единицу — «брата».

Что-то решит сегодня Госдума. Вчера Жириновский поливал всех соком, но это не помогло.

Зюганов говорил, что Россия гибнет, но глаза у него были веселые. А министр обороны доложил, что сокращение армии успешно закончено и теперь в рядах Вооруженных сил осталось только два человека: он и его шофер!

Срок ультиматума истекал в шесть вечера. Чубайс закрашивал веснушки и примерял парик. По первому телеканалу выступил Доренко. В этот раз он не ругался, а просто крыл матом. Рядом сидел Березовский и подсказывал фамилии.

В 15.30 над городом появились истребители BBC Солнцева.

В 17.30 по московскому каналу выступил Лужков. В каске, поверх каски — кепка. Он обратился к москвичам с призывом сохранять спокойствие и приобретать автомобили только московского производства.

В 17.35 по ОРТ стали показывать «Лебединое озеро». В постановке Романа Виктюка, поэтому все лебеди были голые.

В 17.40 танковая колонна солнцевцев тронулась в сторону Кремля. Какой-то интеллигент пытался загородить танкам дорогу, но кто-то бросил в него огрызок яблока и убил наповал.

Би-би-си транслировала происходящее на всю Европу, а по Российскому каналу показывали теннисный турнир.

Когда танки вышли к Арбатской площади, Ельцин позвонил Гельмуту Колю. «Коля, — сказал он, — тут братва, понимаешь, за горло взяла».

«Направить армию?» — спросил Коль. «Ну зачем? — сказал Ельцин. — У нас, понимаешь, и дорог нет — вы застрянете. Вы просто там у себя,

в Европе, арестуйте банковские счета, понимаешь, и все!»

В 17.59 танковая колонна солдат сорвалась с Маросейки и свернула на Моховую и потянулась из города. Эскадрилья «Су-27» вернулась на аэродром. И в темнеющем над Москвой небе привычно зажглись красные звезды Кремля.

1995 г.

*A*укцион

*B*нимание, лот номер один!

Честь девичья! Бабушка в третьем ряду — раз!..
бабушка — два!.. Бабушка заснула.

Лот номер два — мужское достоинство! Госпо-
да, поактивнее! Вещь редкая, антикварная!

Мальчик в первом ряду — раз, мальчик —
два... Мальчик описался. Ну я же не знал, что он
руку тянет, чтобы выйти!

Лот номер три — чувство долга! Поактивнее,
господа, поактивнее! Мужчина в последнем ряду —
раз, мужчина — два, мужчина — три! Ах,
это скульптура! А я думаю: бледный уж весь,
а руку тянет!

Внимание, лот номер четыре — совесть!
Стартовая цена — шиш с маслом! В третьем ряду
шиш — раз!.. В пятом — два шиша!.. В шестом
гражданин разувается... в шестом — четыре!
Продано!

Господа! Прошу внимания! Лот номер пять —
Родина! Стартовая цена — понюшка табаку! По-
нюшка — раз!.. Понюшка — два!..

Дедушка, а ты что показываешь, я не пойму?
Жизнь?.. За Родину? Какой смешной! Зачем она

такая тебе? Ну ладно, жизнь за Родину — раз...
Жизнь за Родину — два... Жизнь за Родину —
пли!

Шутка!

Слово «шутка»

...всё-таки-затруднился
— скажи что-нибудь прошу
— подумалось, что это один из тех случаев
— когда надо быть — чтобы сказать и не сказать
— это здорово, но и это здорово...

автор: Шагалов

Репетиция

Режиссер говорит: «Внимание!

Репетируем эротическую сцену! Женщина стоит обнаженная и о чем-то думает... А ты... Ну почему ты всегда опаздываешь?!

Я говорю: «Так в буфете очередь!»

Режиссер говорит: «Ладно, смотри на женщину! Что чувствуешь?»

Я говорю: «Голод. П-пятьдесят рублей отдал, а есть все равно хочется!»

Он говорит: «Ты женщину хочешь! Запомни: ты алчешь тело!»

Я говорю: «Может быть, эту сцену упростить: я прихожу, а она уже спит!»

Он говорит: «Не виляй! Запомни: подходишь к ней, снимаешь пиджак, бросаешь...»

Я говорю: «Он же испачкается...»

Режиссер говорит: «Ты о чем думаешь?!

Я говорю: «Чего ж думать, если сейчас костюм стоит дороже собственной кожи!»

Он говорит: «Ты алчешь тело!..»

Я говорю: «Алчу, конечно, но мне х-холодно!»

Он говорит: «Неужели тебя вид обнаженной женщины не согревает?!

Я говорю: «Если б она, конечно, стояла с бутылкой...»

Он говорит: «Ты что — обалдел?!»

Я говорю: «Вообще-то, я непьющий, но есть очень хочется!»

Он говорит: «Снимай ботинки! Иди к ней!.. Да что ж ты: идешь к женщине, а ботинки в руке держишь?!»

Я говорю: «Чтоб не украла!»

Он говорит: «Брось ботинки! Прислонись к женщине!..»

Я говорю: «Я же уколюсь — она вся в мурashках!..»

Он говорит: «Ты мужчина или нет, в конце концов?!»

Я говорю гордо: «Я — человек!»

Он говорит: «Какого пола ты человек, козел?!»

Я говорю: «М-мужского пола я, козел!..»

Он говорит: «Иди к бабе!»

Я говорю: «Позовите каскадера!»

Он говорит: «Ну, посмотри, какая она симпатичная... ну, давай снимай брюки...»

Я говорю: «Снял уж давно...»

Режиссер говорит: «А почему ноги такие синие?!»

Я говорю: «З-замерз на фиг!..»

Он говорит: «Ну черт с тобой! Представь, что это не женщина, а — дыня! Бифштекс! Котлета!..»

Я кричу: «Что ж вы сразу не сказали?! Я уже алчу!»

Режиссер кричит: «Закрой рот! Что ты оскалился, она вся от страха дрожит!»

Женщина кричит: «Я не от страха, а от неспра-

ведливости! Ему — бифштекс! Котлету! А мне — эту посиневшую морду?!

Режиссер кричит: «Представь, что это — торт!»

И тут бросилась она на меня так, что я на ногах не устоял и упал на режиссера. На этом репетиция и закончилась!

1990 г.

* * *

Один человек решил жениться и дал объявление в газету. Вскоре к нему в квартиру позвонили — это были жулики.

— Как же вы узнали? — спросил он, когда его связали.

— Ну вот ты же сам пишешь, — показали ему газету, — состоятельный и одинокий!

Когда жулики унесли вещи, человек подумал: «Правильно говорят: во всем виноваты женщины!»

*Ч*епобедимая жизнь

*Ч*очью опять стреляли.

Одна пуля залетела на кухню, разбила чашку. Жена сказала: «Я тебе всегда говорила: не ставь с краю!»

Утром на работу пошел пешком. Трамваи не ходят, потому что провода и рельсы кто-то продал в ближнее зарубежье. В метро живут бомжи. А чтобы поехать на автобусе, нужно покупать спецталон, где указывается национальность, группа крови, партийная принадлежность и секулярные наклонности.

Наш завод наконец освоил выпуск новой продукции: стиральная машина МиГ-29, кофемолка Т-80 и пылесос Калашникова.

На обед в столовой были щи из крапивы — 15 миллионов, салат из одуванчиков — 5. Я взял салат. Но в последний раз, потому что от этих салатов лицо у меня зеленеет, а волосы облетают.

В курилке Апельсинов рассказывал анекдот: «Доктор, почему я икаю?» Врач говорит: «Это вас еда вспоминает!»

Потом долго обсуждали новую секретаршу директора. Каково же было наше удивление, когда

оказалось, что это мужчина! Что любопытно: каждый курил свои, но дым старался втягивать еще и от соседа. Я держался ближе к огнетушителю. На прошлой неделе опять из-за неисправной электропроводки сгорели два города, сошел с рельсов вокзал и затонул полуостров!

Кстати, говорят, что Кремль приватизировал комендант Кремля, теперь в Царь-пушке коммерческий киоск, а Царь-колокол отремонтировали турки, и теперь он называется Султан-бубен!

Возможно, это слухи. Вчера жена ходила в ГУМ и видела, что на Мавзолее кроме надписи «Ленин» появились еще «Билайн», «Несквиц» и «Пельмени богатырские».

На днях по телевизору выступал проповедник, который утверждает, что конец света наступит в субботу и спасется только тот, кто успеет перевести на его имя деньги. По адресу: «Москва, психлечебница, 14».

Возвращаясь с работы, встретил одноклассника. Он теперь в партии Жириновского, и тот назначил его губернатором Аляски. Одноклассник доволен и собирает теплые вещи. Я сказал, что они ему пригодятся в любом случае.

У подъезда сидели старушки в противогазах. Рядом стояли два «Мерседеса» — значит, опять к пятилетнему Вовке приехали его друзья. Да, бизнес помолодел. Пока Вовкин папа продавал лес, а мама — себя, Вовка продал их обоих.

В лифте нос к носу столкнулся с соседом, которого разыскивает милиция, — он взял в банке большую ссуду, половину отдал милиционерам, поэтому они ищут его на Камчатке.

Дома жена по телефону продавала и покупала сахар. Деньги она тоже получала по телефону. Это еще ничего — у соседа жена по телефону интимные услуги оказывает. Говорит: «Вот я расстегиваю у вас пуговицу, другую...» Муж схватил трубку, кричит: «Застегнись! Выходи на митинг!»

На ужин пили чай из пачки со слоном. Когда я пригляделся, то понял, что человек, который сидит на слоне, чем-то похож на Черномырдина, а слон — на Гайдара! Забыл сказать, что чай мы заваривали последний раз год назад, а теперь только доливаем воду.

Потом смотрели телевизор — шейп-шоп-шоу. Кому-то опять повезло, и он выиграл большой гамбургер, а вот мужчину, выигравшего «Жигули», жалко: его, вероятно, убьют на выходе. И преступников, как всегда, не найдут.

Легли спать усталые. Уже засыпая, жена спросила, убрал ли я со стола стакан. Вставать было неохота, и я сказал, что убрал. Ночью пуля залетела на кухню и разбила стакан. Утром, подметая осколки, я подумал: когда бьется посуда — к счастью!

Майна

Из жизни

В начале 70-х годов было несколько переоценок, готовились они в строжайшем секрете. А затем было так: в Комитете цен СССР мне давали под расписку запечатанный сургучом конверт, я приносил его в издательство, а там конверт вскрывали и... согласно технологическому процессу бумажки с новыми ценами поступали в корректорскую на вычитку, к техредам на разметку, потом в типографию: в наборный цех, печатный, брошюровочный...

А в Комитете недоумевали: почему о предстоящем повышении цен известно заранее, если все готовится в строжайшей тайне?

Культура

О телефону позвонили:

— Виктор Михайлович?

Я говорю:

— Я.

— Виктор Михайлович, это из газеты...

Я говорю:

— Я.

— ...Не слышит, козел. (*Громче.*) Виктор Михайлович, это из газеты, не могли бы вы ответить?..

Я говорю:

— Кто?

— Старый хрыч, совсем оглох! (*Громче.*) Виктор Михайлович, мы вас так любим, не могли бы вы ответить на один вопрос?!

Я говорю:

— Да-да, я слушаю!

— Виктор Михайлович, что вы думаете о современной культуре?!

Я говорю:

— Я слушаю...

— Глухой кретин! У меня уже мозоль на языке! (*Громче.*) Виктор Михайлович, мы хотим уз-

нать, как вы оцениваете состояние современной культуры?!

Я говорю:

— Какой дом культуры?..

— Ну блин! Его убить мало! (*Громче.*) Виктор Михайлович, мы опрашиваем известных людей!..

Я говорю:

— У меня нет идей.

— Сволочь глухая! Кому твои идеи нужны?!

(*Громче.*) Мы спрашиваем ваше мнение?!

Я говорю:

— Какое имение — я в квартире живу, в двухкомнатной... .

— Чтоб ты в ней и помер, гад! (*Громче.*) Виктор Михайлович, мы спрашиваем ваше мнение о современной культуре, вы слышите?!

Я говорю:

— А почему обратились ко мне?

— Ну блин! Чтоб ты!.. (*Громче.*) Мы опрашиваем уважаемых людей!

Я говорю:

— Повторите, пожалуйста, последнее слово, а то мне послышалось...

— Что вам послышалось?!

Я говорю:

— Музей... музей надо открыть современного искусства!

— Спасибо, Виктор Михайлович!. И последнее: нам нужна ваша фотография!..

Я говорю:

— Я согласен, порнография — это плохо!

— Ну сволочь! (*Громче.*) Фотография ваша нужна!

Я говорю:

— Все раздал, остались только, где я некрасивый!

— Кретин, он думает, что на других он красивый! (*Громче.*) Виктор Михайлович, не беспокойтесь, вы везде великолепны! Курьера посыпаем прямо сейчас, скажите адрес!

Я говорю:

— Пишите: психбольница № 1, палата для козлов, сволочей и глухих кретинов!

В трубке раздались короткие гудки.

Судьба

Молодой человек Киселев

почувствовал себя плохо и пошел к врачу.

— Покажите левую ладонь, — сказал врач.

Киселев показал.

— Что ж вы хотите, — сказал врач, — у вас линия жизни в тридцать лет кончается.

— Так что ж мне теперь делать? — испугался Киселев.

— Ну ладно, — сказал врач, — так и быть...

Он взял фломастер и удлинил Киселеву линию жизни почти до запястья.

— Спасибо, — сказал Киселев и, смущаясь, спросил: — А... а насчет денег там как?

Врач глянул на ладонь и нахмурился.

— Сколько вы получаете?

— Сто двадцать, — сказал Киселев.

— Все верно, — сказал врач.

— А... а ничего нельзя сделать? — заискивающе улыбнулся Киселев.

— Ну, я не знаю, — сказал врач.

— Ну я вас очень прошу, — сказал Киселев, — я в долгу...

— Ну ладно, — сказал врач, — давайте руку.

Он провел Киселеву линию, тот щекотно пожалелся.

— А... а вот чтобы одаренность, талант... там у меня линия как? — кивнул на свою ладонь Киселев.

Медик надел очки и внимательно вглядился в его ладонь.

— А у вас ее вообще нет, — спокойно сказал он.

— Как так? — растерялся молодой человек.

— Не знаю, — сказал врач, — только нету.

— А... а может быть?..

— Нет, нет, — решительно замахал руками медик, — это вопрос щепетильный.

— Ну я вас очень... очень в долг...

— Ну я не знаю, — задумчиво сказал врач, — я сделаю вас талантливым, а вы чего-нибудь... не того чего... Талант ведь разный бывает: злой, добрый...

— А вы сделайте, чтобы я был добрый! — жадно попросил молодой человек. Медицинский работник вздохнул, взял фломастер и провел ему еще одну линию.

— Все? — спросил он.

— Н-не... совсем, — краснея и пряча глаза, сказал Киселев. — А... а с женщинами у меня как будет?

— Вы женаты? — спросил врач.

— Женат, — сказал Киселев.

— Вот так и будет.

— А... а ничего нельзя?..

— Нет, — твердо сказал врач, — это выше моих сил.

— Ну я очень прошу вас!

- Нет, нет, нет, — повторил врач.
- Ну я в долгую не останусь, — напомнил Киселев.
- Нет, нет, нет, — повторил специалист.
- Ну... я три раза в долгую не останусь, — предложил молодой человек.
- Ну ладно, — сказал медицинский работник. — Только из чисто научных соображений.
- И он вывел на ладони Киселева еще одну линию.
- Теперь все? — спросил он.
- А что еще может быть? — деловито спросил Киселев.
- Еще... удовлетворенное тщеславие.
- Это важно, — определил Киселев, подставил ладонь и после того, как там появилась еще одна кривая, осторожно потрогал ее пальцем. — Ну... ну а еще... еще что-нибудь есть?
- Еще?.. Еще... ну, еще порядочность, — с трудом вспомнил эскулап.
- Порядочность... А давайте и ее! — решился молодой человек.
- Врач прочертил ему сбоку ладони линию порядочности, после чего Киселев стер все остальные, сказал: «Извините» — и пошел домой.

Первый этаж

Из жизни

Контора наша находилась на первом этаже старого жилого дома, случалось, портилась канализация, и наше помещение заливало.

Пока водопроводчики, матерясь и бултыхаясь в дерьме, чинили, мы продолжали трудиться, бегая в коридоре по доскам, положенным на кирпичи. К нам приходило много посетителей: арендаторы, краеведы, историки, архитекторы, и все интеллигентно делали вид, что ничего не замечают.

Об ту пору наша контора контролировала более трех с половиной тысяч памятников истории и культуры.

Поздним вечером

Было часов одиннадцать вечера.

Фонари освещали пустоту улиц. Одинокие прохожие шли торопливо, редкие машины проносились быстро.

Николай Иванович вышел из автобуса, огляделся — район новый, незнакомый. Как ему объяснила Люся, где-то тут, за магазином, должен быть корпус номер три. Он свернул за угол, двинулся между домами, осторожно поглядывая на светящиеся окна, и вдруг сзади раздался грубый окрик:

— Стой!

Николай Иванович вздрогнул и хотел обернуться, но властный мужской голос приказал:

— Стой, не вертись!

Николай Иванович повиновался, замирая от страха и чувствуя, как противно начинает дрожать все тело.

— Куда ты, голубчик, направился? — прозвучал сзади вопрос.

— Т-тут к одной знакомой, — пробормотал Николай Иванович. — В гости просто...

— Погулять захотелось? — с издевкой спросил голос.

— Так ведь я т-того... немножко...

— А дома тебя ждут, дурака!

— Д-дома... жена в командировку уехала. На два дня.

— Стоит тебя одного оставить, ты уж и хвост трубой.

— Т-так ведь я того... Другие тоже ведь...

— Ну и кобель же ты! — с чувством сказал голос.

— Кобель, конечно, — согласился Николай Иванович. — Т-так ведь не узнает никто...

— Ну ладно, хватит с тобой время терять. Да-тай сюда шею! — сурово приказали сзади.

— К-как это — шею? Не-ет! Я б-больше не то-го, я б-боль-ше не буду! — быстро забормотал Николай Иванович, обернулся и увидел метрах в пяти от себя гражданина, надевающего на собаку ошейник.

— Ну, пошли домой! — скомандовал гражданин собаке, и они направились к подъезду.

— Вот жизнь собачья! — пробормотал растяянный донжуан и торопливо зашагал дальше искать корпус номер три, где его ждала Люся.

1972 г.

расная кнопка

В бункере главкома вчера оказался.

Выпили с Петькой, он меня в метро посадил... ну, я заснул... Домой по рельсам возвращался и — пришел.

Ну, там дверь... Я дернул, голос спрашивает: «Пароль?» Я говорю: «Какой пароль?» Голос говорит: «Весна». Я говорю: «Весна». Он говорит: «Проходи!»

Ну, прошел... приборы, телефоны кругом. Думаю, надо Петьке позвонить, чтобы выпить достал. Только снял трубку, слышу: «Дежурный по Тихоокеанскому флоту слушает!» Я говорю: «И хорошо слышно?» Он говорит: «Отлично!» Ну, я думаю, что бы еще сказать, и говорю: «Сегодня выпивали уже?» Оттуда говорят: «У нас воды уж полгода нету — по часам дают!» Тут я даже про выпить забыл! Говорю: «Как — воды нету, у вас же Тихий океан под боком!» Дежурный говорит: «У нас с океаном односторонняя связь — канализационная!»

Я так обалдел, что трубку мимо аппарата положил. Снял соседнюю, слышу: «Восьмипалатинский палигон, чичас бомбу взирывать будем, первый национальний взирыв».

Я говорю: «Кто взрывать будет?» Голос говорит: «Русская солдата ушла. Я тута один, чичас спички найду и взирыву!» Я говорю: «Погоди, друг, не взирывай! Мы ж договор подписали». Голос говорит: «Моя ничего не подписывала, моя юрта била!»

Схватил я другую трубку — мне: «Дежурный по ВВС слушает!» Я говорю: «Поднять самолеты в воздух!» Дежурный говорит: «Они уже в воздухе — иностранцев за валюту катают! А которые на земле — те без керосину!»

Я снял другую трубку, кричу: «Дайте мне Таманскую дивизию!» Из трубки отвечают: «Гвардейцы-таманцы встречали Майкла Джексона, Лайзу Миннелли, сейчас готовятся к встрече Мадонны и занимаются секс-тренингом!»

У меня из башки весь хмель вышибло. За Родину страшно стало. Чувствую, вся ответственность теперь на мне. Увидел красную кнопку, кричу: «Ракетные войска стратегического назначения к пуску готовы?» Мне отвечают: «Готовы!» Я говорю: «Сейчас нажму красную кнопку!» Мне говорят: «Ни в коем случае! Мы ж направленность ракет с Америки и Англии убрали, если вы нажмете — они все у нас взорвутся!»

Я чуть не взмыл. Кричу в трубку: «Развед управление мне!» Мне вежливо отвечают: «Хэллоу, представител ФБР в Москве слушает. Чего желает, господын начальник?» Я говорю: «Выпить. Больше ничего!» Мне говорят: «Будьет сделано!»

Тут открывается дверь, и входит офицер с подносом. На подносе стакан водки и бутерброд

с хлебом. Я выпил, он подождал немного и говорит: «Поскольку, господьин Сидороф, вы много узнали, ми вам дали выпить яду. Через пять секунд вы умроти!» И смотрит на часы: пять, десять, двадцать секунд прошло, я стою... Он говорит: «Почему вы не падайте?»

Я говорю: «Хрен дождешься, чтоб я с одного стакана упал!» Тут упал он.

А я доел бутерброд с хлебом и вышел через ту дверь, в которую он вошел!

1994 г.

Было дело!

Из жизни

Весной 80-го обворовали церковь в Воронове, автогеном вырезали замок в кованой двери. Я приехал, староста—старушка говорит: «Слава богу, все на месте! Взяли только четыре стареньких иконки, они темные все, там и не видно ничего!»

Про буквы

ПЕРВЫЙ. А...

ВТОРОЙ. Б...

ПЕРВЫЙ (многозначительно). Б?

ВТОРОЙ. В, Г...

ПЕРВЫЙ. Ты же вроде интеллигентный человек...

ВТОРОЙ. Д, Е...

ПЕРВЫЙ. Ну?

ВТОРОЙ. Ж!

ПЕРВЫЙ. И это все, что ты можешь сказать?

ВТОРОЙ. З... И... И краткое... Что ты так на меня смотришь?

ПЕРВЫЙ. Ничего, ничего, продолжай.

ВТОРОЙ. К, Л, М, Н, О П, Р, С, Т... Что ты на меня так смотришь?

ПЕРВЫЙ. Ну а как мне еще прикажешь на тебя смотреть? Продолжай.

ВТОРОЙ. У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ... Твердый знак, мягкий знак, что ты на меня так смотришь?!

ПЕРВЫЙ. Что смотрю? Я жду. Продолжай.

ВТОРОЙ. Э, Ю... Я.

ПЕРВЫЙ. Всё?

ВТОРОЙ. Всё вроде...

ПЕРВЫЙ. Вот и ваша демократия и все ваши

революции тоже... начинаются: «А-а!..» — и кончаются: «Я!»

ВТОРОЙ. Так что же делать?

ПЕРВЫЙ (подумав). Не знаю.

— Всё-таки обстоятельства
всё-таки... — Был один из последних визитов Пушкина
князя Голицыну в Тульчине. Уже в это время
Пушкин писал в «Северо-Западной газете» о том, что
они должны уйти, такими были тогда опасения.
— А. Д.

Рубин

Нобелевский лауреат

D а, Люся, я съел эту конфету

Ты, Люся, можешь смеяться надо мной, но мне нужны силы. Мне еще нужно съездить в Швецию, чтобы получить Нобелевскую премию. Мне еще нужно написать роман, за который мне дадут Нобелевскую премию. А в чем я поеду, Люся? В этом пиджаке, чтобы король Швеции забыл шведский язык?

А ботинки, Люся? Даже ты обходишь их стороной, когда я их в коридоре ставлю, а королева шведская? Люся, меня выдворят из их страны за оскорбление нравственности!

Потом банкет... Мне пить нельзя, Люся, — я много разговаривать начинаю... Ну, представь, ты — королева... Ну я прошу, представь, ты — королева... Ну надень на голову кастрюлю, чтобы легче было представить!

И вот, Люся, представь: ты королева, а тебе рассказывают, что дешевую обувь у нас не продают, чтобы из страны никто не мог уйти. Уходят только те, у кого есть в чем, Люся, твое величество! Это политическая хитрость, Люся, они разрешат выезд, скажут: мы никого не держим, а

выезжать не в чем! Но даже, если ты найдешь в чем и полетишь в Стокгольм самым дешевым рейсом — с посадкой в Улан-Баторе... знай, Люся, что билет туда будет стоить 10 000 конвертируемых тугриков! А если я еще скажу королеве, что у нас в стране даже пустых бутылок не хватает, у нее, Люся, так вытянется лицо, что корона на плечи упадет.

Люся, держи кастрюлю ровно, на меня лапша падает. Ну ты представь, я прохожу таможенный досмотр весь в лапше! Меня посадят, Люся. Скажут: то они вывозят танки, то — лапшу. Люся, они скажут, что лапша имеет оборонно-стратегическое значение, потому что ею кормят солдат!

Люся, Нобелевский комитет не будет ждать, пока я сучки в тайге обрубать буду! Они мою премию отадут. А я еще название не придумал. А ты, Люся, спрашиваешь, кто съел конфету.

Я знаю, Люся, что ты берегла ее на Новый год, чтобы было чем угостить маму. Но я сделал это не для себя, Люся, а чтобы наш народ мог гордиться. И ты, Люся, тоже чтобы могла гордиться мною в новых колготках. Потому что все думают, что это у тебя «паутинка», и только один я знаю, что это они у тебя так везде заштопаны.

Шубу твою, которую не доела моль... я проветрял, Люся, она не доела — пуговицы оставила... Люся, моль — не люди, она должна питаться регулярно. Шубу твою мы продадим с аукциона Сотбис, а тебе купим манто из песца. И в этом манте писцетовом, Люся, мы поедем в Монте-Карло, поставим в ruletku на «зеро» и выиграем миллион.

**И вот тогда, с миллионом, Люся, мы вернемся
сюда и будем богатыми любить свою бедную ро-
дину!**

**Ну что ты, как дура, стоишь с кастрюлей на
голове?! Сними ее, сложи в нее с меня лапшу, да-
вай поужинаем, и я сяду наконец за роман.**

1989 г.

Как похудеть

Он одходит ко мне на улице один,

говорит: «Хотите заработать?» Я говорю: «Хочу». Он говорит: «Мы вас используем как рекламу гербалайфа!»

Я говорю: «Чего-чего?!»

Он говорит: «Гербалайфа. Будете говорить, что принимали гербалайф и стали таким стройным!»

Я говорю: «Разве я принимал?»

Он говорит: «Ну какая вам разница? Скажете, что принимали, и за десять минут вы получите сто баксов!»

Я говорю: «Вообще-то, у меня восьмичасовой рабочий день...»

Он ничего не ответил, только хрюкнул. Приехали мы на телевидение. Ведущий говорит: «У нас прямая трансляция, вы не нервничайте».

Я говорю: «Я и не нервничаю, я гербалайф принимал».

Он говорит: «Про гербалайф скажете, когда камеру включат. Внимание — включили!»

Я говорю: «Ой, я же жену не предупредил, что задержусь!»

Ведущий говорит: «Она вас сейчас, возможно, видит». Я говорю: «Она даже когда видит — не ве-

рит. Вчера был у Петьки, она говорит: «Я звонила — никто трубку не снимал!» Я говорю: «Какую трубку, если Петька шапку снять не мог, в ней и заснул!»

Ведущий говорит: «Итак, вы принимали гербалайф?»

Я говорю: «Ну!»

«И сколько в день?» — спрашивает ведущий.

А тот-то мне не сказал сколько. Издалека мне показывает два пальца. Я говорю: «Два стакана!»

Тот за голову схватился. Я говорю: «То есть две бутылки, но под хорошую закуску!»

Ведущий говорит: «Вы, наверное, не поняли вопроса. Какую дозу вы принимали?» Я смотрю, тот, вдалеке, показывает мне пальцами два нолика. Я ему кивнул, что понял, и говорю: «Сто грамм. Перед завтраком, обедом и ужином — для аппетита!»

Ведущий говорит: «И аппетит проходит?» Я говорю: «Да, если плотно закусишь. Но как гербалайфа примешь, он опять появляется!»

Смотрю, тот, который меня привел, со стула сполз.

Ведущий говорит: «Так он вам помог или нет?!»

Я говорю: «Кто?»

Он говорит: «Гербалайф!»

Тут я понял, что это, видимо, фамилия, и говорю: «Помог, он вообще мужик хороший! Часто помогает».

Ведущий говорит: «К-как это?!»

Я говорю: «Ну, взаймы иногда дает...»

«А вы ничего не путаете?» — спрашивает ведущий.

Я говорю: «Однажды перепутал: вместо ста рублей десять отдал! — А сам думаю: зачем я это ляпнул?! И говорю: — А однажды и я ему помог; приходит он ко мне...»

«Я про гербалайф вас спрашиваю!» — говорит ведущий.

Я говорю: «Я про него и говорю, приходит он, Гербалайф этот, ко мне и говорит: «Витек, у тебя выпить не будет?!»

Ведущий говорит: «Вы что, с ума сошли?!»

Вот я ему и говорю: «Ты что — с ума спятил?! Если бы у меня было, разве б я тут был?!»

Ну, тот, который меня привел, смотрю, меж стульев по-пластунски выбирается.

«А похудели-то вы как?!» — кричит ведущий.

Я говорю: «Ну что ты привязался?! Поживи, как я, и ты похудеешь!»

«Так что бы вы могли посоветовать нашим телезрителям, желающим похудеть?» — говорит ведущий. Я говорю: «Тем, кто хочет похудеть, советую деньги отдать мне! Потому что и у меня есть мечта когда-нибудь вволю наесться и напиться!»

Ведущий говорит: «На этом наша передача кончается!»

А я подумал и сказал: «Приятного всем аппетита!»

1993 г.

Из жизни

Аркадий Петрович сказал: «Вить, зайди, дело есть».

Я зашел. Маленький кабинетик секретаря парторганизации издательства: стол, сейф, окно на тихую московскую улицу...

Аркадий Петрович открыл сейф, достал тощую папку и сообщил: «Комиссия из комитета будет, а у меня протоколы партсобраний не оформлены, я только фамилии писал, кто был, а ты напиши там немножко, кто что сказал...»

Сел я за стол, положил перед собой лист бумаги, а что писать? Представил Веру Васильевну с хозяйственными сумками — она в обед за продуктами ходила, самого Аркадия Петровича, тяжело вздыхающего по утрам с похмелья, — не пишется. А в ту пору в театрах шло много пьес на производственную тему, и я решил: буду-ка я писать пьесу! И дело пошло. Вера Васильевна у меня тут же сказала: «До каких пор мы будем устраивать в конце года аврал?! Пора с этим кончать!» Гаврилин, который ее недолюбливал, тут же заявил: «Не надо общих слов! Надо ставить конкретные задачи! А недостатки вскрывать, как злокачественный нарыв!» Аркадий Петро-

вич (тут я подпустил пару) сказал: «Я, как коммунист, чувствую неразрывную связь со своим народом. И отвечаю не только за то, что делается в нашей парт-организации, но и перед страной в целом, потому что наша продукция имеет союзное значение!» Гриль или Гуриль, не помню его фамилию, вдруг заявил у меня, что надо обратиться с открытым письмом к другим издательствам, чтобы они поддержали нашу инициативу: сократить срок прохождения рукописи! И т.д. и т.п.

За два дня тонкая папка протоколов быстро пополнилась. А на третий — пришла комиссия. Я боялся, что будет скандал, кончилось же тем, что Веру Васильевну назначили начальником производственно-го отдела, а Аркадия Петровича — заместителем директора.

Был 1971 год...

Большое копыто

Э

тот заезд начался неожиданно.

во-первых, вместо каурого Балтазара мне дали колхозного Айвенго, от кобылы Ай-яй-яй и жеребца Веника.

«А Балтазар?..» — спросил я. «Приватизировали», — ответил конюх тоном, каким говорят: в морду хочешь?

«Не хочу!» — понял я и приготовился к старту. Вдруг все поскакали.

«А гонг?!» — воскликнул я.

«По пейджеру передали», — объяснил конюх. Ударил я конягу нагайкой, зажмурил глаза, вскрикнул: «Ой!», когда Айвенго перепрыгнул через барьер. Я думал, он взял препятствие, а он через ограду — к пивному ларьку. «Стой! — кричу. — Кляча навозная! Давай вперед!»

А впереди только конские задницы и облачка пыли из-под копыт. Говорю Айвенго: «Ставлю бутылку, если догонишь!»

Смотрю — задницы уже рядом, хвостами чуть не по лицу бьют.

Говорю: «Обойдешь крайнего — ставлю две!» Подналег Айвенго, идем уже ноздря в ноздрю.

Я говорю: «Обходи!» Он не обходит. Я говорю: «Ты что — опять в колхоз захотел?»

Он как рванет, я еле в седле удержался. Обошли троих, а вот американца догнать не можем. Я шепчу Айвенго: «Где ж твоя историческая гордость: ихним штатам двести с небольшим, а ты родился в конюшне, которая со времен Ивана Грозного не ремонтировалась!»

Айвенго аж как кенгуру заскакал. Теперь впереди был Марат, взращенный на племзаводе «Белый буденновец», проданный на колбасу и выкупленный англичанами за эшелон консервов. Он мчался как пуля, как слово, как клевета.

Айвенго — морда в пене — начал отставать. Я решил подбодрить конягу, говорю: «Кобыла Зорька тебе привет передавала...» Он вообще встал как вкопанный, вспоминать принялся, кто такая Зорька.

«Ну, — думаю, — сморозил я глупость, уплывет кубок «Большое копыто»!»

«Передавала Зорька, — говорю, — тебе привет и пожелания лечиться от импотенции! А сама она теперь на Гавайях — выступает в стриптиз-клубе «Радость мерина»!»

Заржал тут Айвенго, так заржал, что с верхних трибун люди на нижние попадали, и понесся как ракета «СС-20», что расшифровывается: «Сами сделали — сами сломаем!» Обошел Марата, и тут какие-то подлецы кордильерской национальности натягивают на нашем пути стальную проволоку, и мы об не-ё... ё!

Очнулся, смотрю: где мой Айвенго? А он — в канаве. Все четыре ноги отдельно, голова на уз-

дечке держится. Подполз к нему, говорю: «В колхоз захотел?» Молчит, не слышит. Уши отдельно тоже лежат. Приладил я их ему, говорю в них: «Зорька твоя с сохатым спуталась, он свои рога тебе обещал отдать!» — ноль внимания. «Денег, — говорю, — мешок увезем, купишь себе новые костили, будешь на джипе кататься!» Молчит.

И тут осенило меня. Говорю: «За землю нашу родимую!.. За культуру нашу поруганную!..»

Зашевелился конь. «Отныне, — говорю, — не Айвенго ты, а — Ветерок!»

Смотрю, одна нога подползла, другая... пришпандорились они к коню; морда у Ветерка серъезная сделалась, поднялся он, взял меня за шкирку зубами, посадил на себя и говорит: «Держись, едрена вошь! Щас мы им покажем кузькину мать!»

Тут я сообразил и говорю: «Ты ж ведь раньше не разговаривал!»

Он говорит: «И ты тож всю жизнь молчал, пока рот разевать не разрешили! Держись, — говорит, — щас рекорд на всю вселенную ставить будем!» И как даст по земле копытом — крыши с домов попадали, как даст другим — в Париже Эйфелева башня закачалась.

Тут Ветерок как пукнет — Эйфелева башня рухнула, в Нью-Йорке стекла со всех небоскребовсыпались, а в России яблони зацвели, малина налилась соком, пшеница созрела...

И тут как рванет Ветерок — меня из седла вышибло! А он несется, грива развевается, из-под копыт искры!

Смотрю я ему вслед, восхищенный, и думаю:
«Эх, тройка, птица-тройка!.. То есть эх, Ветерок,
Ветерок! Куда несешься ты, дай ответ?» Не дает
ответа...

1996 г.

М

елефон

Из жизни

В 78-м году к нам в квартиру, когда я был на работе, пришел телефонный мастер, поковырялся в проводах, ушел, а лестницу-стремянку забыл. День она стояла в коридоре — мешалась, два, три... Желая напомнить, я позвонил в телефонный узел и сказал: «Мастер от вас приходил, лестницу оставил...» Они посмотрели в своих бумагах и говорят: «А мы к вам никого не посыпали».

Я положил трубку, подумал и громко сказал: «Товарищи, заберите, пожалуйста, свою лестницу!»

Назавтра пришел молодой, коротко стриженный человек и забрал.

С

ужик у нас... на Ельцина похож.

Особенно когда выпьет.

Ну выпили мы, я и говорю: «Петрович, давай к моему дому подъедем, а то перекопали все, а тебя увидят...»

Петрович говорит: «Ну и что они увидят — как я с трамваем схожу?»

Я говорю: «Зачем с трамваем — машину возьмем, выйдешь, скажешь: россияне не могут жить на раскопанной, понимаешь, улице».

«Не, — говорит Петрович, — без охраны не могут: а вдруг поколотят?»

Я говорю: «Будет тебе охрана: Васька с Толиком пойдут. У них морды такие — не понять: то ли охранники, то ли бандиты!»

Ну, сговорились с водителем «Мерседеса»: от угла до угла с остановкой у канавы. Подъехали. Васька вылез, говорит в рукав: «Первый на месте!»

Ну, работяги из канавы головы вытянули — наблюдают. А тут Толик вылезает — под пиджаком коробка из-под обуви, будто там автомат. Как заорет: «Группа «Альфа»! Занять крыши, подвалы, очереди!..»

А тут и сам Петрович появляется. Волосы конторским kleem смазаны. Костюм сидит как влитой — мы его на каркас из проволоки натянули. Под мышкой — теннисная ракетка.

И сразу к делу. «Россияне, — говорит, — в стране наметилась стабилизация, фунт доллара уже падает, понимаешь, на хрен, что ж вы с канавой тянете, теплотрассу, понимаешь, не прокладываете?»

Тут народ стал собираться. Какая-то бабка говорит: «Никак на пенсию не прожить!»

«Это мы уже решаем, — говорит Петрович. — Месячная пенсия нас, в принципе, устраивает, вопрос, понимаешь, в том, что в месяце дней много! Щас думаем, как бы это, понимаешь, месяц сократить... дней, понимаешь, до трех. Тогда мы продержимся, чтоб вы не умерли».

Какая-то тетка, вся издерганная, вперед пробилась и говорит: «У меня только один вопрос: чем «Санта-Барбара» кончится?»

Я за голову схватился, а Петрович говорит: «Я думаю, ваши внуки узнают — у них спросите!»

Старичок какой-то кричит: «По улице страшно ходить!» Петрович говорит: «Ездите на машине. Я не возражаю».

Молодуха кричит: «Это что ж такое: детей приходится грудью кормить, а им скоро в школу!»

Петрович говорит: «Кормите плечом».

Я Петровичу моргаю: дескать, пора отваливать, а он меня в упор не видит.

«Когда цены упадут?!» — кричит кто-то.

Петрович говорит: «Я думаю, они упадут вместе с вами, так что держитесь!»

Какой-то очкарик спрашивает: «Почему Солженицына по телевизору не показывают?»

Петрович говорит: «Так он же не поет! Как, понимаешь, научится — мы покажем!»

Работяги кричат из канавы: «Почему зарплату задерживают?!»

Петрович говорит: «Чтоб вы ее не пропили!»

Я водителю шепчу: «Уезжай!» А он высунулся из машины и как закричит: «Почему дороги плохие?!»

Петрович говорит: «Чтоб враг не прошел!»

Тут и я вдруг как заору: «Почему трубы не прокладывают, когда тепло будет?!»

Петрович говорит: «Летом!»

Я понял, что ждать мне больше нечего, и потопал домой. А вечером из телевизора говорят: «Сегодня Борис Николаевич встречался с жителями и обстоятельно ответил на все вопросы».

1995 г.

Колдун

Я *тут к колдуну ходил...*

Обыкновенный такой колдун, глаза сумасшедшие, на руке наколка.

— На что, — спрашивает, — жалуешься?

Я говорю:

— Запой. Как, — говорю, — выпью, не могу остановиться.

Он говорит:

— Это в вас бес вселился. Сейчас будем его изгонять.

— А вдруг не уйдет? — говорю я.

— Уйдет, куда денется! — говорит колдун. И достает бутылку водки. — Будем, — говорит, — брать его на наживку.

Налил он рюмку, дает мне.

— А себе? — говорю. — Что я — алкоголик какой?..

— Ладно, — говорит колдун, — в данном случае это не важно.

Налил две рюмки, положил два огурца, сели за стол.

— А теперь открывай рот, — говорит колдун, — и говори: а-а!..

— А-а-а!.. — говорю я.

— Да что ты на меня-то смотришь! — говорит колдун. — Ты на водку смотри. И ртом-то к ней тянишь! Вот смотри, как я.

— А-а-а... — говорим мы с ним вместе и тянемся.

— Ну? — спрашивает он. — Выходит?

— Позывы, — говорю, — есть, но сам он не торопится.

— Крепкий, зараза, попался, — говорит колдун, — придется его подкормить для соблазна... Ну-ка, пару глотков и: а-а-а!

Хряпнули мы с колдуном по рюмашке и в один голос:

— А-а-а!..

— Нет, не идет, — говорю я. — Чувствую: вытягивается, но... неохотно. Может, закуска плохая?

— На закуску он не реагирует, — говорит колдун. — Распустили чертей, теперь — закуска... А ну, давай еще по одной и сразу: а-а-а!..

Налил он по рюмке, хряпнули мы с ним. И в один голос:

— А-а-а!..

— Идет! — кричу я. — Идет, гадюка, давай еще по одной! Наливай быстрей!

Налил он, хряпнули мы.

— А-а-а!..

А бес как уперся! Мало, что ли, ему или захмелел уже?

Колдун говорит:

— Бес у вас очень развращенный. Ему полбутилки — это лишь на один зуб. Но, — говорит, — и мне профессиональная честь дороже. — И до-

стает еще бутылку. — Будем, — говорит, — брать его на стакан! И подсечкой.

— То есть? — говорю я.

— То есть, — говорит он, — вы берете стакан, поднимаете его и — проносите мимо рта. Может, он, гад, выскочит!

— Должен выскочить, — говорю. — Я бы выскочил.

Налил колдун по стакану, взяли мы в руки, чокнулись, поднял я стакан и выпил.

— Ты чего ж делаешь?! — говорит колдун. — Ты ж мне все лекарство изведешь! Не хочешь, — говорит, — лечиться, проваливай отсюда!

Я жую огурец и говорю:

— Я хочу... только кто ж мимо-то пронесет без привычки? Ты бы мне хоть пластырем рот-то за-лепил!

— Пластырем! — говорит он. — А бес вылезать откуда будет?! Пластырем... Всякий, — говорит, — выпивоха меня еще учитъ будет! Я тебе, — говорит, — лучше глаза завяжу, чтоб ты не видел!

Завязал он мне глаза, налил. Взяли мы по стакану, чокнулись и — выпили. Колдун совсем озверел.

— Ты что, — кричит, — сюда надо мнoй издеваться пришел?! Я ж тебе глаза-то завязал!

— А нос-то! — кричу я. — Я ж по запаху ориентируюсь. Как от природы завещано: обоняние, осязание...

— Обоняние... осязание!.. — орет колдун. — Мы с тобой уже вторую бутылку уговорили! А только полчаса прошло.

Я говорю:

— Все, молчу как рыба!..

— Вот, смотри, — говорит колдун, — я наливаю еще по полстакана, завязываю тебе глаза... затыкаю нос... Ну, поехали!

Я говорю:

— Без тоста не могу. Что я — скотина какая: без тоста пить?!

Он говорит:

— Мы ж не для тебя, а для беса!

Я говорю:

— Он тоже не скотина какая. Он у меня внутри живет, он мне не чужой! Говори тост!

— Ладно, — говорит колдун. И встает. — Товарищи, — говорит он, — я поднимаю этот бокал за людей, которые активно и энергично встали на путь новой жизни!

Поднял стакан и — хряп! И я тоже — хряп!

Он говорит:

— Ты что делаешь?! Ты зачем водку выпил?!

Тебе ж нос и глаза заткнули.

Я говорю:

— Т-тост хороший. Что я — скотина какая? Такой тост, а я — пить не буду! Наливай, — говорю, — еще по одной, закрывай мне рот марлей, я алаверды скажу!

Упаковал он мне голову, как посылку на почте. Поднимаю я стакан и говорю:

— Люди! Любите друг друга!

— Коля! Дай я тебя поцелую! — кричит колдун. — Как хорошо ты сказал. Давай, — кричит, — выпьем на брудершафт!

Я кричу:

— Мне нельзя! У меня бес внутри!

Колдун кричит:

— Черт с ним, Коля!

Выпили мы с колдуном на брудершфт и потом уже где бруде, а где шафт — разобрать было невозможно.

Хотя, если честно, еще бы по полстакана — и бес вышел. Во всяком случае, у меня было такое ощущение — что ему мало!

Из жизни

Иностранцы должны были ехать в г. Чехов — поклониться великому писателю. Начальник мне говорит: «Ты позвони, чтоб там памятник покрасили, а то я был — он весь облезлый!» Я позвонил. На следующий день иностранцы приехали и — обомлели: сидит синий Чехов!

Я потом спрашиваю: «А чего вы синей краской-то покрасили?» А мне отвечают: «Так у нас на складе еще только желтая и красная была!»

*И*ду вечером, смотрю:

вокруг моей машины двое крутятся. Если вызвать милицию, пока она приедет — моя машина уже уедет! Броситься с кулаками — это все равно что добровольно подставить морду едущему на встречу «КамАЗу». Поэтому я сказал: «Осторожнее, ребята, тут заминировано». А эти ребята оказались — оперативники!

Привезли в милицию, капитан спрашивает: «Ты минировал?» Я говорю: «Я пошутил». Капитан говорит: «Почему же тогда я не смеюсь?» Я говорю: «Ну хотите, я вас пощекочу?»

Капитан говорит: «Лучше я тебя пощекочу!» И берет дубинку. У меня волосы на голове зашевелились, даже те, которые выпали. А тут еще с телекамерой лезут и говорят: «Если вы узнали в нем похитившего у вас вещи, звоните!» Одна старушка, у которой немцы во время войны козу увезли, признала во мне штурмбаннфюрера СС! Другая женщина опознала во мне налетчика, потому что у меня морда такая же противная, как у ее мужа! А третья сообщила, будто бы я ночью проник к ней через форточку и до сих пор сижу в ванной!

А тут еще отпечатки пальцев сняли, и выяс-

нилось, что они скожи с протектором «Тойоты», которую угнали вчера от отделения милиции вместе с милиционером!

Позвонили жене, спросили: прописан я по этому адресу? А она с перепугу сказала: «Это морг!»

Капитан совсем озверел, кричит: «Смотри мне в глаза, что видишь?!» Я говорю: «Свой нос, так он распух!» Капитан говорит: «А если не сознаешься — свою задницу увидишь!» Я от страха глаза закрыл, открываю — передо мной она! Думаю: «Неужели моя?!» Ушипнул, а это — капитан стоял, повернувшись!

Он кричит: «Ты что делаешь?!» Я говорю: «Проверяю — я это или нет!»

А тут и прямой свидетель нашелся: видел неделю назад, как под машину кто-то лазил. То ли кошка, то ли человек. Устроили опознание: три кошки и я. Старичок надел очки и говорит: «Это точно он, но у него хвост был! Пусть штаны снимет!»

Я говорю: «Позовите адвоката!»

Капитан кричит: «Адвокат, ко мне!» И в кабинет вбегает бульдог с огромной сопливой мордой! Не знаю, что страшнее — если он тебя укусит или поцелует! А капитан показывает мне фотографию и говорит: «Колись, падла, твой дом?!» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Врешь!» Я говорю: «Тут же написано: «Букингемский дворец!»

Капитан говорит: «Совсем обнаглели бандюги: их дворцы с королевскими стали путать!» Я говорю: «Если бы вы мою дачу увидели, вы бы ее с собачьей конурой спутали!»

Капитан говорит: «Ладно, на первый раз прощаю!» Я говорю: «А на второй, если мою машину будут угонять, — я им сам помогу!»

Будь готов!

Из жизни

В Клину одно время жил детский писатель Аркадий Гайдар. В 75-м году жильцы дома, где он жил, решили, что если в доме сделают музей, то им дадут новые квартиры. И стали ходатайствовать.

Музей не сделали, квартиры не дали, но на дом повесили мемориальную доску. И сюда стали приходить пионерские отряды и дружины. Здесь октябрят принимали в пионеры, пионеры рапортовали жильцам о сборе металлолома, об успеваемости в школе. Пионеры строились поодаль и к дому маршировали, трубя в горны и барабаня в барабаны. Жильцы очень скоро обалдели и стали доказывать, что Гайдар жил здесь совсем недолго, а потом сняли со стены мемориальную доску и стали гонять пионеров матом.

Здравствуй, дядя!

Y редактора отдела прозы

Николая Ивановича Журкина работы много. Поэтому домой он вернулся утомленный, поужинал и хотел прилечь отдохнуть, но тут его внимания потребовала жена.

— От тети Фай письмо пришло, обижается, что не пишем.

— Ну вот и напиши, — сказал Николай Иванович, укладываясь на диван.

— Я уже написала, — призналась жена, — да только знаешь, я ведь институт давно кончала, ты бы посмотрел, может, где ошибки, а то неудобно...

— Ну ладно-ладно, давай, — нехотя согласился супруг. Он поднялся с дивана, сел за письменный стол, начал читать и сразу сморщился, как от кислого. — Ну, что это такое?!

— Что? — встрепенулась жена. — Где?!

— Ну вот: «Дорогая тетя Фая!»

— А что?

— А то, что имя какое-то вычурное, надуманное, нетипичное.

— Так ведь ее же так зовут.

— Мало ли кого как зовут, — снисходительно и устало произнес супруг. — Имя должно быть простое и невольно как бы определяющее внешний облик. Понятно?

— Это да, только ведь...

— Вот возьми, к примеру, у Толстого: Болконский — и сразу представляется эдакий, понимаешь ли, красивый, благородный человек. Не надо оригинальничать, а надо всегда идти от жизни. Вот давай подумаем вместе: тетя у тебя женщина полная, значит, и назвать ее нужно Полина!

Женщина испуганно вытаращила глаза, а Николай Иванович жирно перечеркнул в письме «Фая» и написал сверху «Полина».

— Ну вот так-то лучше, — сказал, смягчаясь. — А это вот что у тебя: «Извини, что долго не писала»? Во-первых, последнее слово имеет двойной смысл...

— Ой! — только и молвила женщина.

— ...а во-вторых, это так старо, затаскано, столько раз было, что совершенно никуда не годится!

— А что же годится? — растерянно пролепетала супруга.

— Начинать надо всегда коротко, динамично и, главное, — сразу заинтересовать читателя, — объяснил Николай Иванович. — Вот, допустим, так: «Здравствуй, дорогая тетя Полина! Вчера я чуть не попала под трамвай». Ты же сама говорила, что вчера что-то такое с тобой случилось. И не надо выдумывать, надо писать то, что хорошо знаешь.

Супруга глубоко и судорожно вздохнула, а Николай Иванович зачеркнул в письме первое предложение, вписал новое, опять уткнулся в письмо и опять передернулся.

— А это у тебя что: «У нас все по-старому»?! Как по-старому? Что по-старому?! И вообще, что за манера писать фразу, не несущую смысловой нагрузки? Это мы вычеркиваем, — твердо произнес супруг, — и даем описание трамвая и пейзаж...

Редактирование продолжалось еще с полчаса. А когда письмо было готово, Николай Иванович привычным движением сунул его в ящик письменного стола и сказал жене:

— Ну вот и все.

*И*ностранец

Из жизни

В 89-м в Риге концерт. Ожидая своей очереди, вышел подышать свежим воздухом. Слышу — женщина сзади говорит: «Спроси у этого латыша, где здесь (такая-то) улица?» После чего ко мне подходит мужчина и говорит: «Скажите, пожалуйста, где здесь (такая-то) улица?» Не зная где и чувствуя себя неудобно перед женщиной, которая приняла меня за латыша, я пожал плечами и отошел в сторону. И услышал, как женщина сказала: «Правильно говорят — не любят они русских!»

Консультация

В чера в женскую консультацию

ходил... С-случайно попал. Дождь сильный начался, а с-спрятаться негде. А когда сообразил, где я, уже п-поздно.

Ну, чтоб не выгнали, сел в угол, с-смотрю в пол, жду.

И — дождался.

— Г-гражданка, — говорят мне, — ваша очередь.

Встал я, а ч-что делать, не соображу. А дождь поливает за окном к-как из ведра.

С-слышу, женщины в очереди обсуждать меня стали.

— М-молодая, — говорят друг другу, — волнуется.

О-оглядел я себя: костюм на м-мне, правда, такой... бесполый — джинсовый. Прическа тоже — и-интернационально-молодежная...

«Л-ладно, думаю, зайду от греха подальше, врачу объясню, чего лишний шум п-поднимать?»

З-захожу — врач п-пишет что-то.

— Фамилия? — спрашивает, а сама г-голову от стола не поднимает.

— К-криворучко, — говорю.

— Имя?

— Ж-Женя...

— Садитесь, — говорит врач, — Женечка. Вы, я вижу, у нас в-впервые?

И — пишет.

— Ага, — кивнул я, — в-впервые. Я, видите ли, доктор, случайно...

— В браке состоите? — перебивает она. И — пишет.

— С-состою, — говорю я. — Т-третий год...

— АбORTы были?

— Нет! — сказал и испугался. — Н-не было...

— Молодец, Женечка, — похвалила врач и... п-пишет.

— В-видите ли, доктор, — решился я наконец все распутать, — я д-действительно Криворучко Женя... но я не женщина...

— Странно, — говорит врач и п-пишет. — Ну ничего, р-раздевайтесь. Сейчас посмотрим!

«Ну, думаю, л-ладно. Ты сейчас п-посмотришь!»

Разделяя по пояс, п-подхожу к ней вплотную. П-потрогала она, не глядя, мою грудь и г-говорит:

— Вам, — г-говорит, — Женечка, трудно будет к-кор-мить ребенка.

— Я ложкой его буду к-кормить! — заорал я.

— Вот и с нервами у вас не в п-порядке, — сказала она. И пишет. — Я вам, — г-говорит, — выпишу настой валерьянового корня, будете принимать три раза в-в день, а как только ребенок начнет ш-шевелиться, снова ко мне!

— Доктор! — в отчаянии выкрикнул я. — Я н-никогда не рожу!

— Все вы так вначале г-говорите, — отмахнулась она и п-пишет, — а потом и не заметите, к-как родите. Да вы не волнуйтесь, — г-гов-рит, — п-пойдете в декретный отпуск, накопите силенок и — р-родите!

Т-тут она впервые подняла на меня глаза, и лицо ее с-стало б-белее халата.

— К-кто вы? — выдохнула она.

— К-Криворучко... Ж-Женя...

— Вы г-гангстер! — сказала она и р-рухнула в обморок.

А я с-с-с тех п-п-пор... з-заикаюсь.

1985 г.

Берегом реки

Kогда я бываю в гостях

у Феофанова, я всякий раз удивляюсь: как, в сущности, мы еще мало знаем друг друга.

Вот, например, в прошлое воскресенье я стал очевидцем удивительного события. Мы собрались у Феофанова по случаю его кандидатской диссертации, которую он решил начать писать с понедельника. И вот после того, как все его горячо поздравили и пожелали успешной защиты, Феофанов вдруг сказал:

— Диссертация — это, конечно, хорошо, но вот о чем я думаю: а способен ли я на настоящий мужской поступок? Вот, например, если бы я шел берегом реки, а в реке тонул человек, смог бы я...

— Зимой или летом? — уточнила жена Горемыкина.

— В лютый мороз! — сурово проговорил Феофанов.

— Я бы сделал так, — сказал, поднимаясь из-за стола, Горемыкин, и руки у него от волнения дрогнули. — Я бы... незамедлительно бросил утопающему подручное плавсредство, а сам бросился к телефону!

Он сел, и в комнате повисла тишина. Жена Горемыкина нежно взглянула на него и ближе подвинула ему тарелку с салатом.

— А я!.. — сказал, медленно поднимаясь с места, Сергачев.

— Что?! — невольно вырвалось у всех.

— А я... — густея голосом, проговорил Сергачев, — снял бы ботинки, шапку, шарф...

— Пальто оставь! — крикнула его жена.

— ...пальто, — неумолимо продолжал Сергачев, — пиджак... и — подал руку помохи утопающему!

Я видел, как запылали женские лица и нахмурились мужчины, и сам непроизвольно сжал кулаки и расстегнул на пиджаке одну пуговицу

Но тут поднялся над столом Кузьмин, ослабил галстук и глухо произнес:

— А я бы подал руку помохи утопающему, а затем десять километров нес бы его на спине до ближайшего медпункта, теряя силы и сбиваясь с пути!

— Почему десять? — спросила жена Горемыкина, но ей никто не ответил, так все были поражены поступком Кузьмина.

— А я! — выкрикнул из-за стола самый молодой из гостей Воронков Сережа. — Я бы последней спичкой развел костер, вскипятил воду и...

— Искусственное дыхание... искусственное дыхание... — шепотом громко подсказывала ему мама.

— И сделал искусственное дыхание.

— Вениамин! — толкнула меня в бок жена. — А что же ты?! Что же ты молчишь?!

— Друзья, — сказал я, вставая, — неудобно говорить про себя правду, более того, я рисую показаться нескромным, но я бы не только развел костер, я бы остро отточенным топором срубил бы несколько сухостойных лиственных деревьев и сделал избушку-времянку, где можно было бы обсушиться и прийти в себя. А затем отправился бы в ближайший населенный пункт за помощью и бесстрашно шел бы двое суток сквозь пургу и снежные заносы.

Когда я закончил, Феофанов молча вышел из-за стола и не стесняясь трижды обнял меня. А потом сказал:

— Вот какие есть на свете люди! И я горд и счастлив, что это мои друзья! Что касается меня, теперь я уверен — я поступил бы так же!

— Вот живешь рядом с человеком долгие годы и не знаешь, что он за человек! И только в особенные минуты видишь, как щедр, отважен и богат он душой! — молитвенно проговорила жена Феофанова...

— Предлагаю сегодняшний день запомнить всем на всю жизнь! — с чувством произнес Горемыкин.

Повинуясь общему порыву, мы все встали и крепко в волнении пожали друг другу руки.

— Пап, а река в лютый мороз подо льдом бывает? — робко произнесла маленькая дочка Феофановых, но ее никто не услышал.

А я хотел объяснить ей, что там, возможно, была прорубь, но подумал — и не стал. Ведь ребенок все равно всего понять не может.

Из жизни

В коридоре фабрики вывешивали газету «Труд», в которой публиковалась таблица выигрышер дежно-вещевой лотереи. Однажды с утра, просмотрев таблицу, я переписал на бумажку номер билета, выигравшего «Волгу», и, когда один из мужиков сказал: «Пойду свои проверю!», попросил: «И мой проверь тоже». Дал ему бумажку, он ушел и вскоре вернулся в курилку бледный, говорит: «Ты «Волгу» выиграл!» Мужики говорят: «Ну тебе повезло — беги за бутылкой!» Я говорю: «Я пошутил!» Они говорят: «Ну ты и жмот! Машину выиграл и жмешься!» Я говорю: «У меня и денег нет!» Они говорят: «Мы сейчас зайдем у кого-нибудь, а ты потом отдашь!

Дали мне деньги, я купил водку, они пили, а я думал: «Никогда больше шутить не буду!»

Было мне лет шестнадцать... или пятнадцать...

Была весна...

*М*ы сидели в маленьком скверике,

слушали, как лопаются на деревьях почки, и молчали. Изредка она поднимала пушистые, нежно подрагивающие ресницы и обволакивала меня солнечным взглядом своих восторженных глаз — я для нее был Иваном-царевичем. Она для меня — Василисой Прекрасной. И все было чудесно, пока... на соседнюю скамейку не присела бабушка с плачущим внучком. Миленькая такая бабуся.

— Ути, — попробовала развеселить бабуся внучка, — какой дядя сидит!

И показала на меня.

Внучек не развеселился.

— Ути, какой у дяди носик! — озабоченно пропела бабуся. — Посмотри, какой длинный у дяди носик! Как у Буратино у дяди носик. Помнишь сказку про Буратино?

Внучек кивнул и заинтересованно глянул в мою сторону.

— А посмотри, — продолжала бабуся, — какие у дяди ушки. Ути, какие большие у дяди ушки! Как у слоника в зоопарке, у дяди ушки!

Ушки мои вспыхнули и засветились двумя

красными фонариками. Я их потрогал и чуть не обжегся. Василиса Прекрасная заметно поскучнела. Я решил отвлечь ее внимание и громко сказал:

— Погода-то какая сегодня хорошая!

И услышал:

— А глазки, посмотри, какие у дяди глазки.
Ути, какие маленькие у дяди глазки!

— Солнце-то как светит! — еще громче сказал я.

— Как у мышки, у дяди глазки!

Внучек сиял.

— Погода-то, — не сдавался я, — совсем лето!

— А волосики-то, ути, какие реденькие у дяди волосики. Можно сказать, и нет совсем у дяди никаких волосиков.

— Нет и не надо! — не выдержал я. — Не в этом счастье! Главное, чтоб человек был хороший.

— А голосок-то, голосок! Ути, какой неприятный у дяди голосок! Какой скрипучий у дяди голосок. Как у Кощяя Бессмертного, у дяди голосок!

— А зачем он дяде приятный-то?! Дядя не певец, не Магомаев! Куликов моя фамилия!

— Ути, какая смешная у дяди фамилия!

И тут мое терпение лопнуло.

— Хватит, бабуся! — закричал я. — Хватит, или я за себя не отвечаю!..

— Ути, какой нервный дядя! — бросила на последок бабуся, подхватила радостного внучка и заспешила к выходу.

Она ушла, а я остался. Но... только уже один — без Василисы Прекрасной.

С цветочками

Э ротика, эротика...

А я вчера трусы покупал... намучился, как собака!

Не при женщинах будь сказано — сорок восьмой размер... пятый рост хотел приобрести... чтоб колени закрывали.

Она мне говорит: «Берите с цветочками». Я говорю: «Что я — картина какая?! Что мне: надеть трусы и в Третьяковской галерее повеситься?! Стыд совсем потеряли! Дайте, — говорю, — мне пятьдесят второй размер, десятый рост, чтоб до ботинок доставали!»

Она говорит: «Неужели вам другие нельзя?» Я говорю: «Что значит: нельзя?! Если у меня колени мерзнут! У нас вторую неделю батареи не топят. В подъезде какие-то эротики все стекла побили! Дайте мне, — кричу, — пятьдесят второй, десятый рост, на вате и с пуговицами! Чтоб можно было запахиваться и воротник поднимать!»

Она говорит: «Так вам с цветочками или в полосочку показать?» Я говорю: «С телефоном мне показать! Потому что у меня телефона нет, а какие-то эротики все телефоны в округе разлома-

ли! Сосед побежал машину вызывать — жена рожала, так пока машина приехала, мальчик в первый класс пошел! С телефоном мне трусы и с обоями! А то я ремонт начал делать, стены газетами обклеил, а обоев нет! Теперь со всех стен на меня проститутки, наркоманы и бандитыглядят! Я среди них то как в тюрьме, то — в публичном доме!»

«Не хотите брать с цветочками, — кричит продавщица, — берите вот эти — цвета «маренго»! Их по конверсии из танковых чехлов делают!»

«Дайте мне трусы с обоями, с говядиной и с кроватью! У нас же из мебели в свободной продаже только полочка для мыла, а я с нее падаю!»

«Вы дурак!» — кричит она.

«Нет, я хитрый! — кричу я. — Я купил двадцать полочек, прибил на стену, но стена рухнула! И я стал ремонт делать!.. Позвал строителей, они говорят: «Надо вещи выносить!» Вынесли — и скрылись. Жулики оказались. Эротики...»

Дайте мне трусы с квартирой! А то я, когда в свою малогабаритную вхожу, сразу носом в окно упираюсь! Дайте мне трусы с квартирой! И с улицей без этих канав и луж, но с дворниками, магазинами и красивыми домами! Дайте!..»

Ну, не выдержала она и... дала. И пошел я, прижимая пылающую щеку, как эротик какой! И услышал в спину: «Сами вы мужики все — трусы!» Или «трусы» — не разобрал...

Вот и вся эротика!

1989 г.

Dурак



«Убоится жена мужа своего», а моя? Вчера говорю: «Я — оптимист!», она говорит: «Жалко, что дурак!»

Ничего в политике не понимает! Вчера включил свет — он не включился. Я говорю: «Надо менять правительство!» Она говорит: «Дурак, поменяй лампочку!»

Полез менять, говорю: «Ой, меня током ударило!» Жена говорит: «Это я тебя шваброй! Ты зачем на стул встал, мог бы газету взять!»

Я говорю: «Я ее уже читал, там написано, что завтра будет плюс двадцать!» Жена говорит: «Дурак, это прошлогодняя газета!»

Дурак, дурак... А вчера проснулся, слышу, жена говорит: «Какой ты красивый! Какой умный!..» У меня на сердце как праздник. Открыл глаза, а это она коту! «Какой, — говорит, — ты умный, не то что этот дурак!»

Действительно — дурак! Спрятал заначку в старые брюки, а она их бомжу отдала! А я хотел ей подарок купить! В прошлый раз на Восьмое марта купил ей, думал — ожерелье, а это — ошейник!

Сын тоже... Я пошел вчера в школу, а оказывается, он ее год назад кончил! Я говорю: «Что ж ты мне не сказал?» Он говорит: «А зачем говорить, если ты мой дневник за первый класс еще не проверил?»

Я говорю: «Оболтус, твой отец в твои годы работал и учился!» Жена говорит: «А ты откуда знаешь?» Я говорю: «Ты на что намекаешь?!» Жена говорит: «Уж и пошутить нельзя!»

Избаловала его... Говорю: «Он по улице постоянно с бутылкой пива ходит, а я в его возрасте в бутылке только анализы носил!»

Жена говорит: «Правильно, потому что тебе больше доверить ничего нельзя! Попросила заплатить за квартиру, ты дал соседу заполнить квитанцию, он номер своей квартиры и вписал!»

Я говорю: «Он ошибся!» Жена говорит: «Конечно, особенно когда уговорил тебя заплатить за три месяца вперед!» Я говорю: «А сама — попросил позвонить на работу и сказать, что я болен, а ты сказала: «Он сейчас болен, а когда проспится, вам перезвонит!» Что они подумают?!»

Жена говорит: «Что ты дурак! Даже пить не умеешь! Надо же знать меру!»

Я говорю: «А как ее измерить, если всегда бывает мало, до той поры, когда уже много!»

Жена говорит: «Запомни: первый признак, что ты пьян, это когда ты думаешь, что ты умный! А второй, когда лезешь женщинам целовать руки, а они убегают от страха! Ты так на новый год всех гостей разогнал, хотя было еще без пяти двенадцать!»

Я говорю: «А сама... каждый день собираешь-

ся сесть завтра на диету, а как откроешь холо-
дильник, говоришь: «Я обещала завтра, а сего-
дня — пока сегодня!»

Жена говорит: «А ты из тех мужчин, которые
дарят женам цветы только два раза: на свадьбу и
на похороны!»

Я говорю: «Я тебе уже три раза дарил, а ты
еще жива!»

Жена говорит: «Что ты хочешь этим сказать?!»
Я говорю: «Я хочу сказать, что я не как все муж-
чины!» Жена говорит: «Голубой, что ли?!»

Я говорю: «Зеленый!»

Жена говорит: «Тогда молчи и жди, когда со-
зреешь!»

Да я в основном и молчу. И думаю: «Что мне
нужно такого сделать, чтобы она меня убоялась?»

Будь здоров!

A

лло, Люся, это я! Я пошел

в поликлинику, а они сказали, что с моим здоровьем надо сразу на кладбище!

Не, Люсь, они проверяли... рентген показал, что меня вообще нет. Ну они его включили, когда я еще не разделся, и диагноз написали: «Невидимка»!

Пошел к хирургу, говорю: «Мое тело невидимо». Он посмотрел и говорит: «Вы когда последний раз ели?» Я говорю: «Утром». Он говорит: «Утром какого года?» Я говорю: «Этого». Он говорит: «Странно, позвоночник прощупывается сквозь живот!»

Я говорю: «Доктор, вы же себя щупаете!» Он говорит: «Не спорьте, вытяните руки».

Я вытянул. Он говорит: «Почему их три?» Я говорю: «Доктор, это мой нос». Он говорит: «Понятно». И написал диагноз: «Слон».

Я пошел к терапевту. Она говорит: «На что жалуешься?» Я говорю: «Я слон». Она говорит: «А я Иванова». Я говорю: «Хирург сказал, что я слон». Она говорит: «А не надо к нему ходить, пока он не опохмелится!» Приложила к груди стетоскоп и

говорит: «Дышите, не дышите...», я не дышу, а она, оказывается, заснула. Проснулась, когда я уже посинел! Говорит: «Извините, у нас зарплата маленькая, я по две смены работаю». Я говорю: «Доктор, ну я буду жить?» Она говорит: «Если у вас зарплата такая же, как у меня, то вряд ли!»

Пошел к окулисту. Она говорит: «Раздевайтесь». Я говорю: «Зачем?» Она говорит: «Потому что окулист заболел, а я патологоанатом!» Я говорю: «Но у вас же разные профессии!» Она говорит: «Ну и что, у нас взаимовыручка, потом он будет проверять зрение у покойников и выписывать им очки!»

Я, Люсь, чуть не рехнулся! Пошел к психиатру, он взял молоток и говорит: «Положите ногу на ногу». Я говорю: «Левую на правую или правую на правую?» Он говорит: «Левую на левую!»

Я попробовал положить и со стула упал. Психиатр говорит: «Понятно, вы припадочный!» Я говорю: «А что вы мне посоветуете?» Он говорит: «Держаться от меня подальше!»

Пошел к стоматологу. Он говорит: «Откройте рот». Я открыл, он говорит: «Так у вас же ни одного зуба нет!» Я говорю: «Доктор, вы же в ухо смотрите!» Он говорит: «Извините, я очки дома забыл! Но я могу и на ощупь что-нибудь вырвать. У вас сколько зубов?!» Я говорю: «Не считал». Он говорит: «Сейчас на один меньше будет!»

Люсь, у меня зубы от страха сами чуть не выскочили! Я говорю: «Доктор, а никак нельзя договориться?» Он говорит: «Можно, давайте сто рублей, и я напишу, что ухо проверил, а вы идите к ушному и за двести проверьте зубы!» Я говорю:

«А какой диагноз вы мне поставили?» Он говорит: «Ушной кариес. Чистить уши три раза в день зубной пастой «Бленд-а-мед»! Если не поможет, будем удалять!»

Пошел к ушному, врачиха говорит шепотом: «Вы меня слышите?» Я молчу. Она громче говорит: «Вы меня слышите?» Я молчу. Она говорит сестре: «Этот козел ничего не слышит, выпиши ему слабительное, чтоб он сюда больше не ходил!»

Я говорю: «Я все слышу». Она говорит: «А что ж молчали?!» Я говорю: «Потому что молчание — знак согласия!» Она говорит: «Если вы такой согласный, то вам нужно в кожно-венерологический диспансер!» Я говорю: «Зачем в диспансер, я хочу в санаторий!» Она говорит: «Да кто ж вас возьмет припадочного невидимку с ушным кариесом?!»

Алло, Люся, так мне куда идти? Куда?! Нет, я лучше пойду домой!

Звезда эстрады

Из жизни

В Новосибирске что-то перепечатали из книжки и прислали по почте гонорар. Сумма маленькая, но...

Пошел на почту, встал в очередь, за мной — ста-рушка. Смотрит, смотрит на меня, а потом говорит: «Вы на Коклюшкина очень похожи». Я пожал плечами, молчу. Она говорит: «Вы бы могли в конкурсе двойников участвовать. Заняли бы там первое место, получили деньги и... — она смерила еще раз меня взглядом, — купили бы себе что-нибудь приличное из одежды».

Я помню все

У меня генетическая память

очень развита. Например, я помню, как сидел на ветке. Рядом подруга-обезьяна скалится в улыбке... Вдруг другой обезьян как даст мне по башке!

Динозавров помню... огромные. Мы на них охотились. Подбежим кучей, динозавр кого-нибудь прибьет, мы его съедим.

Помню, как бежал за мамонтом с камнем в руке... Потом мамонт развернулся и бежал за мной. В яму, замаскированную травой, я упал первым, он — следом. Только сейчас я понял, что соплеменники использовали меня как приманку!

Татаро-монгольское иго помню плохо. Чтоб живым остаться, я глаза широко не раскрывал.

Пугачева помню... Помню, выпили и кричим: «Слава царю!», а когда опохмелились — его уже в клетке везут! Я крикнул: «Слава...», мне как дадут по башке. Я до старости хлеб одним зубом жевал!

Лермонтова помню... На Кавказе было... Он — поручик, я — горец. Лежим мы с Махмудом в засаде, вдруг Лермонтов на коне! Я прицелился, а Махмуд говорит: «Нэ надо, его свои убьют». Я говорю: «Почему?» Махмуд говорит: «Аллах их знает! Навэрно, у них поэтов много, а дураков мало!»

Однажды японцем родился... И что удивительно: русских не любил, а в следующий раз — русским на свет появился. Помню, под Мукденом бегу в атаку, а навстречу мне мой внук-японец... Вообще-то, предыдущая память стирается, а у меня, еще когда в первобытном веке по голове ударили, эта стерка сломалась. Я кричу японско-му внуку: «Я твой дедушка!» А он мне по-русски отвечает: «Я твой матушка!..» И застрелил меня на хрен!

Отчетливо помню Октябрьскую революцию. Зимний дворец! И я бегу... в обратную сторону. Мужик какой-то кричит: «Грабь награбленное!» Ну, его и ограбили. Солдат, помню, орет: «Хватит, навоевались!» Ну, его и уокошили.

Помню, в 30-м году приехали к нам в деревню из города раскулачивать... корову свели на колхозный двор, стали доить. За рога дергают, кричат: «Почему молока нет?!» Я говорю: «Под хвост подуй, может, засорилось!»

Они как дунут мне... очнулся аж в Сибири!

В 41-м, помню, добровольцем пошел. Дали винтовку... одну на тридцатых. Сказали: «Стрелять коллективно: один целится, другой кричит: «Огонь!... который в толстых очках — нажимает на курок... тридцатый бежит за пулей и бьет ею фашиста по голове».

Помню, ползу по грязи с бутылкой бензина, а фрицы с танка смотрят и говорят: «Правей бери, там суще...» А там уже Петька из нашей роты сидит, кремнем искру высекает. Не успел он... Танк как бабахнет!

В 57-м меня в космос запустили... Помню,

академик Королев погладил меня меж ушей, говорит: «У, сука!» — я тогда собакой был. Главное, вместе со мной блоху запустили. Так что первая блоха в космосе тоже наша! Я уж от голода сдох, а она все ползает, радуется, что ей столько еды в полет дали!

Вновь родился в Казахстане... В семье немцев, высланных с Поволжья. В начале 91-го проголосовал за сохранение Союза, а теперь — живу в Германии и, когда выпью шнапса, пою русские народные песни. И думаю: «Как бы сделать, чтобы хоть следующую свою жизнь прожить спокойно?!.»

Слётчик

Из жизни

Дважды Героям Советского Союза был положен бюст на родине... В одном районном городе бюст дважды Героя-летчика стоял в сквере, а сам летчик жил так, что ему выпить негде, а он любил. И когда он с мужиками брал бутылку, то говорил: «Пошли ко мне!» И они шли к его бюсту в скверик и там выпивали. После чего он ложился на эту лавочку спать. И милиция его не трогала.

Про птичку

В прошлую зиму трудно

пришлось нашим маленьким пернатым друзьям. Одна маленькая птичка, перелетая с веточки на карниз, не выдержала и упала на тротуар.

Житель дома номер семь Терехов Н. И. увидел это в окно. Не раздумывая кинулся он на помощь!

Пенсионер Гаврилов, который попался ему на лестничной площадке, потом рассказывал в больнице врачу, что тоже спешил на помощь птичке, но не успел увернуться от Терехова, а этаж был восьмой...

Когда Терехов выскочил на улицу, птички уже не было. Ее подобрал таксист Нырков Павел Григорьевич, который для этого специально высадил пассажиров, хотя те и торопились на вокзал.

В дороге птичка захотела пить. Автофургон «Молоко» (водитель Епифанов Е. И.) изменил маршрут следования «Молокозавод — магазин «Диета» и на углу Преображенской улицы и Сычевского тупика нагнал такси с птичкой, совершив наезд на киоск «Мороженое».

Администрация магазина «Диета» положительно оценила поступок водителя. Прокисшее

молоко было принято как нормальное и в тот же день реализовано населению.

Тем временем птичке становилось все хуже, нужна была срочная медицинская помощь: камфара, вакцина, йод, антибиотики, ласковое слово.

Главный врач центральной больницы Вано Габриэльевич Саакян всю свою жизнь посвятил лечению больных. Но тут случай особый — птичка!

Через спутник связи он связался с академиком Пильбау. Консультация длилась несколько часов и стоила в переводе на доллары столько же, сколько стоит спутник.

«Срочно требуется крови!» — решили они.

Сто двадцать семь добровольных доноров направили организации и предприятия города!

Денежное пожертвование в сумме трехсот двадцати восьми рублей прислал из поселка Куркут Кустанайской области Федорчук Петр Данилович. Он писал, что в детстве у него тоже была птичка и в память о ней он высыпает деньги, для чего продал кровать, стол, шкаф, стулья, а также зимние и летние вещи жены.

Поступило пожертвование и от учащихся одной из средних школ города Кривой Рог. «Мы, криворожцы, — с гордостью писали они, — высыпаем для обеспечения здоровья пернатого друга тридцать один рубль сорок шесть копеек, полученные нами за сдачу в макулатуру наших учебников по зоологии, ботанике и географии. Если надо, — писали они, — напишите нам, мы сдадим и по физике, химии и математике!»

Между тем в центральной больнице уже было все готово для операции: выселены больные, ос-

тановлена электростанция, питающая город, и, как запасная, подключена к больничной.

Люди делали все, что могли. Радио сообщило о надвигающемся циклоне, но войска противовоздушной обороны...

Операция длилась всю ночь. Город не спал, хотя и не было света. Наутро, когда первые лучи восходящего солнца осветили притихший город, профессор Саакян снял марлевую повязку, сказал «Будет жить!» и упал в обморок.

Так закончилась эта поистине удивительная история. Птичка была доставлена в отдельную палату на первом этаже, где и была вскоре съедена кошкой. Как установило следствие, кот Барсик, он же Мурзик, он же Васька, 1983 года рождения, уроженец подвала дома номер пять, проник в открытое окно с целью личной наживы. За что и был вечером лишен ужина. Вот и все.

1985 г.

Было так: у Киселева

собрались гости, а по телевизору шла передача «Жди меня», и немолодая милая женщина сказала: «Я ищу Иван Иваныча Киселева».

Иван Иванович вздрогнул, а женщина тихо сказала: «Ваня, если ты меня слышишь...»

«Слышу», — вырвалось у него.

Гости переглянулись, а Иван Иванович смущался и сказал: «Это, наверное, однофамилец и одноименец!»

Тут в комнату вошла его жена и говорит: «Что это?» Киселев говорит: «Не знаю, по-моему, это передача «В мире животных».

А женщина на экране говорит: «Я сейчас покажу фотокарточку, где мы с Ваней вместе». Киселев говорит: «Не надо!»

Гости удивились, а Киселев говорит: «Не надо ли... вам пройти в другую комнату?»

Гости говорят: «Зачем, нам и здесь хорошо!» А жена Киселева вглядывается в экран и говорит: «Я плохо вижу, где мои очки?»

Киселев сел на них — они на кресле лежали — и говорит: «Они на кухне... в холодильнике!»

А жена щурится в экран и говорит: «Должно быть, симпатичный этот... кого она ищет!» Киселев говорит: «Да что в нем симпатичного — урод!» И нарочно в телевизор не смотрит, а женщина говорит: «А помнишь, Ваня, наш первый поцелуй?...»

Киселев подпрыгнул в кресле и говорит: «Интересно, что сейчас по второй?» Жена говорит: «Телевизор не водка, чтобы сразу по второй!»

Гости тоже говорят: «Не надо переключать, вдруг она еще что-нибудь скажет...» А женщина говорит: «А помнишь нашу первую ночь?...»

Тут Киселев, чтоб заглушить телевизор, запел: «Ночь была с ливнями, вся трава в росе!..»

Жена говорит: «Ты что — рехнулся?! Ты же последний раз пел на свадьбе, и то потому, что много выпил!»

А женщина на экране говорит: «А помнишь твою свадьбу: я тогда была среди гостей, а ты сказал жене, что я твоя четвероюродная сестра, и она поверила!»

Киселев повернулся к окну и закричал: «Смотрите — дом горит!» Жена говорит: «Чтоб ты сам сгорел! Дай послушать!» И — услышала: «И потом твоя жена тоже не догадывалась: когда ты говорил, что задерживаешься на работе, а задерживался у меня!»

Киселев забегал по комнате и закричал: «Я забыл — у нас сегодня воду отключат!» Жена говорит: «Я тебя сейчас самого отключу!» А женщина говорит: «Если ты меня слышишь — приезжай, а мы тебя с сыном встретим как родного! Тем более что он похож на тебя как две капли воды!»

Киселев схватился за голову и застонал, а женщина говорит: «А живу я по-прежнему в Волгограде!»

«Но я в Волгограде никогда не был!» — закричал Киселев.

А гости сказали: «Что ты нервничаешь, это же однофамилец и одноименец!»

А жена вдруг вздохнула и сказала тихо: «Да, бывают такие мужчины, чьи глаза помнишь всю жизнь!»

И пошла на кухню искать очки.

Из жизни

Серпуховской музей обворовали так: там была охранная сигнализация, питалась она от электричества, а электричество на ночь отключали, чтобы не было пожара от нуждавшейся в ремонте электропроводки.

В театре

З начит, так: выдумывать

ничего не буду, а расскажу только то, что видел своими глазами. Хотя и отказывался им верить.

Случилось это в прошлую пятницу в нашем городском драмтеатре.

Давненько я в театре не был, так что поначалу даже понравилось: народу мало, никто не толкает, очереди в буфете нет. И мест в зале свободных много: не хочешь далеко сидеть — садись поближе. Одним словом, удобно. Хоть в театре себя человеком чувствуешь!

Сели мы с женой в партер, девятый ряд, места десятое, одиннадцатое. Это помню точно, как спектакль назывался — запамятовал. Что-то про строительство: одни, помнится, доказывали, что надо строить плохо, а другие — что надо строить хорошо. И чем бы это все кончилось — неизвестно, но тут встает с первого ряда человек достойно гордой кавказской внешности, протягивает старшему прорабу на сцену десятку и говорит:

— Слушай, дарагой, очень прошу: монолог Гамлета!

Прораб-артист от неожиданности как подавился — и ни слова!

— Слушай, не для себя прошу. Гости у меня, уважь!..

В зале, конечно, оживление, смех. А на сцене засуетились, и занавес опустили. Слышу, спорят там, шумят. Занавес колышется, как живой. Потом подняли его, на сцене те же и — режиссер.

— Для наших гостей из солнечного Армавира, — объявляет он как бы нехотя, но громко, — монолог Гамлета!

Взял десятку и, будто между прочим, сунул в нагрудный карман. Прораб снял каску, пригладил волосы и, волнуясь, начал:

— Быть или не быть — вот в чем вопрос!..

Таких аплодисментов давно не слышали стены театра. Даже люстра под потолком раскачивалась, даже я хлопал.

Тут на сцену полезли с разных концов двое. Десятки несли в вытянутых руках, как цветы, как розы.

Я оглянулся — глаза зрителей сияли задором и интересом. В открытую дверь в зал просачивался народ и занимал ближние места.

— Идет эксперимент! — тихо объясняли они друг другу.

— Спектакль на хозрасчете!..

— Для Бориса Петровича Расторгуева, главного инженера мебельной фабрики № 3, монолог Гаева из пьесы Чехова «Вишневый сад»! — объявил режиссер, убрал купюры в карман и отступил за кулисы.

Артист, который играл управляющего трестом и доказывал, что экономически выгодно строить плохо, вышел вперед. Снял очки, отлепил на-

шлепки залысин. Хорошее, добroe и чуть грустное лицо у него было.

— Дорогой, многоуважаемый шкап! Приветствуя твоё существование!.. — проникновенно произнес он, и что-то теплое разлилось у меня в душе, родное и близкое...

Уж как мы ему хлопали — до сих пор побаливает правая рука и левое ухо. И такая празднично-семейная обстановка образовалась в зале и на сцене, что режиссер, выйдя к рампе, сам достал из своего бумажника деньги, переложил их в нагрудный карман и запальчиво объявил:

— По моей просьбе в честь моего будущего ухода на пенсию — монолог Отелло! Исполняю — я!

Минут пять он не мог приступить к чтению — мешали рукоплескания и крики «браво!». Народу набилось: уборщицы со швабрами, гардеробщицы с пальто, вахтеры, электрики, пожарник, знакомые, соседи, прохожие...

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона?! — начал режиссер, и столько в его голосе было неподдельной боли и страсти, что несколько женщин в зале сразу зарыдали, а одна старушка выкрикнула:

— Невиноватая она! Невиноватая!..

Не знаю, что со мной случилось. Но если после современных фильмов на морально-нравственные темы мне обычно хочется сказать жене какую-нибудь колкость, то тут защемило вдруг сердце от несправедливости своей, мелких упреков. Захотелось стать как-то чище сердцем, мужественнее и даже — не поверите — умнее.

Возвращались мы из театра молчаливые и,

что уж греха таить, как бы отмытые от суевы по-вседневной и грубости.

Вечерняя улица была тиха и спокойна. И такая гармония царила в мире, будто и луна, и дома, и люди там, за светящимися окнами, — все мы родственники.

1988 г.

Из жизни

Не хотел, отказывался — выбрали председателем месткома. Своих забот — полон рот, а тут: «Дайте план работы на квартал!», «Когда же вы дадите план работы на квартал?!» Начальник вызывает: «Вить, ну дай ты им план работы!»

Я думаю: «Ну я вам дам!» Расчертил лист бумаги, вписал фамилии наших остолопов и... Галина ругалась, что накурили, и часто открывала форточку — против ее фамилии написал: «Постоянный контроль за санитарным состоянием помещения»; Генка по ночам слушал «Голос Америки», а по утрам нам пересказывал — «Проведение утренних политинформаций с целью повышения культурного уровня»; к Саше часто приходили какие-то подозрительные типы и шептались с ним по углам — «Тесная связь с общественностью»; Славка ни хрена не делал и учил английский — «Самостоятельное получение дополнительных знаний...». Написав такую юмореску, я ее отнес утром в профсоюз работников культуры, а к вечеру мне оттуда позвонили и сказали: «Виктор Михайлович, вы не будете против, если ваш план мы возьмем за образец и отправим в районы?»

Наш дом

○ недавнего времени

об этой истории было почти ничего не известно. Одни говорили, что она произошла в прошлом году, другие — что в позапрошлом, а некоторые уверяли, что она произойдет в будущем.

А случилось вот что: в одной из северных областей в поселке Аркча построили дом из снега. Двенадцатиэтажную башню.

Сначала собирались из кирпича строить, но завезли только башенный кран и плакаты по технике безопасности.

Прораб Трофимов три раза хотел от премии отказаться, чтобы привлечь внимание к беспорядкам, но и премию не давали тоже. Обещали переходящий вымпел за экономию стройматериалов.

Что делать? Собрал прораб своих строителей и говорит: «Давайте из местного материала воздвигать — из снега! Снег у нас хороший — липкий. По количеству снега мы далеко обогнали Францию, Италию и Африку, вместе взятые!»

Народ в бригаде был боевой — глазом не моргнули. И не такое видали — бывало, вообще ничего не строили, а наряды закрывали!

Стали из снега кирпичи лепить, водой обливать и стены выкладывать. Между прочим, за месяц ни одного простоя! Отгрохали домишко — сердце радуется! Если смотреть издалека. Если вблизи — леденеет.

Отрапортовали, что готово! Приехала комиссия принимать. Смотрит: лифт не работает, воды нет, свет не подключили — то есть все как обычно. Посовещались и приняли с оценкой «хорошо». Хотели с оценкой «отлично», но территории, говорят, не благоустроена — везде сугробы. Прораб Трофимов чуть было не сказал, что это стройматериал остался сэкономленный, да вовремя спохватился.

Между тем исполком уже ордера начал выдавать. Приходят счастливые люди, смотрят: отопление бездействует, света нет, пол изо льда, стены из снега.

Прораб думает: «Ну, сейчас скандал будет!» Зажмурился, а когда открыл глаза, видит: из грузовиков уже мебель в подъезд втаскивают.

Бросился он по квартирам, а там — кто электричество проводит, кто паркет стелет, кто сантехнику устанавливает. В два дня обжились и стали стены укреплять. Откуда только материал брали! Кто из кирпича выложил, кто бетонный блок приволок, продавец книжного магазина — корешками книг наружу, директор обувной фабрики — у этого стена крепче всех получилась — из ботинок списанных.

«Мама милая! — думает прораб Трофимов. — Что же это такое?!»

Решил он в газету написать и себя разобла-

чить и даже первое предложение уже вывел: «Здравствуйте, дорогие товарищи!», но тут ему наконец-то впервые премию дали. Получил он ее, подумал кое о чем и продолжил письмо так: «Хочу поделиться своим передовым опытом...» Поделился и отправил в редакцию.

Но в том поселке и почта тоже плохо работала. И письмо попало ко мне. Прочитал я его и ахнул: «А ведь я в этом доме и живу!»

1988 г.

Как я ходил в разведку

В прошлом году я ходил в разведку.

Я тогда начальником отдела работал — молод был, отчаян. Вот меня директор и отправил. Вызвал и сказал: «Пойдешь, Витя, в разведку. За линию фронта. Подбери себе трех надежных товарищей — и действуй». Пожал руку, хлопнул по плечу, отвернулся.

Вот так! С директором спорить не будешь. Вернулся я к себе в отдел, оглядел своих подчиненных — кого взять? У одного отпуск скоро, у второго ребенка не с кем оставить. Марию Павловну до линии фронта на себе придется нести. Это до нашей линии туда, а как дальше — вообще неизвестно!

Остановил я свой выбор на Иванове, Петрове и Сидорове — трех инженерах. Люди молодые, образованные, на кого еще, как не на них, опереться в трудную минуту?

Пошли. Я впереди, Сидоров замыкающим. После него следов не оставалось. Я давно заметил: что бы он на работе ни делал — после него ничего не остается!

До первой полосы заграждений дошли почти без препятствий. А дальше все и началось!

По моей команде «Ложись!» лег я один.

— В чем дело?! — зашептал я.

Вражеский прожектор толстым белым лучом уже обшаривал местность. Нас могли заметить.

— Ложись! — зашипел я.

Иванов и Сидоров нехотя присели на корточки. А Петров самолюбиво сказал:

— Вы на меня не шипите! Я на работе, и будьте любезны обращаться ко мне на «вы»!

— Ложитесь, пожалуйста, Петров, — попросил я. — Они сейчас откроют огонь.

И, словно в подтверждение моих слов, гулко зачастил крупнокалиберный пулемет: свистели, чертили небо трассирующие пули.

— Приготовиться к бою! — отчаянно приказал я. — Петров, заходи с фланга, Иванов — с тыла, Сидоров — за мной! Ура-а! Вперед!..

— А почему я? — напыжился Сидоров, не трогаясь с места. — Чуть что — сразу Сидоров! Вон пускай Петров!

— Молчать! — глухо закричал я. — Выполнять!

— Можно я с тыла завтра зайду? — вежливо попросил Иванов. — У меня сегодня намечается одно дело... Срочное. А завтра я два раза с тыла зайду! Ладно, а?

Огонь противника стал плотнее и прицельнее. Над нами повисла осветительная ракета, и было светло как днем.

— Будем уходить берегом реки, — скомандовал я.

На наше счастье, река оказалась рядом. Мелкими перебежками, прижимаясь к кустарнику, мы вышли из-под огня. Огляделись.

— Иванов, где ваше оружие?! — воскликнул я, заметив, что у него пустые руки.

— Ну вы же знаете, Виктор Михайлович, что мне нельзя тяжести носить, — вежливо и с обидой проговорил он. — У меня и справка от врача есть. Вот она.

Он достал справку и показал ее нам.

— Ладно, — сказал я, — с этим потом разберемся, а сейчас нужно посмотреть, что там впереди. Кто пойдет? — спросил я.

— Вы! — разом ответили все трое. — У вас опыт руководящей работы, вы хорошо знаете суть дела.

— Прекратить посторонние разговоры! — заорал я вне себя. — Извольте выполнять, что вам приказывают! Пойдет Петров!

— Ладно, я пойду, — сказал Петров. — Но учтите, я буду жаловаться! И в газету, и в местком, и в партком!

Петров ушел. Назло мне он шел медленно, что-то насвистывал, потом быстро юркнул за темную ель и больше на глаза не показывался.

Надо было сориентироваться на местности. Я достал компас.

— Где стрелка?! — закричал я.

— Да что же вы так кричите, Виктор Михайлович? — сказал Сидоров. — Я взял эту стрелку еще вчера. Сынишка у меня в школе географию проходит, и я вот... Никуда она не денется. Если он ее не потерял...

— Чтоб немедленно!.. Чтоб сию секунду!.. — кричал я, да что толку? Сориентировался по

звездам. Оказалось, что мы уже в глубоком тылу противника, но уклонились вправо.

Иванов сразу обрадовался: «Значит, нам за дальность должны доплатить!»

— Ребята, — произнес я, — обстановка сложная. Иванов, мы тебя прикроем, передашь вот этот конверт...

— Виктор Михайлович, — сказал Иванов, — в мои обязанности не входит конверты носить. Я не курьер.

— Неси! — побагровел я.

Ох, чуяло мое сердце неладное! Еще раньше я заметил на пригорке какое-то шевеление, а тут смотрю — молча цепью обходят нас. Берут в кольцо! Опоздал с конвертом...

— К бою! — закричал я. — Занять круговую оборону! Без команды не стрелять!

Мы замерли.

— Виктор Михайлович, — зашептал мне в ухо Сидоров, — можно я сегодня пораньше уйду, тетю надо встречать на вокзале? А потом я отработаю. Вы же знаете, стреляю я отлично...

— Ребятки, — взмолился я, — родные мои. Да что же вы?! Ведь противник наступает!..

Секунды тянулись как годы. Напряжение нарастало.

— Все! — радостно заявил Сидоров. — Рабочее время кончилось, а ишачить я не нанимался!

Повернулся и пополз в кусты.

— Иванов, Ваня, а ты-то? — голос у меня дрогнул.

— Виктор Михайлович, — сказал он, — вы знаете, как я вас уважаю, но войдите и вы в мое

положение: я уже договорился, она меня будет ждать... Или я не мужчина?

Уполз и он.

Я достал гранату. Один. Только луна в небе и противник все ближе, ближе...

«Узнают ли, как я погиб?» — последнее, что подумал я, и кинул гранату.

...Очнулся я дома.

— Где я? — прошептал я.

— «Где», «где»? Дома! — ответила жена. — С работы тебя на неотложке привезли.

«Значит, жизнь продолжается», — понял я и закрыл глаза.

1987 г.

Роман



написал роман и, как водится, принес его показать одному маститому...

Маститый, человек преклонного возраста, долго искал очки, не нашел и, виновато улыбаясь, попросил:

— Вы уж, голубчик, пожалуйста, почитайте вслух, а я послушаю.

Молодой автор взял рукопись, откашлялся и, робея, негромко начал:

— Серебристые звездочки снежинок, нежно-задумчиво исполняя грациозный танец, плавно кружка, тихо опускались на землю...

— Простите, голубчик, — остановил его мастерский писатель. — Я, знаете ли, плохо слышу. Будьте добры, еще раз сначала и, если можно, погромче.

— Серебристые звездочки снежинок... — громче начал молодой автор.

— Что-что? — приставил к уху подрагивающую ладонь старый писатель.

— Се-реб-рис-тые звез-дочки снежинок, — еще громче и почти по слогам повторил молодой автор, — опускались на зем-лю.

— Извините, что-то я н-никак, — в смущении развел руками писатель.

Молодой автор набрал в легкие воздуха и прокричал:

— Шел снег!

— Шел снег, — на этот раз услышав, повторил старый писатель. — Что ж, неплохое начало. Ну, читайте, голубчик, дальше.

— Высвободив из тоннеля рукава бронзово-золотистый диск циферблата, напоминающий разрезанный, сочащийся соком апельсин, Константин коснулся напряженным взглядом острия пик стрелок, — прочитал молодой автор.

— Что-что? — снова приставил к уху ладонь писатель.

— Кон-стан-тин по-смот-рел на часы! — прокричал молодой автор, хотел читать дальше по тексту, но махнул рукой, отложил рукопись в сторону и принялся вновь кричать.

Когда молодой человек кончил, маститый писатель растроганно пожал ему руку и сказал:

— Молодец! Хороший рассказ написали. Главное — коротко, емко, динамично. Так, голубчик, и надо!

Хорошо, когда светит солнце

Когда Игорь Борисович

покупал мясо, ему хотелось узнать не только сколько оно стоит, а и как звали корову, где она жила, была ли счастлива...

Я был свидетелем, когда он хотел дать пощечину одному негодяю, поднял руку и сокрушенно проговорил:

— Ведь вам же будет больно!

Опустил руку и долго с возмущением смотрел на свою ладонь.

На негодяя это произвело столь необычное впечатление, словно ему дали две пощечины. Он удивленно заморгал глазами, потрогал свою щеку и сказал, задумавшись:

— Возможно, я был не прав.

Он ушел ссугуливвшись, и с тех пор до меня доходили слухи, будто он перестал платить жене алименты, брал их себе, а все остальное отдавал в бывшую семью. Еще говорили, что он уехал куда-то с археологической экспедицией и пытался найти в раскопках что-то сокровенное и очень давно утраченное.

С Игорем Борисовичем я познакомился в нотариальной конторе в очереди. Я пришел туда

заверить копию диплома. Она мне последнее время очень была нужна, потому что не только другие, но и я не верил уже, что когда-то кончил высшее учебное заведение.

А Игорь Борисович принес туда завещание. Он завещал своим детям и будущим внукам жить честно и хотел, чтобы это официально заверили.

Сидящая рядом с нами женщина взялась было объяснять Игорю Борисовичу, что он завещание составил неправильно, потому что слово «завещание» производное от двух слов «за вещами». А сосед справа стал доказывать, что это не так, что состоит оно из двух слов, только из других: «зав» и «еще».

Я на всякий случай помалкивал и по старой школьной привычке хмурился, изображая умный вид. Я вообще чувствовал себя тогда в жизни не твердо: то, что я умел, никому было не нужно, а то, что от меня было нужно, — это не опаздывать на работу и с работы — домой. И с каждым днем и годом во мне все больше и больше крепла детская тоска по старшему другу, который взял бы меня за руку и повел по дороге жизни вперед, а я заглядывал бы снизу вверх и преданно спрашивал: «А это что?», «А как называется?», «А мне можно?..» Меня тянуло к людям необычным и загадочным; так два года назад я подружился с Игорем Борисовичем.

Игорь Борисович среди всех моих знакомых отличался твердостью убеждений, четкостью позиций и решительностью действий. Он знал все! В столовой, когда я колебался, что брать — ком-

пот или кисель, — он говорил: «Бери оба!» — и всегда оказывался прав.

По субботам и воскресеньям он ездил на какую-нибудь тихую речку со спиннингом и динамитом — пугать браконьеров. Сам он пользовался крючками и блеснами, изготовленными на фабрике спортивделий, выпускающей всю продукцию с пометкой «Хранить в сухом прохладном месте».

Он и меня пригласил однажды, и мы поехали. Не помню, какой был день: пасмурный ли, ясный, отчетливо помню, что на душе у меня было солнечно!

Мы сначала ехали на электричке, а потом шли пешком. Шли мы очень медленно, потому что он обходил каждую травинку, чтобы не помять. А вот комаров он бил и объяснял это естественным отбором.

До реки мы дошли только к вечеру. Речка оказалась такой скромной и милой, словно вытекала не где-то из-под земли, а — из моего детства. Опять, как давным-давно, я крупно увидел росшую по берегу осоку, желтую кувшинку на тихой воде, стрекозу...

Браконьеров мы в тот раз не встретили, зато попали на пикник.

Надо сказать, что Игорь Борисович любое пьянство считал предательством, где человек предает себя и своих близких, и предусматривал за него самую высокую меру наказания — безрадостную одинокую старость.

Мы подошли к пикникующим, поздоровались. Их было шестеро, нас — двое, поэтому они

поздоровались с нами весело. Они еще не догадывались, с кем имеют дело. Игорь Борисович сказал просто:

— Товарищи, прошу всех оставаться на местах. Здесь, — показал он на разбросанные пустые бутылки и банки, — ничего не трогать!

Повернулся и ушел в кусты.

Как только он ушел, главный скомандовал: «Быстро!» — и первым схватил крайнюю бумажку. Я забыл сказать, что Игорь Борисович считал, что природа — это храм, и всегда выезжал в лес в строгом костюме и галстуке.

Игоря Борисовича я нашел на поляне, он стоял у пенька, считал годовые кольца и сокрушен-но говорил: «Ему бы еще жить да жить!»

— Откуда у вас такое знание человеческой психологии?! — изумился я.

Прежде чем ответить, Игорь Борисович протор носовым платком пенек и сел рядом на землю.

— Я люблю людей, — просто ответил он, — и поэтому интересуюсь ими. Человек — это часть природы, а природа — это наше богатство!

В тот день мы в лесу больше никого не повстречали, потому что накануне Игорь Борисович вывесил в округе таблички: «Осторожно! Идут взрывные работы». Он не считал это обманом. «Я же ведь не указал где, — объяснил он мне, — а страна у нас большая!»

Возвращались мы в город затемно. Электричка спешила в Москву, за окном мелькали огоньки, как промелькнули дни и годы моей жизни. И я грустно думал, что были они потрачены мною не на то и что главное в жизни осталось

где-то в стороне, и хотелось скорее повернуть в ту сторону. Я очень надеялся, что теперь, рядом с таким человеком, как Игорь Борисович, мне это удастся.

У дома Игорь Борисович достал из кармана мел и начертил на асфальте классики.

— Дети завтра поиграют, чем без толку слоняться, — пояснил он. — Да и взрослые утром пойдут на работу, вспомнят себя маленькими и придут на работу не такими сердитыми.

Я тоже, глядя на классики, вспомнил, что, когда я был маленьким, мечтал поскорее стать взрослым, чтобы совершить что-нибудь большое, значительное, важное!

— Ну, давай прощаться, — сказал он и протянул мне перепачканную мелом руку. Я стыдливо протянул ему свою, чистую.

— Ну, — сказал он, — желаю тебе всего доброго!

И ушел в подъезд. А я остался стоять на месте.

Вскоре на втором этаже зажглось окно, и оттуда донеслись два голоса. Один очень похожий на голос Игоря Борисовича и в то же время чем-то очень другой и — голос женщины. Слов разобрать было нельзя, потому что они наскакивали друг на друга, дробились и сыпались осколками: «Я тут!..», «Ты мне!..», «Эх!..», «Завтра же!..»

Любопытство мое и изумление были столь велики, что я забрался по водосточной трубе и заглянул в освещенное окно.

То, что я увидел, заставило меня всплеснуть руками, я не удержался и упал вниз. Я и до сих пор не уверен: увидел ли я это или мне померещилось, будто Игорь Борисович сидел за столом,

низко склонив голову (особенно почему-то запомнилось, что у него лысина), рядом с ним возбужденно размахивала руками женщина, а в детской кроватке, проснувшись, тер глазки и готовился заплакать ребенок.

Я очень смущился, что стал свидетелем этой сцены, и поскорее заторопился подальше от дома и от окна, где горел свет.

На следующий день, когда я хотел навестить Игоря Борисовича, я этого дома почему-то не обнаружил. Я точно помнил, что на углу — продовольственный магазин, потом киоск «Союзпечать», автобусная остановка; они были, а дома на месте не оказалось, был какой-то чахлый скверик с молодыми тополями, детской песочницей и двумя лавочками, на которых сидели внимательные старушки.

«Наверное, я что-то напутал», — подумал я и сел рядом со старушками на лавочку.

*И*сторическая память

Из жизни

В 78-м обзванивали районы.

— Усадьба Молоди подо что используется?

— Под школу.

— Церковь?

— Под клуб.

— Склеп подо что используется?

— Там живет старушка...

* * *

— Алло, Волоколамск, памятник гражданской архитектуры бывшая тюрьма подо что используется?

Оттуда ответ:

— Памятник архитектуры используется по назначению.

Санитарный день

И рошлым летом художника

Ипатова занесло случайно в деревню Ольховку. Поехал на этюды, думал, на недельку, но прожил там почти месяц, сроднился с природой, сдружился с многодетной семьей Егора Карпухина и, покидая гостеприимный дом, искренне предложил:

— Будете в Москве — заходите.

Егор бывал в Москве нечасто. Даже, можно сказать, редко — всего два раза. А тут, проводив гостя, засобирался. И предлог подвернулся: детям кое-что для школы купить.

— Ты там дураком-то не выкажи себя, — напутствовала жена. — Они ведь там — интеллигенция!

— Ладно, разберемся, — коротко, по-хозяйски ответил Егор. И — поехал.

Ипатов встретил его приветливо.

— Ну ты располагайся, — радушно предложил он, — а мне нужно по делам. А потом я тебя развлечу как-нибудь...

Оставшись один, Егор с любопытством обошел квартиру и решил вздренуть. Пока он раз-

мышлял, где ему лучше приклонить усталую голову, в коридоре заблямкал звонок. «Вернулся. Забыл чтой-то», — подумал Егор, открыл дверь и увидел молодую модную женщину.

— Это квартира художника Ипатова?

— Его самого, — подтвердил Егор.

— Я немного опоздала, — сказала женщина, уверенно проходя в квартиру. — Извините.

— Да ничего, — пробормотал Егор, не зная, как ему поступить и что сказать.

— Мне куда? — деловито спросила гостья.

— Вот, пожалуйста, — неловко взмахнул рукой Егор.

Женщина поняла его жест по-своему, быстро прошла в комнату, на которую указывала протянутая пятерня Егора, и плотно прикрыла за собой дверь.

«Понятно», — определил Егор, ничего не поняв.

Ложиться спать теперь было неудобно, он прошлепал на кухню, посмотрел в окно на шумную улицу, потом вышел в коридор, чтобы пройти в ванную, и тут услышал:

— Я готова!

«Зовет зачем-то», — понял Егор, осторожно приоткрыл дверь в комнату, где была гостья, и — обомлел. Женщина абсолютно голая стояла посередине комнаты и вопросительно смотрела на него.

— Я готова, — повторила она. — Вы скоро?

— Я... счас! — пролепетал Егор и поспешно закрыл дверь. «Елки-палки, что ж это такое?! Выходит, она это... того самого!..»

— Так мне долго ждать-то? — донеслось из-за двери.

«Вот ведь как у них, у городских-то: долго, говорит, ей еще ждать! А мне что делать?! Это ж она, получается, не к нему, а ко мне пришла! Ну да, ведь он же говорил: развлечку, и вот десяти минут не прошло...» Егор вдруг вспомнил, сколько времени — год целый! — он ухаживал за своей Нюркой, и даже обидно ему стало.

«Эта-то посимпатичней будет, — невольно сравнил он, — хотя и моя Нюрка тоже не топором рублена». Он представил, что его жена вот так запросто, без долгих разговоров, приходит к кому-то в дом, и прошептал: «Вернусь — убью, гадину!»

Неведомая сила подталкивала открыть дверь и глянуть еще разок, но образ жены, вызванный воображением, стоял перед глазами. «Корову сейчас, поди, доит, — подумал Егор. — Корова-то у нас сейчас хорошая. Такую бы корову годов десять назад! А эта-то фефела, она разве что понимает! Булки, небось думает, на грядках растут!»

Егор вспомнил виденное только что холеное сдобное тело натурщицы, и злость на нее — сытую и гладкую — охватила мужика: «Тебя бы, дуру, на место моей Нюрки, ты б враз потускнела! Ты бы пошастала по квартирам!..»

— Так вы будете работать? — снова донесся голос натурщицы.

«Работать! Ра-бо-ту себе нашла!» — Егор резко распахнул дверь и, хмуро глядя в сторону, сказал:

— Ты вот что, милочка, ты давай обувайся,

надевай свои шмутки и... дуй, девка, отсюда по-
добру-поздорову!

Выпроводив гостью, Егор оделся, взял пустой,
приготовленный для покупок чемодан —
и поминай как звали!

— Чего ж порожний-то приехал? — встретила
его жена.

— «Чего-чего», — проворчал Егор, не поднимая на жену глаз, — закрыто там все — вот чего.
Санитарный день!

1978 г.

Верные друзья

Из жизни

В 83-м каждый вечер концерт. Я пью на кухне кофе, потом захожу в комнату, беру со стола рукописи и ухожу, а Чипа и Мурзик остаются одни. В первый день так, во второй... в четвертый. А в пятый захожу из кухни — рукописи на полу валяются порванные. Кот под тахтой, а собачка под шифоньером, молча сверкает оттуда глазами. Я, торопясь, склеил свои листочки, а когда вернулся с концерта, положил их высоко на книжные полки.

На следующий день выпил кофе, захожу в комнату, беру рукописи — они мокрые! Сначала не понял: как это так?! Догадка пришла быстро — Мурзик их описал. Конечно, я этим нахалам устроил взбучку, но они своего добились: в тот день я на концерт не пошел и мы все вместе были дома!

Мой друг

Он ^{о утрам он любил разговаривать}

с первой программой Всесоюзного радио.

— Доброе утро, товарищи! — говорило радио.

— Доброе утро! — отвечал он.

— Приготовьтесь к утренней физзарядке, — говорило радио.

— С удовольствием! — отвечал он.

На работу он всегда опаздывал, так как у входа в метро пропускал всех вперед. Но начальник его не ругал, потому что еще с порога он спрашивал, что нужно сделать.

Он очень любил свое рабочее место и, прежде чем приступить к работе, доставал из портфеля фланелевую тряпочку и тщательно перетирал все скрепки, карандаши и поверхность стола.

Стол его стоял у окна, за которым мелькали туда-сюда прохожие, и если из них кто-нибудь что-нибудьронял, он выскакивал на улицу, чтобы поднять.

А прежде чем выскочить на улицу, он тщательно одевался, чтобы не простудиться и никого не заразить. На «вы» он называл даже собак и кошек.

О его отношениях с женщинами ходили невероятные слухи. Так, например, говорили, будто бы он... Нет, вы не поверите!

А еще говорили, что он часто проводит вечера у памятника Пушкину, где встречаются влюбленные, и если какая-нибудь девушка остается одна, он дарит ей цветы и поспешно уходит, чтобы она не подумала ничего плохого.

Я с ним познакомился случайно — шел по улице Горького и чихнул, и вдруг услышал, как с противоположной стороны кто-то крикнул: «Будьте здоровы!» Я глянул туда и увидел его.

Он был в самодельной вязаной шапочке, темном ватном пальто и в ботинках разного цвета. Он всегда покупал в магазинах самые плохие вещи, чтобы другим остались получше.

Он стоял на тротуаре под огромной сосулькой, чтобы она никого не убила.

Я ему сказал, что у Белорусского вокзала на доме, где «Молоко», сосулька еще больше, и мы пошли туда.

По дороге он рассказал мне анекдот: «Приходит муж домой, а жена — обед готовит!» А я ему, в свою очередь, рассказал, какая вчера была погода.

Он слушал с большим вниманием, удивленно качал головой и приговаривал: «Ну надо же!»

Мы сразу понравились друг другу и подружились. А когда он узнал, что я родился двадцать седьмого числа, то пришел в неописуемый воссторг. Потому что, как он объяснил, из двух и семи складывается число девять, а все числа до тысячи он считал счастливыми.

Но окончательно он удивил меня, когда выяснилось, что некоторых слов он вообще не знает. Оказывается, еще в детстве он взял словарь Даля, вычеркнул из него все плохие слова и забыл их напрочь.

Гулять с ним по улицам было одно удовольствие: мы постоянно таскали тяжелые сумки за незнакомыми женщинами, переводили через дорогу старушек, а по субботам с утра стояли на площади Свердлова и объясняли приезжим, как пройти в ГУМ и «Детский мир».

Хорошее то было время! Никогда в жизни мне не говорили так часто «спасибо», никогда в жизни у меня не было так спокойно и легко на душе.

Но однажды (да, это было!) мы поспорили. Вернее, спорил я, а он только улыбался и поддерживал меня под руку, чтобы я не поскользнулся и не упал.

О чем я спорил, я уже не помню. Я к тому времени стал очень хорошо относиться к себе и все, что я ни говорил, казалось мне верным и единственно правильным. И поэтому распалился я не на шутку, выдернул свою руку и пошел в обратную сторону.

На перекрестке я все же обернулся — он шел, поскользываясь и взмахивая руками. Он ведь всегда покупал самые плохие вещи, и в гололед ботинки у него скользили, как лыжи.

Я хотел было вернуться и помочь ему, но самолюбие остановило меня. «А, ничего с ним не случится!» — подумал я и пошел дальше.

С тех пор я его больше не видел. Я долго разыскивал его: звонил в институт Склифосовского, в

милицию. В институте Склифосовского мне сказали, что таких нет, но, возможно, еще будут. А в милиции сообщили, что им все известно, за исключением того, что интересует меня.

Теперь я живу так же, как жил до того дня, когда чихнул на улице Горького, и вроде бы все нормально, только иногда, особенно зимними вечерами, меня тянет, как бывало, встать под со сулькой или помочь кому-то донести тяжелый чемодан.

Но без него — моего друга — я почему-то стесняюсь...

1982 г.

Без стен

Сл юди говорили разное

одни — что это гипноз, другие намекали на приближение кометы Галлея, а некоторые вообще несли какую-то дремучую околесицу о духах, домовых...

А было так: в один приятный летний день я переехал на новую квартиру. Окна моей старой квартиры выходили в тихий зеленый скверик, поэтому рассказы я писал в основном о природе. Задумал было повесть о воробьях и название уже написал — «Воробьи», да вот пришлось переехать... Окна новой квартиры смотрели в упор на строгое здание учрежденческой архитектуры, построенное не только без архитектурных излишеств, но и без стен. Из одних окон.

Любопытно было глядеть в те окна. Очень скоро я узнал всех обитателей учреждения, мысленно подружился с ними и даже невольно поднимал руку, когда они устраивали собрания. Но постепенно странное чувство начало овладевать мной, особенно первого и шестнадцатого числа, когда сотрудники выстраивались у окошка кассы. Я видел их лица со стороны кассира: они гля-

дели напряженно и прицельно, словно из амбразуры. Сперва-то, без привычки, я тоже невольно вытягивал шею, пытаясь углядеть через дорогу в ведомости у кассира свою фамилию, но, конечно, напрасно.

Более того, я и рассказы перестал писать. Аванс, который я взял под повесть о воробьях, таял, как масло на сковороде. Надо было срочно что-то делать! И я решился писать на производственную тему.

В понедельник в девять ноль-ноль я сел за стол и пристально уставился в окно напротив. То, что я видел, для повести никак не годилось, а если все же писать — мог получиться только фельетон или приказ об укреплении дисциплины.

Я терпеливо подождал час, два, два с половиной, а потом!.. Узнать телефон того отдела не составило труда. Я набрал номер и, когда молодой человек, сидящий на столе, взял трубку, сказал ему:

— Слезь со стола.

— Что? — не понял он.

— Слезай! — крикнул я. — Работать уже пора!

Он сполз со стола, плюхнулся на стул и замер. И остальные, наблюдавшие за ним, тоже застыли на своих местах.

Я быстро положил трубку и написал первое предложение: «Все сидели на местах». Предложение мне очень понравилось, в нем была деловая сухость, сразу определялось место действия. Я хотел уже и второе предложение написать, но по-

смотрел в окно и — отложил ручку. Сотрудники сбились в кучу и что-то горячо обсуждали.

«Ну уж, дружба — дружбой, а служба — службой!» — подумал я.

Номер начальника отдела я набирал резко и нетерпеливо, так что два раза у меня палец срывался и набиралось «01». Наконец я набрал правильно.

— Симаков слушает, — сказал он.

— Слушайте, Симаков, — сказал я как можно доброжелательнее, — ваши охламоны вот уже полдня ничего не делают!

— А кто это говорит? И почему вы так говорите? — Он потянулся за сигаретами.

— Да оставь ты сигареты в покое, — сказал я ему уже в сердцах. — С тобой как с человеком разговаривают!

Он отдернул руку от пачки, втянул голову и забегал глазами по сторонам.

— И потом, посмотри на себя, ты же не на дачу приехал землю копать! Ну что ты отворачиваешься, я же вижу, что ты и не побрился сегодня! А вчера вообще пришел в кроссовках...

Он выронил трубку и, озираясь, на цыпочках вышел из кабинета.

В комнате отдела подчиненные тут же окружили его и стали что-то наперебой рассказывать, кивая на телефон. А потом вдруг как ветром всех сдуло за столы. Кто схватилсяlixорадочно за ручку, кто за бумагу, а женщина двумя руками за голову. Я тоже испугался: что такое?! Оказалось, телефон у них зазвонил.

Я поспешил склониться над столом и с облег-

чением написал: «В отделе царила рабочая атмосфера». Пошла повесть, пошла! Уже проснулись и расправляли плечи сладкие мечты об экранизации. Эх, да что говорить!..

Но когда я посмотрел туда опять — сотрудников там не было. Я увидел только мелькнувший женский каблук и угол хозяйственной сумки.

Я набрал номер директора. Кабинет его был этажом выше и расположен так, что директор сидел ко мне затылком. Затылок его то краснел, то бледнел, четко семафоря в окно о директорском настроении. Об этом знал не только я, многие, прежде чем идти к нему, пытались разглядеть с противоположного тротуара, какой нынче затылок у Петра Федоровича.

То, что директора звали Петром Федоровичем, я узнал с первого дня. Я, как только открыл форточку, сразу услышал: «Петр Федорович... Петр Федорович... Петр Федорович сказал...» — неслось из разных окон.

Судя по затылку, у Петра Федоровича было трудное детство и нелегкий характер. Когда он распекал кого-нибудь, даже стекла в его кабинете потели. Когда кого-нибудь хвалил — этого я не помню.

— Петр Федорович, — сказал я ему вежливо. Секретарша сначала не хотела меня соединять, но я ей комплимент сделал, что помада ей очень идет: она в это время губы красила. — Петр Федорович, — повторил я как можно ласковее, — вы, конечно, человек занятой. Вон, я вижу, сколько бумаг у вас на столе навалено! Да вы затылок-то не чешите. И не оглядывайтесь, все равно

вы меня не увидите! Вы за подчиненными лучше смотрите, ведь в отделе у Симакова сейчас шаром покати!

От моих слов затылок у директора так распалился, что автомобили на улице стали притормаживать, ждать, когда «зеленый» дадут.

Все-таки Петр Федорович был мужик крепкий! Не чета Симакову.

— А мою жену вы сейчас видите? — быстро спросил он.

— Нет, — сказал я.

— А фонды нам срежут?

— Не знаю, — ответил я. — Вы лучше порядок у себя скорее наводите!

— Значит, срежут, — подытожил Петр Федорович. — И простите за нескромный вопрос: сын у меня, Борыка, в политехнический хочет...

— Да что вы, в конце концов! — не выдержал я.

— Значит, не поступит, — вздохнул Петр Федорович.

Он поднялся из-за стола — большой, грузный, а в сущности, пожилой, усталый человек — и вышел в дверь. «Вот и в семье у него не все ладно, — подумал я. — Но что же делать мне? Неужели придется все самому?!»

Узнал телефоны всех отделов, начертил план расположения столов и — начал! Как только кто опоздал — звонок: «Почему?.. Это не повод!» Только замечу, что кто-то посторонним чем занят, — звонок: «Чем вы там занимаетесь?! Чтоб я больше этого не видел!» Уборщицу запугал — по телефону ей подсказывал, где она какой сор не под-

мела. Она полы не только мыть стала, но и на всякий случай одеколоном их обрызгивать. Это, конечно, лишнее, но я не мешал.

Вот с Симаковым было сложнее: он так пугался моих звонков, что мог произнести только одно слово: «Когда?» Так что мне приходилось подстраиваться, и я говорил, например: «Энергичнее стройте работу в отделе!» «Когда?» — спрашивал он. «Немедленно!» — отвечал я.

Конечно, не сразу они смирились с таким положением: жаловались в местком, писали в газету... Председатель месткома отреагировал быстро — убрал заявление в какую-то папку, а потом никак не мог его найти. А на страницах газеты им ответил доцент Шубяк, который убедительно доказал, что Бермудского треугольника, летающих тарелок и кваса в бутылках нет и не будет.

В общем, работу я им наладил. Но со всем этим я совершенно забросил свою. Родственники и знакомые с нетерпением ждали продолжения, спрашивали: «Чем кончится? Кто был прототипом или ты все придумал?»

Жена хотела украдкой сама вписать туда два предложения, чтобы побыстрее и побольше получить денег, но я ей напомнил про Льва Николаевича и Софью Андреевну. Она всю ночь плакала, а утром понесла что-то в ломбард. Что именно, я узнал, когда хотел надеть ботинки.

Ну да это не важно! Для меня главное: ручка, бумага и — окно в жизнь!

Бомба

Из жизни

Археолог М. копал у стен монастыря и выкопал бомбу. Он приволок ее в трапезную, где у реставраторов была база, и вызвал саперов. Те приехали, обследовали и говорят: «Бомба нетранспортабельна, будем взрывать на месте».

Все за головы схватились — известный памятник архитектуры взорвать в мирное время!

Стали звонить в Москву, оттуда говорят: «Мы не можем подвергать опасности человеческие жизни. Начинайте эвакуацию!»

Археолог был ошеломлен своим поступком. А когда стемнело, взвалил бомбу на спину и уволок в лес.

На своей свадьбе он

весь вечер танцевал с чужой женой, но поделать с собой ничего не мог. Ему нравилось держать эту сладкую талию и ощущать в руке тающую ладонь.

Гости кричали: «Горько!» И на душе у него в самом деле было горько.

В новобрачную постель он нырнул, как в прорубь. Перед этим долго курил и в дыму чуть не промахнулся и не ударился головой о комод. Его подарили тесть с тещей, а их теперь надо было уважать.

Утро встретило новобрачных проливным дождем, а так хотелось куда-нибудь убежать! Да и нельзя было бежать, надо было убирать после гостей жилплощадь. Он взял веник и совок, она пошла мыть посуду...

На работе его поздравили и торжественно вручили подарок, на который с таким скрипом накануне были собраны деньги. Он улыбался, жал протянутые руки и думал: «Надо, надо сматываться отсюда, пока не поздно. Оклад маленький, перспектив никаких...»

Она же, его супруга, любила его по-настоящему. И что бы он ни сделал, всему находила разумное оправдание. И искренне восхищалась его некрасивым носом и глазами, которые смотрели не вперед и не углубленно в себя, что свойственно людям задумчивым, а как-то ровно посередине.

Она гордилась им! И когда они шли по улице, с гордостью поглядывала на встречных женщин. Некоторые не понимали ее взгляда и здоровались, принимая за старую знакомую, некоторые снисходительно улыбались, а самые умные — завидовали. А самые-самые умные сначала завидовали, а потом грустнели...

Он тоже поглядывал на встречных женщин, но другими глазами. Иногда ему было трудно сдержаться, чтобы не облизнуться, но он сдерживался, правда, из последних сил.

Женились они в сентябре, а к концу осени у них уже было два сына. Близнецы с крупными головами в голубеньких шапочках дружно сосали пустышки, и, когда она везла их в широкой коляске, такая сияющая и уже не гордая, а какая-то черт знает какая величественная, хотелаось невольно уступить на тротуаре место и снять шапку.

Близняшки, как это и положено, походили сразу на четверых бабушек и дедушек: и носиками, и ротиками, и ушками, и глазками, и всем остальным.

Он полюбил профсоюзные собрания. И вообще общественная жизнь у них в учреждении как-то заметно оживилась. И главное — все, буквально все взвалили на него, даже выпуск стен-

газеты. Приходил он с работы усталый, часто под утро. Но не жаловался, а держался, как и подобает мужчине, стойко. Она его за это еще больше любила. И лишь один раз взволновалась, когда обнаружила у него в кармане шпильку — не укололся ли он?!

Он сказал, что нет, и она успокоилась. И сразу побежала к малышам, которые к тому времени уже подросли и ходили, топая по полу толстыми ножками и покачиваясь, и не падали лишь потому, что их удерживали удивленные, устремленные вперед глазенки.

Его стали посыпать в командировки, и часто длительные, потому что, кроме него, никто не мог разрешить тех сложных производственных проблем.

Она всякий раз аккуратно укладывала ему чемодан, давала в дорогу пирожки и вареную курицу и нервничала, чтобы он не опоздал на поезд. Она еще больше гордилась мужем и с трепетом раскрывала утреннюю газету — не присвоили ли ему звание Героя.

С этим пока медлили. Но она и не торопилась, ей вполне хватало, что у нее — вот такой муж!

Мальчишки пошли в первый класс, когда их папу впервые отправили за границу. Туда, как он объяснил, нужно было ехать с деньгами. Продали кое-какие вещи, оставив самое необходимое: стол, стулья, пол...

За границей он пробыл долго, и, вероятно, там шла война. Весь в синяках и лохмотьях приполз он на порог шестиэтажного дома и — дальше на четвертый этаж... И сообщил, что все то,

что он вез жене и своим взрослым детям, отобрали на таможне, потому что такие дорогие и красивые вещи через границу провозить нельзя. Ах, как он убивался!

С тех пор прошло еще немного лет. Так немного, что, оглядываясь назад, кажется, что это было вчера. Сыновья окончили институты и разъехались. А поскольку они были близнецами, то кто именно и куда поехал, сказать трудно. А он и она по-прежнему живут в той же старой квартире.

По субботам и воскресеньям их часто можно видеть в парке культуры и отдыха. Они сидят на лавочке у центрального фонтана. Его пиджак густо увешан значками, что продаются в соседнем киоске, он осанисто выпирает грудь, но как только супруга убирает сзади свою ладонь, сразу стукается носом в коленки. Но это бывает редко — рука у нее крепкая, а лицо полно покоя и достоинства.

Возле них вечно толпятся фотографы и художники-портретисты. Фотографы снимают на их фоне желающих, а художники — рисуют, давая своим полотнам самые звучные и поэтические названия.

Но самое хорошее название «Он и она». А короче — «Они».

Успех

Из жизни

Выступал как-то в одном солидном учреждении на празднике, читал рассказ, где главный герой Николай Иванович пошел к любовнице. В зале хохот истерический. «Вот, — думаю, — простенький рассказец, а какая реакция!» Вышел за кулисы, а там организатор концерта бледный. Говорит: «Что вы наделали?!» Я говорю: «Как вы просили — никакой политики». Он говорят: «При чем здесь политика, у нас начальника зовут Николай Иванович!»

Полный вперед!

Я тут на корабле служил

Капитан кричит: «Так держать!»

Боцман кричит: «Так держать!»

Я говорю: «Что держать-то?..»

Капитан кричит: «Стоп машина!»

Боцман кричит: «Стоп машина!»

Я говорю: «Так она уж полгода как сломана!
Полгода стоит, ни одна собака не интересуется, а
теперь: стоп!»

Капитан кричит: «Прекратить разговоры! От-
дать якоря!»

Я говорю: «Сами отдавайте! Я прошлый раз с
цепью намучился: отдавал — никто не берет! Иди,
говорят, со своей цепью! Я как шакал с ней! Ра-
цию — отдали, компас — отдали, лоцию, подлю-
ку, сами отдали, а мне — якоря!..»

Боцман кричит: «Отставить разговоры!»

Я говорю: «Иллюминаторы кто по трояку тол-
кал за десяток?! А потом дыры фанерой закрыли,
а на фанере написали: «Стекло!»

Капитан кричит: «Смирно-о!»

Я говорю: «Кто штурвал за бутылку отдал?!
А теперь: так держать! За что мне держать-то?!

За уши?! А потом без штурвала ночью на одном месте кружили! Швартоваться стали в Находке, а оказались у Сейшельских островов! Я на пальму лазил, смотрел, где выход из бухты!»

Капитан кричит: «Какой ужас! Где дисциплина?!»

Я говорю: «Кто в Сингапуре ушел с локатором, а вернулся с сифилисом?! А потом по нему погоду определяли: как болит — к дождю! А мне — якоря!.. Кто своего зятя механиком устроил, хотя он кончал стоматологический!.. Он, падла, на турбину зубные пломбы ставил, пока она не взывала!.. А сноху — буфетчицей!.. После чего в буфете только одна сноха и осталась! А чай родной брат-водолаз ушел в Николаеве под воду осматривать днище, а вышел в Амстердаме с гребным винтом?!»

Капитан кричит: «Впервые слышу! Я вообще плохо слышу!..»

Я говорю: «Кто гудок отдал?! А теперь в открытом море!.. в тумане!.. чтоб не столкнуться, я матом ору! Круизные теплоходы курс меняют! Американский линкор чуть огонь не открыл — думали, русский десант!»

Боцман кричит: «Я — за мир!..»

Я говорю: «Кто в Сайгоне поймал на берегу шпиона и насилино рассказывал ему тайны?! Кто требовал с него валюту и кричал: «Задушу тварь продажную!..»? Кто в Гамбурге просил гуманитарную помощь пострадавшим от СПИДа?! А для этого обещал заразить полстраны?! Кто кормовой флаг загнал японцам, а на флагштоке

повесил сушиться трусы, после чего папуасы кричали нам с берега: «Братья! А мне — якоря?!

Капитан кричит: «Отдать пианино из кают-компании!..»

Боцман кричит: «Вы ж его Клавке обещали!..»

Капитан кричит: «Отдать вместе с Клавкой! Все отдать! А отдать концы мы всегда успеем! Полный вперед!» Тут и я закричал: «Ура-а-а!..»

1992 г.

*Н*икто не забыт

Из жизни

К 30-летию Победы везде ставили обелиски, зажигали Вечный огонь...

В Кашине у Вечного огня сначала собирались ветераны, потом просто мужики поговорить, потом стали варить картошку...

Потом огонь погасили.

И ногда мне кажется,

что зубы у меня не для того, чтобы есть, а чтобы сжимать от злости.

У меня даже улыбка как оскал... Мне кажется, что, повстречайся я в лесу с волком, — он испугается, убежит.

Зубы!.. Я представляю, как мой предок сжимал их во время княжеских междоусобиц, засухи, татаро-монгольского ига, в солдатчине, в нашествия, бунты, пожары, революции...

Зубы! Я пою вам песню. Вы главный орган простого русского мужика... Зубы! Без вас Петр Первый не воздвиг бы на болотах царь-столицу!

Зубы! Как вы мерзли, как сводило вас под Москвой в сорок первом году!.. Зубы! Сколько вас осталось выбитых в подвалах НКВД...

Зубы! Я снимаю перед вами шапку и обнажаю лысую голову!..

Голова! Мне кажется, что она у меня не для того, чтобы думать, а только чтобы фотографироваться на документы. Я памятью вижу, как барин едет вдоль поля, а мои предки кланяются ему в пояс, обнажив потные головы и... оттопырив зады, словно приготовив их для пинка.

Когда я иду в старом провинциальном городе по булыжной мостовой, мне кажется, что я иду по головам моих предков, и у меня подкашиваются ноги...

Ноги! Здравствуйте, мои дорогие! Вы — мои, но ходите по земле не там, где я хочу, а где захотел исполком. И Госплан.

Ноги! Это не я вас выгнал из неперспективной деревни, я только переставлял вас. Это не по моей воле я наматывал на вас портянки и маршировал по плацу — этого требовал закон о всеобщей воинской обязанности. Это не я заставляю вас ходить каждый день по 4-му Кабельному переулку — это там я прописан...

Эх, ноги, ноги! Ступни, пальцы, пятки — никогда не бродить вам у подножия горы Везувий, не дрожать от страха на смотровой площадке Эйфелевой башни...

Детские сандалии, кеды, солдатские сапоги, зимняя (желательно импортная) обувь, белые тапочки — вот и весь ваш жизненный путь!

«Ноги! Я люблю вас!» — хочется крикнуть мне, и... язык немеет во рту.

Потому что, мне кажется, язык у меня не для того, чтобы общаться с людьми, а только чтобы вытягивать его врачу и говорить: «А-а-а...», когда простужено горло.

Шея! Вот и добрался я до тебя. Худая ты, конечно, но своя — родная, и будто специально сделанная, чтобы на ней было удобно сидеть.

Я смотрю на свою шею в зеркало и думаю: «Нет, господин Дарвин, вы не правы! Может

быть, англичане и произошли от обезьян, а мой далекий предок, видимо, — от лошади.

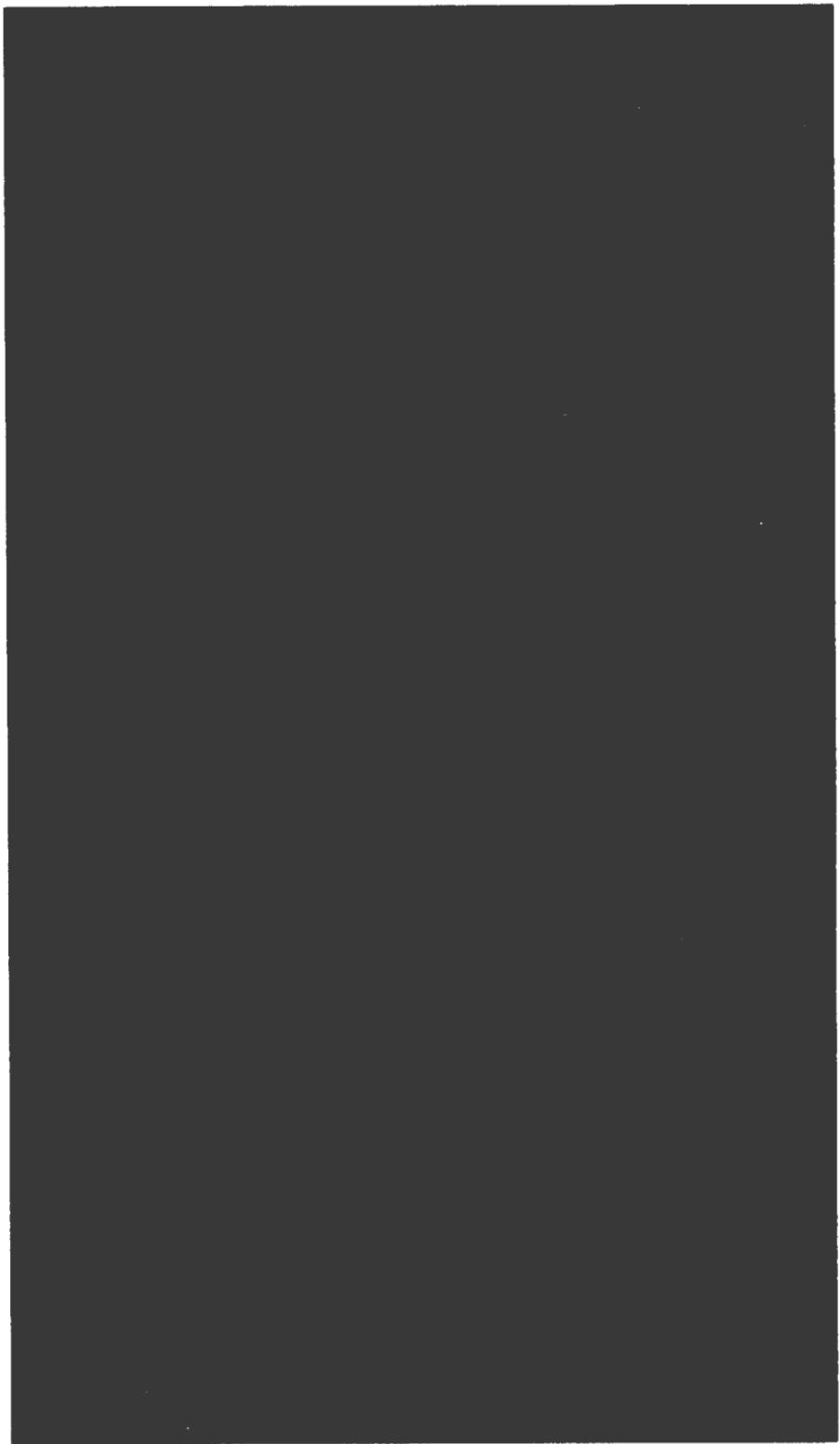
Недаром мне так и кажется, что вот сейчас стеганут меня кнутом по спине и скажут ласково: «Но-о, милай! Пошел!..» И я пойду, пойду... крепко сжав зубы.

1988 г.

Зонтик

Маленькая повесть





Глава 1

Петр Иванович работал

на фабрике испытателем зонтиков. И была у него большая мечта — создать когда-нибудь такой большой зонт, чтобы он мог укрывать от дождя сразу весь город!

А город, где жил Петр Иванович, назывался Крутой в честь правого берега реки. Основан он был еще первобытными людьми. До сих пор сохранились в городе наскальные рисунки: охотник, преследующий дикого кабана, женщина, исполняющая ритуальный танец, и юноша с зонтиком. Некоторые горячие головы пытались доказать, что это инопланетянин с парашютом, но Петр Иванович твердо знал, что в руках у юноши — зонтик.

К своей работе Петр Иванович относился самозабвенно, брал зонтики для испытания домой и подолгу стоял в ванной под душем. Если слышал, что у кого-то сломался зонтик, весь день потом ходил сам не свой, а по ночам долго сидел над чертежами, думал...

О своей мечте он никому не говорил. Знали о ней только жена и сын Зонтик. Жена предлагала

имя Валерий, но Петру Ивановичу больше нравилось — Зонтик Петрович...

Сын Зонтик рос смышленым мальчиком, в пять лет он уже отличал мужской зонтик от женского, а в семь уже помогал отцу, открывая кран холодной воды, когда папа с зонтиком и в галошах залезал в ванну.

Жили Петуховы дружно, просто и весело. На дни рождения собирались только самые близкие родственники: он, жена и сын. На Новый год в углу комнаты устанавливался зеленый зонтик. Петр Иванович наряжал его ночью. Сын и жена спали, а он развешивал на зонтике гирлянды, шары, посыпал конфетти... Сколько счастливых часов провел так Петр Иванович!

Стоит ли говорить, что самым любимым временем года для него была осень, когда с утра до вечера заряжали дожди и можно было ходить с зонтиком, не вызывая недоуменных взглядов и улыбок, что случалось в другие дни года, особенно зимой.

В эти долгожданные дождливые дни Петухов ходил на работу пешком, выбирая самый дальний маршрут, и душа его полнилась блаженством и покоем.

Начальство ценило Петра Ивановича как специалиста, и у входа на фабрику на стенде «Наши достижения» каждый мог видеть фотографию, на которой был запечатлен момент испытания зонтика на потеряемость. Многие горожане оставляли по забывчивости свои зонтики в такси, электричках, магазинах, и Петр Иванович в последнее время проводил серию испытаний: ос-

тавлял где-нибудь зонтик и — уходил. Результат был пока отрицательный — зонтики не находились, но Петухов упорно продолжал испытания, твердо уверенный в успехе.

Что Петухов категорически не воспринимал и с чем по мере сил боролся — это капюшоны. Самое страшное и оскорбительное слово в его лексиконе было «капюшон». Петр Иванович писал в газеты и журналы статьи об антигигиеничности и неэстетичности этой части одежды, выступал с лекциями о том, что капюшоны разъединяют людей и делают общество нестабильным.

И надо же было такому случиться, что именно сюда, в город Крутой, из города Пологого, что располагался ниже по реке и был назван в честь левого берега реки — пологого, приехал специалист по капюшонам...

В тот день, как назло, была солнечная ясная погода, с реки тянуло влажным ветерком и тревожным предчувствием. Петухов возвращался с работы, с надеждой поглядывая на небо. Приближалась осень, на улице стоял август, утром Петр Иванович нарочно оторвал с отрывного календаря листков на две недели больше и теперь глядел на небо, поджидая, что его заволочет тучами и пойдет дождь. Зонт он держал, как всегда, раскрытым и не сразу из-за его края увидел человека в капюшоне. Капюшон закрывал голову идущего, оставляя взору только высокую подтянутую фигуру в хорошо сшитой майке.

Человек шел быстро, разница во времени между городами Крутым и Пологим была два часа, и он торопился наверстать время, так как по

складу характера не привык терять зря ни минуты. Петр Иванович попытался догнать его и заглянуть в лицо, но успел только прийти домой к ужину на десять минут раньше. По дороге у магазина «Электроприборы» он чуть от неожиданности не выронил зонт из руки: двое мужчин тяжело выносили из дверей большую коробку, на которой сбоку вместо привычного маленького зонтика был нарисован капюшон. Петр Иванович заскочил в магазин и, пораженный, остановился: рабочий в синем халате замазывал на коробках зонтики и рисовал капюшоны!

Домой Петр Иванович вернулся сам не свой. Обычно он входил в квартиру, закрыв зонтик, а тут как вошел с раскрытым, так и сел за стол.

— Что с тобой, Петя? — удивилась жена.— Что-нибудь на испытаниях?!

Она втайне сочувствовала последним неудачам мужа и потихоньку, где могла, подкидывала зонтики, но они тоже не находились.

Зоя Павловна Петухова была женщиной современной: правой рукой легко выжимала хозяйственную сумку в 36 килограммов, если чувствовала, что кому-то нравится, становилась красивой, если ее на улице спрашивали, как пройти куда-то, объясняла так точно и коротко, что хотелось идти в обратную сторону. Работала она терапевтом в детской поликлинике и, как многие, приносила домой что-нибудь с работы: ОРЗ, скарлатину, коклюш...

С Петуховым они познакомились, когда оба были молодыми и веселыми, как первые числа

месяца мая. Эх, молодость!.. Где ты? Сейчас за столом сидел пожилой усталый человек. Нелегкая жизнь испытателя зонтиков наложила на него свой суровый отпечаток: правый кулак, привыкший сжимать ручку,— больше левого; бледный, лысеющий затылок, не знавший многие годы солнечного света... В детстве Петр Иванович мечтал быть моряком-подводником... Сколько воды с тех пор утекло!

Петр Иванович никогда не жалел о выбранной профессии, а что она принесла ему? Слава — пыль, а все деньги Петр Иванович тратил на зонтики. Он собрал уникальную коллекцию: здесь был ореховый прутик — прообраз будущего стержня, деревянный грибок с детской площадки... Был, например, миниатюрный зонт-сувенир, который не было видно даже в сильный микроскоп. Предметом особой гордости была точная копия зонта, который однажды хотел купить Владимир Владимирович Маяковский. Петр Иванович был поклонником поэта, особенно ему нравилось название поэмы «Облако в штанах», и он часто перечитывал ее на ночь.

— Зо! — позвал Петр Иванович жену. Этим уменьшительным именем он называл супругу в минуты нежности и трудности.— Скажи, Зо, почему так в жизни бывает?

Зоя Павловна приготовилась ответить, но Петр Иванович уже спал. Она взяла его на руки, отнесла на диван и накрыла пледом. Потом убрала остывший ужин в холодильник и села перешивать себе из старого зонтика новое платье.

Глава 2

Утром по дороге на фабрику Петр Иванович прятал от прохожих глаза, будто был в чем виноват, зонтик, хотя и в раскрытом виде, держал за спиной.

И только вошел в проходную, стыдом обожгло: «Что люди подумают?! Если, подумают, уж у него не хватило смелости бороться за дело своей жизни, то нам уж и на роду написано ходить в капюшонах!»

Петр Иванович на такси вернулся к дому и обратно проделал путь к фабрике, высоко держа зонт и с вызовом глядя встречным в глаза.

Одна собачонка шарахнулась от него и чуть не попала под трамвай, один прохожий хотел спросить: как пройти на почту, но раздумал, остальные то ли не заметили, то ли не придали значения, а может быть, боялись?..

И вахтер Евсеич поздоровался сегодня с ним как-то уклончиво, и слово «здравствуйте» сказал будто не ему, а себе.

Но больнее всего ударило по глазам «Дадим стране капюшонов на 101,3%!. Транспарант свежо красовался на кирпичной стене, а под ним устало курили Саврасов и Пашко. Окурков было много, наверное, всю ночь прибивали. Сверхурочно...

Главный конструктор вышел навстречу с распростертыми объятиями и сочувствующей улыбкой.

— Вот такие дела, дорогой Петр Иваныч...

И загородил собой дверь в конструкторское бюро. Оттуда доносился шум сдвигаемых столов,

что-то упало и с треском развалилось. К ногам Петра Ивановича выкатилась кнопка с двухместного (семейного) зонта, которую... он испытывал только вчера в конце рабочего дня.

У директора было совещание, шмыгали в кабинет туда-обратно озабоченные люди, тащили пачками новые лекала, эскизы, образцы материи. Петухов потоптался в приемной и пошел в отдел кадров.

Серафима Вардулактовна одним пальцем печатала приказ: «В связи с производственной необходимостью... перевести в кочегары...» А ведь это именно Петр Иванович устроил ее на фабрику, когда у нее на вокзале украла честь, гордость, надежду на будущее, а оставили только паспорт, деньги и чемодан. Он тогда испытывал железнодорожный вариант зонтика «Путевой». Привел ее к директору, сказал: «Надо бы помочь, Борис Емельяныч....» Делать она ничего не умела, вот ее и отправили вести бумажки на тех, кто умеет...

Швырнуть ей этот приказ в лицо, но ведь... женщина. Или взять, вломиться в кабинет директора, но ведь там... совещание. Или молча плюнуть и уйти, коллекцию подарить городу — пусть гниет в городском музее! А самому поцеловать жену, погладить по головке сына, затем привязать на шею булыжник и через весь город — к речке с гордо поднятой головой, и там с крутого берега — шлеп, бульк... И на дно, между консервной банкой и шиной самосвала?..

В котельную Петр Иванович спустился, как в ад. Пылали топки, горел антрацит! На улице ле-

то, но план за зиму по топливо-обогреву не выполнили, наверстывали... Работницы на фабрике распахивали окна, включали вентиляторы, ругали мастера Тимохина. Наиболее строптивых вызывали в фабком, говорили: «Вы что, испугались трудностей? Ищете в жизни легких путей? А вспомните, как наши отцы и деды!..»

Кочегар Митька вручил Петру Ивановичу лопату, дал расписаться в приемо-сдаточном акте, похлопал на прощание грязной рукой по плечу: «Не тушуйся, Иваны-ыч! Тута не дует!..» Ушел.

Петухов стоял посредине подвала, не трогаясь с места. Так низко пасть не видел он и в кошмарном сне. Ну еще бы на первый этаж — разнорабочим, подтаскивать в раскрайный цех рулоны, в деревообделочный — кантовать бревна, от которых после футанка оставались тонкие элегантные палочки к зонтам «Прощай, родина!», идущим на экспорт в страны, где с лесом плохо.

Блики огня играли на окаменевшем лице Петухова. Языки пламени сначала, любопытствуя, высовывались из топок, потом утихомирились и стали укладываться спать. Тишина... только сердце стучит в груди: «Бум-бум!..», и вода из крана: «Кап... кап... ка-пю... шон!»

Глава 3

Сердце Зои Павловны разрывалось от сочувствия мужу: утром ушел на работу не завтракая, сунул только в карман яичницу.

И даже на работе Зоя Павловна никак не могла сосредоточиться — говорила ребенку: «Открой

рот!» — и, забывшись, долго смотрела в полость рта, думала: «Где сейчас Петенька? Что с ним? Как себя чувствует?..»

Мамаши сердились, говорили: долго еще ребенку с открытым ртом-то сидеть?

— Да-да,— отвечала Зоя Павловна,— можно закрыть. Так на что жалуешься?

Когда пришел мальчик с занозой в пальце, вспомнила, как они с Петуховым на второй год после свадьбы ездили в Юрмалу. Море, сосны, много иголок...

Посоветовала мальчику полоскать горло три раза перед едой, выписала рецепт. А когда мальчик сказал, что он ест четыре раза в день, смеялась, не знала, что ответить, зачем-то стала делить на бумажке четыре на три.

Еле дождалась конца приема и, прежде чем пойти по вызовам, забежала домой. Когда она открыла дверь, сын что-то быстро спрятал в портфель и покраснел.

— Ну, покажи, что у тебя? — предчувствуя самое плохое, спросила Зоя Павловна.

Зонтик помедлил и вытащил из портфеля... капюшон.

— Все ребята... а я...

— Предатель! — сказала Зоя Павловна сыну. Вышла, хлопнув дверью. И тут же вернулась и обняла сына, и они оба заплакали...

Петр Иванович шел с работы. Холодно. З-зяб-бко...

То ли люди с ума посходили, то ли произносились окончательно: зуб на зуб не попадает, а они

одеты легко... Смеются чему-то... И до чего все кругом постыло, однообразно.

Вдруг очень захотелось выпить. Завалиться куда-нибудь в дым коромыслом, взять в руку тяжелую пивную кружку или стакан, тяпнуть от души: а, гори все огнем!

Петр Иванович огляделся — и увидел жену и сына. Они шли с зонтиками в руках. Прохожие расступались и долго провожали их взглядами. И пытались что-то сообразить и... не могли.

Волной окатило Петра Ивановича сначала стыдом, потом волной гордости и потом — любви. И если первые две волны окатили и отхлынули, то третья — волна любви — накатила и понесла, понесла Петухова навстречу своим любимым, самым дорогим и ненаглядным. Нет, стоило жить и бороться!

Петр Иванович обнял жену и сына, и пошли они дальше, домой, вместе. И сын Зонтик с гордостью думал: «Вот какой у меня папа!» А Зоя Павловна думала: «На первое у меня есть, на второе — котлеты поджарю, картошку сварить успею...» А Петр Иванович думал: «Ха-ха-ха! Фиг вам всем с маслом! Да я такой зонтище сварганю!.. Да я!..»

Светофоры то ли сломались, то ли... на всем пути на перекрестках светили зеленым, а вслед им, подмигнув желтым, выставляли красный, словно оберегали их от чего-то. Или... старались поскорее сплавить их домой?

— Если маленькое облако способно закрыть тенью весь город, значит что? — озорно и с азартом спрашивал Петр Иванович.

— Что? — спрашивал, разинув рот, сын.

— А то, — радостно объяснял Петр Иванович, — что, значит, и ручка у зонтика тоже должна быть... длинной!

— Ой, Петр, какой ты умный! Я бы никогда не догадалась! — ахала Зоя Павловна.

— Пап, а правда, что в космосе есть другие разумные цивилизации? — спрашивал сын Зонтик.

— А вот этого не знаю, — скромно отвечал Петр Иванович, — но, думаю, должны быть — что мы, лучше всех, что ли?!

У дома Петр Иванович почувствовал, как сын крепче сжал его ладонь, а жена плотнее прижалась к плечу: смотрели на них мальчишки с детской площадки, из окон (в основном кухонных) смотрели женщины, у подъезда напряглись, затянули дыхание старушки... Прошмыгнуть бы скорее, юркнуть в свою квартиру.

— Добрый день,— поклонился Петр Иванович с достоинством старушкам. Подмигнул на второй этаж, где, склонив голову набок, пялила глаза в общем-то симпатичная женщина. Помахал приветливо шантрапе дворовой. И лишь затем закрыл зонт, подождал, пока и жена с сыном закроют, и самолюбиво, но без чванливости вошел вслед за своими в подъезд.

Глава 4

Посейдон Максимович Блох был человеком необычайной физической силы. Внешне маленький, невзрачный, он мог кулаком убить слона (говорят, именно поэтому слона в зоопарке дер-

жали за прочными прутьями забора). Ел он мало, был в еде неразборчив, спать мог где угодно, даже на работе. В разговоры вступал неохотно. «Ага» да «угу» только от него и услышишь.

Откуда у него такое странное имя? Мама говорила, что не помнит и что вообще ей больше нравится «Оля». А папа, кося глазами в сторону, говорил уклончиво: «Время тогда такое было...»

Посейдон Максимович работал инспектором Крутовского уголовного розыска. Во время его дежурств краж и беспорядков почти не случалось. Разве попадется какой гастролер, наслышанный о необыкновенной физической силе Посейдона, но не знающий дни его дежурств: каждый первый и последний понедельник до обеда, вторник и среда (только четные) до 24.00, четверг, пятница с 12 до 16 на участке, с 16 до 22 — протокольная часть; суббота — день экспериментов, воскресенье — выходной или как получится.

Свершилось Посейдону только 24 года, а уж неинтересна была ему жизнь, особенно томительны были минуты наедине с женой, дома... Жена умудрилась устроить жизнь так, что главным у них в семье был телевизор. Жена все внимание отдавала ему, а мужа перебивала, даже когда он говорил «угу». И Посейдон Максимович Блох стал опасаться, что она вскоре родит маленький телевизорчик. Блох представлял, как он катит детскую коляску, а в ней — телевизорчик! Инспектор представлял ошарашенные лица прохожих, вежливые замечания родни: «А как похож! Вылитый папочка!», и его начинала колотить дрожь.

Рабом чувствовал себя Посейдон Максимович. Рабом, прикованным толстой цепью к... пустому месту.

Сколько раз он рисковал жизнью: лез на ножи, под пули... Ножи сгибались, пули рикошетили...

Жил Посейдон в том же доме, что и Петуховы (дом 5, корпус 3, 3-й этаж), на одной лестничной площадке. Раздражала постоянная возня в соседней квартире, и какая-то, как ему казалось, неуместная восторженность и нарочитая забота в отношениях друг к другу. Стенки в доме тонкие, бывало, освободившись с дежурства, сидит Посейдон с раскрытой книгой у стены, а сам не читает — слушает. Ждет, что вот-вот в голосе женском появится фальшь, в мужском — наглость или ложь, в детском — каприз. И кажется, вот-вот уже ласка и участие перейдут границу, вызовут недоверие, и разразится скандал, но...

С трепетом и злорадством ждал Посейдон Петра Ивановича в тот второй день. Хотелось ему видеть растерянность на лице испытателя зонтиков. Любопытно было Посейдону, как сложится теперь семейная жизнь соседа: отвернется ли от него жена? Будет ли уважать сын? Думал, если Петухов запьет, дать ему утром рубль на опохмелку: черт с ним, не жалко — тоже ведь человек!

Жена перед трельяжем примеряла капюшон, напевала басом: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбакскую лодку берет...» Верный признак хорошего настроения. Сейчас, наверное, в постель потащит, думал Посейдон, внутренне напрягая-

ясь. Человек необыкновенной физической силы, он в такие минуты никогда не мог справиться с супругой. Сейчас это вообще было ни к чему — он ждал Петухова, и, если честно, ждал не его унижения, а оправдания себе. Он смотрел на улицу... Он смотрел против солнца, и сначала ему показалось, что в конце улицы появились три богатыря. И только потом ошеломленно понял, что это — три человека с зонтиками! И средний из них, который повыше, — Петр Иванович! А двое по краям — его жена и... сын.

Они скрылись за углом дома. Посейдон выскочил на лестничную площадку и стоял там с открытым ртом. Вот хлопнула входная дверь, раздался смех, поцелуй... (это Зоя Павловна благодарно чмокнула мужа в щеку). Вот шаги все ближе, ближе (дом пятиэтажный, без лифта). И вот... Посейдон Максимович увидел их...

Человек необыкновенной физической силы, он изо всех сил сдерживался, чтобы не разрыдаться. Все бушевало в нем: жалость и презрение к себе, ненависть к убогой жизни, восхищение Петуховым, жгучая к нему зависть и высокое торжество — что есть еще на Земле такие люди!

И понял тут Посейдон Максимович Блох, что не надо унижать великих людей до своего понимания, а надо подниматься, если и не до высоты их мыслей, то хотя бы до их мироощущения.

Всю ночь сидел он на лестничной площадке, курил. Жена дважды звала его, но он так цыкнул, что она первый раз тут же побежала плакать маме по телефону, а второй раз — собрала вещи и хотела уйти из дома насовсем, да вовремя

спохватилась, что собрала вещи не свои, а Посейдона Максимовича.

Всю ночь Посейдон Максимович сидел на лестнице. Перед глазами мелькали картинки детства: вот мама несет его на руках... Вот примеряют ему первую школьную форму: рукава до колен, брюки длинны, даже если их натянуть до плеч, а папа смеется: «Ничего! Вырастет!»

Посейдон курил, смахивал ладонью слезы. Вспомнил первую брачную ночь. Как умолял жену оставить его в покое, он тогда готовился к зачетам в Высшей школе инспекторов. Он тогда искренне не понимал, как можно заниматься в постели любовью, если в это время где-то в городе крадется по темной улице вор, бандит карауляет свою жертву за углом, а пьяный водитель садится в огромный самосвал?! Потом привык, конечно, а в первое время трудно было: обнимает жену, а мысленно там, на темной улице в засаде...

Посейдон курил одну сигарету за одной. Не спала, нервно ворочалась в постели взбешенная супруга. На первом этаже пенсионер Курилкин писал пятую по счету жалобу в ЦК КПСС на то, что вся лестница заплевана, во дворе никто не убирает и консервная банка, которую он выбросил в окно еще в феврале, так до сих пор и лежит! А инспектор Блох, используя служебное положение, всю ночь курит на лестнице, а его жена, которая работает учительницей географии в школе, учит детей, что самая высокая гора — Джомолунгма, а не наш пик Коммунизма!

Утром, когда окно на лестничной площадке стало сереть, предвещая ясный, а в сущности, серый день, Посейдон Максимович Блох постучал в квартиру Петуховых. Звонок работал, но он почему-то постучал...

Дверь открыл Петухов. Он еще не ложился, был одет, сосредоточен на чем-то своем.

— А... сосед, — сказал, — проходи. Проходи... я сейчас...

И вернулся в комнату. Посейдон прошел осторожно за ним, огляделся. Кругом на полу, на столе были разложены чертежи. Из второй смежной комнаты доносилось спокойное, ровное дыхание спящих.

Петр Иванович остановился у стола, сжал в кулаке подбородок.

— Понимаешь, — проговорил Посейдону, сам внимательно вслушиваясь в свои слова, — если поднимать зонт над городом в раскрытом виде, нужна большая стартовая площадка...

— Так пустырей-то... и со стадиона...

— Мало... — изрек Петр Иванович. — Теперь смотри сюда, — показал пальцем на чертеж, — если по принципу воздушного шара в сложенном положении, а потом на высоте пятидесяти метров — хлоп! И раскрылся... Нужен двигатель в триста лошадиных сил...

— Петя, чаю хочешь? — раздался из спальни голос жены.

— Нет, спасибо, — ответил Петр Иванович.

Из смежной комнаты опять донеслось ровное дыхание спящих.

— А если двигатель в триста лошадиных сил...

— Пап, карандаши очинить? — раздался сонный голос сына.

— Спи, спи, сынок! — ответил Петр Иванович. И продолжал: — Тогда двигатель должен быть предельно энергоемкий и выносливый...

— Я! — твердо и радостно сказал Посейдон Максимович. — Я раскрою зонт!

— Но ведь... высота? Да и потом... как же это?

— Петр Иванович, я могу!.. — твердо, убежденно и тихо сказал Посейдон Блох. — Не отказываете мне, может быть, это и есть то единственное... для чего я живу!

Глава 5

Он был незлой, независтливый, целеустремленный. Ему бы подошло имя Пуля. Или — Снаряд. Но его звали Илья Иванович Кикимора-оглы...

В паспорте было написано, что он русский, но это была такая же заведомая неправда, как та, которой его учили в школе, что все капиталисты — люди плохие, а все бедные — хорошие. Только потом Илюша понял, что богатый — не значит счастливый; счастливый — не значит талантливый, а талантливый — не значит умный. И еще что умный, талантливый и богатый не всегда бывает — любимый.

В 1242 году его предок Густав Хуккерман участвовал в знаменитой битве. Чудом ему удалось тогда скинуть с себя тяжелые доспехи, и он не

пошел ко дну, а выплыл и остался лежать на льдине голый, молодой... Его подобрала местная крестьянка Аграфена — молодая безутешная вдова, она выходила чужестранца. Пребывание в ледяной воде и на льдине не осталось без последствий — Густав забыл родной язык, родину. Охотно откликался на имя Гуня, полюбил квас...

Детки у Гуни и Аграфены пошли на редкость ладненькие да справные. Мальцы — удальцы, девчата — загляденье! А потому не миновали последующие поколения ни иго татаро-монгольское, ни поход французский, ни милость дворянская...

Однажды цыганка (еще в городе Пологом) стала гадать Илье, да как глянула ему на ладонь — хвать деньги и бежать. Да и сам Илья то в лице Франклина Рузвельта найдет схожие черты, то в облике княжны Таракановой что-то углядит общее...

Вот говорят, талант!.. Служение высокому! Жертвенность!.. Ничего этого Илья не чувствовал, даже напротив — когда творил, ощущал себя эгоистом, которому наплевать на людей, лишь бы капюшон получился хороший!

Капюшон!.. Еще в детстве, бывало, он бегал с сачком не за бабочками, а за мальчишками: догонит, накинет — и думает, думает все о чем-то, пока не отступят...

Человек умный, откровенный, он понимал, что, по большому счету, ничем не отличается ни от художника упоенного, ни от разбойника заблудленного: и тот, и другой, и он — самовыражаются и поступать по-иному не могут, как не может

цветок ромашка рasti, rasti и — вырасти розой.

Однажды, еще в городе Пологом, одна корреспондентка все допытывалась: какое чувство ближе всего ему — любовь, жажда познания или чувство долга перед обществом? Слукавил он тогда, сказал что-то про чувство ответственности, про желание быть полезным... А на самом деле чувство, к которому он всегда подсознательно стремился, — удовлетворение. Вот и в работе: проведет по бумаге неверную линию — раздражение; сотрет, проведет другую неточную — ненависть возникает, хочется сломать карандаш, изорвать бумагу (и рвал и ломал!), проведет третью неудачную и — слабость, неверие в свои силы. А проведет четко и уверенно ту единственную нужную, и — радость блеснет, блеснет и... перейдет в тихое удовлетворение собой. До той поры, пока не надо будет делать дело дальше. Вот и вся тайна творчества, весь полет, все вдохновение!

Ну а маза? Была ли она у Ильи Ивановича, есть ли? Помогает ему или?..

Была — Дора Матвеевна Обстул, чертовка из кордебалета Пологинского театра музыкальной комедии. Характер отвратительный: врунья, вертушка, жадюга, но... какой капюшон ни наденешь, все — к лицу! Это уж от природы...

Много она доставила неприятностей Илье Ивановичу, но много и помогла. Не осталось в Пологом, пожалуй, ни одного жителя, кто не имел бы капюшонов: зимних на меху, летних прохладных, осенних водонепроницаемых... Капюшоны

свадебные (с удлиненными краями, чтобы жених и невеста на других не засматривались), капюшоны официальные (чтобы от людей поглубже лицо прятать), капюшоны для милиции пуленепробиваемые, прозрачные, радиофицированные... Много разработал Илья Иванович капюшонов в городе Пологом, теперь прибыл (пригласили) в город Крутой...

Как это водится, в городе развернули широкую капюшонную кампанию: фабрику зонтиков перевели на выпуск капюшонов, хлебопекарню переориентировали на выпуск пуговиц, два старых переулка Воздвиженский и Лягушкин Брод переименовали соответственно в Большой Капюшонный и Малый, в вечерней газете «Вечерний Крутой» художник Лампампедов опубликовал смешную карикатуру: человек, идущий под дождем с зонтиком, который держит в... третьей руке. А в докладе тов. Шараваева, сделанном в тот же день на слете задовиков сельского хозяйства, впервые прозвучало выражение «зонтизм», обозначавшее неумение организовать работу, когда, условно говоря, руки заняты не орудиями производства, а средствами защиты.

Кикиморе-оглы выделили 3-комнатную квартиру в новом горкомовском доме. Чтоб время не терял на подъем в лифте — на первом этаже. Квартира была лимитированная, из фондов исполнкома, поэтому без номера. Вместо номера — табличка: «Не влезай — убьет!»

Все, буквально все было предоставлено в распоряжение Ильи Ивановича. Полководцем он себя ощущал: готовы к атаке полки иголок, катуш-

ки ниток выкатились на исходные позиции, бестрашно сверкают лезвия ножниц. Еще немного и... загудят, застремочут швейные машинки, и сметет лихая атака капюшонов старые, никому не нужные зонтики с лица города Крутого.

Один раз только шевельнулась в нем жалость к Петухову, когда потрогал случайно холодную батарею... «Что ж,— подумал,— судьба выбирает сильных!»

А батареи были холодные уже третий день. Погасли топки, закостенели в недоумении глаза грозной администрации («Мы не позволим срывать план!..»). В порошок бы стерли Петухова, перевели бы из кочегаров хоть в... собаку сторожевую Полкана, тем более что тот совсем стар, несунов не ловит, все у окон бухгалтерских оклачивается, пенсию себе хлопочет. В сторожевую будку посадили бы, да притихли, когда увидели, что за спиной Петра Ивановича незаметно мелькает сам Посейдон Блох. Попртихли, вспомнили, что на дворе пока лето, решили: ладно, потерпим! Не будем попусту растрачивать свою умственную энергию, а мобилизуем-ка ее лучше на перевыполнение плана по капюшонам!

А котельная теперь напоминала монтажную космодрома, не объемом, конечно, и не интерьером, а духом высокого созидания! Если бы Петухов знал, что его жалеют, он бы (ха-ха ха!) рассмеялся от души. Никогда еще он себя не чувствовал таким счастливым. Все у него в руках горело, кипело. Гвозди вбивались, как «ах!», гайки кружились легко, как в вальсе; молоток, отвертка, кле-

щи не успевали опускаться на верстак и летали в воздухе, как у жонглера.

Посейдоша был на подхвате, гнул трубы, швеллера, перекусывал зубами гвозди. Наматывал на палец стальную проволоку. Работали до упаду, иногда забывая поесть, а однажды (ха-ха-ха!), забывшись, съели подряд обед и ужин! Вот уж поистине — влюбленные часов не замечают: глянет Петр Иванович на часы — полвторого; глянет, как ему кажется, через полминуты — полдесятого вечера. Постучит Петр Иванович ногтем по стеклышику, приставит часы к уху — ходят. Еще, случалось, думал: кто окно закрыл? А это уже ночь. Или наоборот: кто?! А это уже...

Сначала ходили домой спать, потом принесли подушки и одеяла из дома и спали на шлаке, совершенно (!) не чувствуя неудобства.

Много помогали Зоя Павловна и сын Зонтик. Зоя Павловна сшивала покрытие, Зонтик — хорошо учился в школе, а это для любящего отца большое подспорье. Был уже сентябрь, и в котельную иногда задувало ветром с тротуара желтые листья...

Петр Иванович отмахивался от них, Посейдон складывал между страниц «Секретов криминалистики» гербарий. На работе в уголовном розыске взял отпуск, дали, конечно, без звука — дорожили кадром. Про котельную знали, но помалкивали, особенно успокоились, приметив, что Посейдон и Петухов тащат не с фабрики, а на фабрику.

Жена Посейдона (Эх!) согласна была, когда Посейдон пропадал пропадом у ее юбки в четырех... (раз, два, три...) в 12 стенах. А тут взвилась,

показала всю свою дуру! В газеты писала, на телевидение в передачу «Человек и закон»... Корреспондент центральной газеты около 15 минут просидел в подвале, поджимая под себя ноги. Щурился на замерший котел, думал, как лучше гвоздануть нерадивых, но Посейдон как бы невзначай завязал на его глазах лом в бантик, и в газетах напечатали прогноз погоды на завтра.

Глава 6

Завтра должны были вручать премию. Какую уж по счету, Кикимора-оглы не помнил. Общесоюзных, международных, республиканских было у него столько, что, если бы значки и медали повесил на пиджак, ноги бы подкосились от тяжести.

Обещали, как только будет учреждена Нобелевская премия по капюшонам, сразу вручат ему. Да ведь не в премиях дело, главное, как было сказано, — в чувстве профессионального удовлетворения. Незаслуженная премия для истинного мастера — пощечина!

Теперь все жители поголовно (за исключением Петуховых и Посейдона) ходили в капюшонах. В трамваях и автобусах стало меньше свар, в магазинах тоже не так рьяно выражали свое недовольство, стояли отгороженные капюшонами, молча ждали, когда их обвесят или скажут: «Дома иди указывай, много вас таких — указчиков!»

Но, как ни странно, больше стало дерзостных преступлений: хулиганства, нападений на улицах... То ли капюшоны делали фигуры людей бо-

лее согбенными, жертвенными, то ли глухота закрытых ушей порождала наглость.

Горожане побаивались выходить по вечерам на улицы, предпочитали смотреть телевизор, а там: реклама капюшонов, репортаж с фабрики, интервью с Кикиморой-оглы...

Справедливости ради следует отметить, что мода на капюшоны предусматривала и определенный уровень жизни: более энергичный, обеспеченный. В Крутом же из мировых достижений науки и техники были только самолеты, которые пролетали над городом высоко в небе...

В редкие минуты отдыха Петухов говорил Посейдону: «Ничего, ничего, мы еще посмотрим, чья возьмет! Вот откроем зонт и... хе-хе, отпадет разом вся надобность в ваших капюшонах, и будет тогда народ опять дружной, единой семьей, коллективом...»

Посейдон слушал, молчал. Хорошо молчал: красиво. Он вообще стал заметно собраннее, значительнее, можно даже сказать, великолепнее.

Справедливости ради следует сказать, что возросшую преступность некоторые в городе относили с тем, что Посейдон прервал работу в милиции, но... не знали и не ведали они, что сделал он это исключительно для их же пользы.

Нет, не забыть горожанам тот пасмурный дождливый день 19 сентября. Казалось бы, ничего не предвещало перемен и разнообразия в сложившемся стиле жизни. Утром, надев капюшоны, пошли на работу, в школы... Домашние хозяйки пошли в магазины, в поликлиники пошли люди, в кино... В милицию пошел старик

Курилкин жаловался, что Петухов бросил семью, а значит — освободилась жилплощадь, а он, Курилкин, как ветеран-квартироцемщик...

Жена Посейдона пошла в школу учить детей, что, кроме города Крутого, есть еще прописка по месту жительства. Пошел к чертовой матери вахтер Евсеич. Обиделся, что его утром грубо разбудили. Сказал в сердцах: «Уйду я от вас к чертовой матери!» Пошел куда-то...

Много движения было в городе в тот пасмурный дождливый день, и ничто не предвещало великого события, о котором знали только Петухов и Посейдон Максимович Блох. Они были сегодня в новых костюмах, и Илья Иванович, завидев их в окно, подумал, что это в честь вручения ему (Илье Ивановичу) премии. Как, однако, мы бываем самоуверенны!..

В собранном виде зонт занимал семь метров в длину и три в ширину — множество реечек, скрепленных специальным составом из клея, шампуня, злости и большого желания, должны были распрямиться и раскрыть шатер площадью в... очень много квадратных метров.

Подвесная корзина, веревка, за которую держать, — все это было смонтировано в виде ручки. А вывести зонт на заданную высоту должна была сила земного отталкивания. То есть по принципу мяча: его кидают в землю — он отскакивает. Кинуть зонт должен был человек необыкновенной физической силы Посейдон Блох...

Так (приблизительно так) все и получилось. Зонт доставили на центральную площадь на специальной тележке-трапере. Системой блоков

подняли на крышу дома (там, где на первом этаже «Продукты», «Галантерея», «Обувь»). Петр Иванович нервничал, задрав голову и приложив рупором ладони ко рту, кричал: «Не забудь: сумма длины катетов больше длины гипотенузы!..»

Посейдон в новом костюме, в мотоциклетном белом шлеме, в кирзовых с раструбом перчатках, помахал с карниза рукой, сосчитал мысленно: «Три... два... да что тут считать!» — и, собрав всю свою необыкновенную силу, швырнул тюк зонта вниз.

Редкие прохожие — мама с коляской, милиционер, командированный Сергачев (стоящий у магазина за колбасой) — были свидетелями этого редкого явления. Как потом рассказывал Сергачев, вернувшись в родной городок сельского типа: «Я сначала думал, что летит огромный батон колбасы!» Постовой милиционер Филимонов, стоящий на противоположном тротуаре у исполнкома, докладывал потом, что принял тюк за неопознанный летающий объект, вспомнил, что говорили об НЛО на политзанятиях, и решил, что наблюдает обыкновенный световой эффект, поэтому мер не принял и по инстанции не доложил. Мама с коляской, увидев летящий к земле тюк, взмолновалась: как бы ребенок не испугался; а ребенок — крошка Каблуков Сеня (6 месяцев, вес 8.900) — подумал: «Они в конце концов, козлы, доиграются!», но не сказал ничего, потому что к шести месяцам умел только держать головку, если его клали на животик, и говорить: «У-а-а!..»

Тюк хлопнулся об асфальт со звонким чмоком

гигантского поцелуя, отскочил и стремительно пошел ввысь. Посейдон еле успел ухватиться за край и перекинуть тренированное тело в корзину. Скорость тюка стала гаснуть, еще секунда — и подъем прекратился.

Посейдон рванул кольцо. Шатер зонта с треском, со скрежетом распахнулся, как взмах гигантских крыльев. Воздушной волной чуть не вышибло Посейдона за борт. Гигантский шатер закрыл город.

Глава 7

Свершилось! Петр Иванович стоял на площади, и слезы текли по его щекам. И это были единственные капли, которые падали на асфальт площади.

Болтался в поднебесье (в подзонтье) мужественный Посейдон. Струи дождя стекали где-то за городом в речку, в поля...

Все было великолепно, но что это?! Почему стало вдруг темно? Неужели так быстро наступил вечер?!

Ах! Петра Ивановича опалила догадка. Как же.. Как же он не подумал раньше — ведь это так очевидно? Зонт закрыл солнце, закрыл дневной свет, и родной город погрузился во тьму...

Заплакал в коляске ребенок, ушел за угол командированный Сергачев, постовой милиционер Филимонов потрогал на поясе тяжелую кобуру, ближе придинулся к дверям исполкома.

А в городе начало твориться что-то невообразимое. В школе, в классе, где учительствовала

жена Посейдона, кто-то крикнул: «Затмение!», и все во главе с директором рванули на улицу. На улице кто-то кричал: «Конец света!» — и призывал выносить вещи. В средне-техническом училище войск связи объявили тревогу.

Машины, автобусы и трамваи, включив фары и гудя, тыкались на перекрестках, куда-то неслись...

Постепенно паника начала охватывать город. Для успокоения из казарм вывели курсантов в противогазах и капустного цвета прорезиненных комбинезонах химзащиты, по городу пролетело: инопланетяне! Люди бежали, прятались. По радио к горожанам обратился председатель горсовета тов. Остроухов, он сказал, что все хорошо и нет никаких оснований опасаться, будто обстановка в городе примет угрожающие размеры. Горожане смекнули, что терять больше нечего. Первым из города начал эвакуацию военкомат. Учетные листки и призывные повестки валились по всей улице, в грузовик грузили самое необходимое: письменный стол, сейф, настольную лампу и стенд «Гордись службой в ракетных войсках!».

Следом за военкоматом решила покинуть город баня. Директор лихорадочно считал шайки, опломбировал парную, голые люди жались по стенам, ждали, какая будет команда: одеваться или идти домой так.

В ювелирном магазине заведующий В. М. Кочерышка кричал: «Никого не выпускать! У кого золотые зубы, пусть принесут справки!»

В исполкоме шло совещание. Начальник объ-

единения Крутмелиорация категорически заявил, что лично никакого отношения к потемкам не имеет и что, если бы в свое время осушили городской водопровод, ничего подобного не было бы! Зампред Сайгалов призывал всех к порядку. Неожиданно в коридоре раздался сухой шелчок, сначала подумали, что это застрелился начальник управления культуры, но это просто упал стул.

В Собачьем тупике неизвестные сломали замок на складе готовой продукции, но взяли только замок...

Много бед случилось бы в городе, да, хорошо, в Горэнерго уборщица сослепу дернула какой-то рубильник. Свет залил улицы темного города. Опомнились частично горожане, стали отряхивать друг друга, извиняться.

Директор ювелирного магазина примирительно говорил: «Не обижайтесь! Соберем все зубы, сверим по весу с драгметаллом, бывшим в магазине на момент потемнения...»

Школьники разбежались подальше от школы. Военком приказал эвакуацию впредь именовать военными учениями. Директор бани объявил, что воды сегодня не будет, но желающие могут остаться в бане до вечера.

На площади перед исполкомом собралась толпа, все, задрав головы, смотрели вверх.

— Посейдон, слезай! — кричал Петухов.— Ты меня слышишь — слезай!

Зампред Сайгалов говорил в мегафон: «Товарищ Блох, покиньте небосвод! Вам ничего не будет!»

Немногословный обычно Посейдон кричал сверху:

— Люди! Братья! Город — наш общий дом!
Хватит жаться по углам! Давайте жить под одной крышей!

— Вызвать вертолет! — негромко отдал распоряжение генерал Перфильев. — Стрелять только холостыми, но в случае необходимости...

— Люди! — орал сверху Посейдон. — Жизнь прекрасна!..

А сбоку к нему, тарахтя, уже подлетал вертолет. Темно-зеленая стрекоза с красной звездой на боку и с торчащим из проема скорострельным пулеметом. Задергался ствол, череда выстрелов загрохотала над городом.

Замер город.

— Люди! — орал сверху Посейдон. — Любите друг друга, ведь самое дорогое на земле — это человек!..

— Посейдоша, — умолял снизу Петухов, — слезай! Мы ошиблись! Мы не рассчитали, что зонт вместе с дождем и облаками закроет солнце!

— Лучше жить без солнца, но под одной крышей, единой семьей! — орал Посейдон.

Новая очередь прошила небо, но была она какая-то иная, какая-то более рыкающая, более откровенная и... в зонте появились прорехи. Пунктир... зигзаг... а вот что-то вроде «Большой Медведицы»...

— Прощайте! — орал Посейдон. — Я умираю счастливым. Я жил и умираю ради людей!

— Посейдон, слезай! — плакал Петр Иванович. — Я ошибся... Я жестоко ошибся...

— Я счастлив! — кричал Посейдон. — Вы сожгли на костре Джордано Бруно!..

— Ну это уж чересчур, — промолвил зампред

Сайгалов. — Он так черт-те до чего договориться может!..

— Вы не хотите услышать меня, не хотите слушать друг друга... потомки плюнут вам в лицо... Забудут! Проклянут!

Петухов схватился за голову.

— Вы пропадете в небытии с вашими холодильниками, телевизорами, кафельными ваннами и отдельными туалетами! Вы кормите тело, но не питаете душу! Дети! Я обращаюсь к вам! Взрослые, они уже ничего не смогут сделать, я их жалею... А вы, дети, помните, что родина — это не квадратные метры отдельных квартир, это наш город, страна... Это небо!..

Пулеметная очередь описала дугу, и вокруг головы Посейдона на плоскости зонта образовался как бы нимб из дырок. Но что же он замолчал? Почему он молчит? Сдался?! Передумал?!

Кто-то из мальчишек поднял камень и запустил в брюхо вертолета, камень шарахнулся, как по пустой бочке, и упал к ногам Сайгалова.

— Так... — сказал он, — по-нятно...

Но почему молчит Посейдон? Ранен?!

— Друзья, — вдруг раздалось с неба чуть с хрипотцой — он плакал.— Друзья... мне жалко вас... Но что я еще могу для вас сделать?.. Что?!

Следующая прицельная очередь поразила механизм, удерживавший зонт в вертикальном положении, зонт наклонился, и резкий боковой северо-западный ветер погнал его в сторону...

Еще через каких-нибудь пятнадцать минут над городом открылось серое пасмурное небо и пошел дождь.

Эпилог

Вот и все! Куда улетел гигантский зонт, куда унес Посейдона Максимовича, человека необыкновенной физической силы и щедрого проснувшегося сердца? Об этом можно только гадать...

Петр Иванович вернулся на фабрику и первым делом... растопил котел. Часами сидел он теперь перед ним, грел озябшие руки. А может быть, не только руки, но и душу?

На Илью Ивановича Кикимору-оглы все прошедшее произвело неизгладимое впечатление. Он покинул город Крутой и сейчас находится где-то в дороге.

Зоя Павловна неожиданно сдружилась с женой Посейдона, они часто ходят друг к другу в гости, вместе пьют чай и смотрят телевизор. Иногда Зоя Павловна прикладывает руку к левой груди и сдержанно морщится, преодолевая ноющую боль в сердце. На участливый вопрос соседки: «Больно?», — отвечает, помедлив: «Не обращайте внимания... все нормально».

И только сын Петра Ивановича и Зои Павловны, тот самый мальчуган Зонтик, не сдался, не отступил. У себя в углу, над столом, он повесил портрет Блоха, по утрам занимается гантельной гимнастикой, а по вечерам куда-то уходит и возвращается поздно, усталый, дерзкий и очень часто побитый...

Спасибо!

1982 г.

Блеск

Маленький роман





Посвящается всем!

Начало

В Риме было жарко.

в Лондоне — дождливо. И я поехал в Париж.

Ах, Париж, Париж!..

Компания у нас в купе подобралась незатейливая: поручик лейб-гвардии гусарского полка Глебов, студент университета Никита Скворцов, редактор еженедельника «Губернский вестник» Водовозов-Залесский и я.

Студент большую часть пути молчал и бил мух логарифмической линейкой, редактор, тихо поскучивая, читал рассказ «Каштанка», а мы с поручиком Глебовым играли в шашки.

Играть с поручиком было трудно, потому что он вместо съеденных мною шашекставил на доску пробки от бутылок, фантики, спичечный коробок и портсигар с монограммой «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай».

Студент сразу невзлюбил поручика и, когда кончились все муhi, недобро поглядывал на его затылок.

На станции «Н-Товарной» дверь купе неожиданно открылась, к нам вошел жандармский

ротмистр Ворошев и принялся обыскивать Скворцова.

Студент стоял бледный, а на пол из карманов сыпались брошюры, воззвания, револьверы, динамит и глобус, где все острова и континенты были окрашены в красный цвет.

Глава первая

Взрыв

Ротмистр Ворошев любил женщин и не любил революционеров. А те и другие не любили его в равной степени. И за что его любить: вислоносый, как индюк, красноглазый, как кролик, да еще в голубом жандармском мундире, он своим видом словно предвосхищал скорое появление абстрактной живописи.

Женщины ему нравились: блондинки, брюнетки, шатенки, худенькие, полненькие...

По воскресным дням он ходил утром в церковь, а вечером в публичный дом. И там, и там его принимали уважительно. Правда, в церкви отец Никодим всегда норовил обделить Ворошева благословением. У них были свои счеты. А хозяйка заведения мадам Буфф при его появлении надевала на швейцара Егора паранджу.

Среди прочих клиентов Ворошев выделялся вкусом и несусветными претензиями — он требовал, чтобы ему говорили: «Мой любимый», «Я без тебя жить не могу!», после чего долго представлял себя любимым и, если представить не удавалось, уходил с гордо поднятой головой.

В сущности, он был глубоко несчастный человек, о чём не подозревал, так как подозревал всех других.

Ворошев сидел в своем кабинете и читал доносы, которые были отпечатаны на бланках, куда вписывалась только фамилия. Бланки пачками раздавались агентам и осведомителям, многие из них были неграмотные, ставили вместо фамилии крестик, но виновных все равно находили.

Бланки употреблялись разные: про политические заговоры, грабежи, подлоги, убийства. На самом видном месте в кабинете висели образцы, заполненные на Стеньку Разина, Емельяна Пугачева и студента Скворцова.

Ворошев по утрам читал сначала доносы, потом газету «Жандармские новости», потом смотрел на портрет императора, придавая лицу верноподданническое выражение, и только потом принимал агентов.

Сегодня доносы были скучные, как осенний дождь. А один фальшивый, это осведомитель дворник Поликарп писал на себя, чтобы получить побольше денег. Ворошев взял «Жандармские новости» и с интересом погрузился в чтение статьи «Укоротим руки», но тут скрипнула дверь, и в кабинет вошел агент 3-й категории по кличке Муха. О нем можно сказать: он был умный и хороший, осенью носил галоши. Летом белую рубашку, полотняные штаны. Он не злился, не ругался, встречным людям улыбался. Он был добрый и хороший только внешне, а внутри — черной злой.

бой напоенный, жуткой страстью опьяненный, он готов был все на свете очернить и утопить!

Звали его Агафон Тихонович Пестряков. Он вытащил из-за пазухи бомбу и положил на стол.

— Что это? — спросил Ворошев.

— Бомба, — сказал Пестряков, — через пять минут взорвется.

Губернский город Н. славился своим умеренным климатом и источниками минеральной воды, известной под названием «Н-ская». В летнее время к источникам приезжали именитые особы, известные артисты, ученые, из дальних уголков России брали сюда калеки, юродивые. Строем, с вениками приходили солдаты местного гарнизона, по команде скидывали исподнее, обрушивались в водоемы.

По воскресеньям у центрального водоема играл духовой оркестр. По вечерам слышались гармошки, балалайки, крики: «За что?!», «Наших бьют!», полицейские свистки и колотушка сторожа Демидова — седобородого старца, бывшего иеромонаха, разуверившегося в религии, потому что никак не мог победить свою плоть. Он даже когда смотрел на святые лики в церкви, видел обнаженные женские тела, очень от этого страдал, боролся с самим собой и умер в 1932 году, оставив после себя колотушку, тулуп и 127 детей разного пола и возраста.

Ближе к железнодорожной станции располагался сам город: булыжные мостовые, ядреный запах навоза, куда ни глянешь — церкви, а рядом с тобой — кабак.

24 августа того года в городе Н. царило необычное волнение: когда карета генерал-губернатора проезжала мимо жандармского управления, в нее бросили бомбу.

Губернатор ехал к зубному врачу, заранее съежившись от страха, поэтому испугался мало. Осколками булыжника ему в трех местах продырявило цилиндр и выбило больной зуб. Кучер Серафим, как только бомба взорвалась, крепко защмурился, поэтому все осколки пролетели мимо него, перебили постремки, оглобли, изрезали сбрую, и лошади, получив нежданную волю, рванули в свою конюшню.

Удивительное это было зрелище: губернатор, сидящий на мостовой и держащийся за щеку, облако пыли и мусора, опускающееся вниз, и две перекошенные от испуга физиономии, выглядывающие из окна второго этажа жандармского управления.

Губернатора и кучера тут же окружила толпа, полиция начала наводить порядок: свистки, зуботычины, крики, зашныряли в толпе сыщики и бойкие мальчишки, откуда-то появился пьяный мастеровой, оравший: «Всех поубиваю к такой-то матери!» Интеллигенты жались кучкой: поблескивали пенсне, слышались слова: «Равенство...», «Братство...», «Господа, я ничего не знаю!»; на перекрестке Губернской улицы и Бычьего тупика появилась орава лабазников в тяжелых фартуках и с засученными рукавами, с противоположной стороны подходили фабричные рабочие. И чем бы все это кончилось, если бы не...

Вопль «Солдаты!..» прорезал уличный гомон. Солнце вмиг зашло за тучу, захлопнулись в домах рамы и ставни, хрустнуло под чьей-то подошвой пенсне, упала и покатилась женская соломенная шляпка, и — опустела Губернская, лишь две испуганные физиономии у стекла в окне второго этажа. И печатный шаг солдатский все ближе и ближе...

Полковник Рянов всегда избегал смотреть правде в глаза, поэтому шел с закрытыми глазами. Первый залп громыхнул, как майский гром. Зеркальная витрина «Колбасы Ипатьева» разлетелась вдребезги, рухнула к ногам губернатора сбитая влет ворона, нежно и кротко чмокнули пули колокола Сретенского собора. И тут же в пожарной части на каланче взвился вымпел, распахнулись широкие ворота, рванули битюги грудью вперед, запрыгали на колдобинах бочки, мужественно напряглись лица топорников...

Кучер Серафим давно порывался бежать, да как побежишь, если во время взрыва кушак намотался на ногу его высокопревосходительства? Но уж коль засвистели над головой пули, выбирать не приходится. Припустился Серафим без оглядки, только и слышал, как сзади что-то колотится о булыжник и вскрикивает.

Глава следующая

Прозрение

В городе Н. губернатором был немец. Жена его княгиня Мария Георгиевна, урожденная Горшкова, тоже плохо говорила по-русски. Она снача-

ла выучилась французскому, потом английскому, потом немецкому, а когда дошла очередь до русского, ей было уже шестнадцать, и ее мечты и мысли были заняты совсем иным.

Детей — Гришеньку, Наташеньку, Александру и Кирилла — воспитывали гувернеры: немцы, французы и англичане, поэтому дом губернатора в городе Н. был как бы маленькой Западной Европой в беспредельных просторах России.

Губернатор долго ломал голову: если будет война, то с кем? И если с Германией, то за кого тогда он? Ему было жалко расставаться с Россией, он уже привык просыпаться пополудни, до обеда зевать и бродить в шлепанцах на босу ногу по комнатам. Он уже привык к пожарной каланче, на которой сушилось белье брандмайора Орлова, привык к многочисленным престольным праздникам, когда ешь и пьешь во имя святых великомучеников, и главное — ах, какое это блаженство! — к минеральным источникам. Бывало, полежит в ванной день, и такое ощущение, будто стал на день моложе!

Звали губернатора Густав Августович Голц. Немецкая строгость в чертах лица его была уже основательно размыта российской простотой, и от этого внешность Густав Августович имел исключительно приятную. Сочинительством он не занимался, новых порядков не выдумывал и слыл оттого в столице человеком государственной мудрости и надежности. Думать он в служебное время исправно старался по-русски, а поскольку по-русски он понимал плохо, то думал

мало. А на подчиненных он или хмурил брови, или топал ногой, и его отлично понимали.

В тот день, 24 августа, губернатор так хмурил брови, что они опускались ниже носа. И так топал, что в конце концов не сдержался и пустился в пляс.

Перед ним стояли: жандармский полковник Ерофеев, полковник Рянов, брандмайор Орлов, купец первой гильдии Колотилов, банкир миллионер Бурилло, священнослужитель о. Никодим, редактор «Губернского вестника» Водовозов-Залесский и жандармский ротмистр Ворошев.

Знаки различия трепыхались на мундирах, ряса у священнослужителя вздувалась, как парус. Водовозов-Залесский, нарочно надевший черный фрак, теперь жалел, потому что даже фрак побелел от страха. Купец Колотилов лысел и худел на глазах, еще недавно он входил в залу толстым, гривастым увальнем, а сейчас — тощий и перепуганный, суетливо поддергивал штаны, чтобы они не свалились.

Разве что банкир миллионер Бурилло вел себя достойно, да и к губернатору (Густашке) он пришел не потому, что звали, а больше из любопытства: хорошей оперетки в городе нет, цирк уехал, в драматическом театре вчера Отелло спьяну вправду задушил Дездемону, и теперь в помещении (сообразно новейшим достижениям английской криминалистики) повсюду выявляли отпечатки пальцев — скуча!

Пляска губернатора означала: вприсядку —

вот до чего довели! Руки в стороны — вот такая беда грозит нам всем! Руки в боки — вы меня еще не знаете! Прыжки с поворотом — как прикажете доложить Государю Императору?! Чечетка — выражения, не употребляющиеся в печати.

У ворот гоголем прохаживался кучер Серафим. На кафтане новенько поблескивала медалька. В голове роились дерзкие мысли: была ли такая у Суворова? И кто теперь должен первым здороваться, он или околоточный?

— В результате, — диктовал и ходил из угла в угол ротмистр Ворошеев, — установлено, что взрывоопасный предмет, в дальнейшем именуемый бомбой, был изготовлен неизвестным лицом... — «Харей», — мысленно поправляя себя ротмистр, — и предполагался для умерщвления высокопоставленной особы, а обнаружен был в бане...»

Агент 3-й категории Муха, высунув язык, старательно записывал слово в слово.

Эх, сколько судеб Пестряковских передумал Ворошеев в первую бессонную ночь! Представлял его и утопленником, и сгоревшим на пожаре... На крышу даже среди ночи полез, кирпич раскачивал над входом в жандармское управление, так с кирпичом в руке и пришлось спускаться — вспомнил, что, кроме Пестрякова, и он тоже в эти же двериходит! Была крамольная мысль объявить Пестрякова сумасшедшим, но в России испокон веков к мнению сумасшедших прислушивались внимательно.

«Подкупить! Подкупить подлеца! — думал Ворошев, ворочаясь под утро в мятых простынях. — Дать ему сто... двести... А он тебя ровно за двести один и продаст!»

Казалось, выхода не было, казалось, надо было каяться и просить у губернатора помилования хотя бы в долг. Но, слава богу, жид один надумил справить Мухе новые документы, что, мол, Тимохин он Иван Иванович, на службу поступил через день после взрыва. А кто ж ему, черту косоротому, поверит, что он Пестряков, если документы его старые в печку бросить?!

Если бы Ворошев так не любил жидов, он бы его расцеловал! Но стоило ротмистру подумать об этом, как тут же влепил советчику пощечину и потом жалел, что руку отшиб.

Получив новые документы, Муха тоже успокоился и к месту и не к месту повторял: «Меня когда на службу-то определяли, аккурат после взрыва...»

— Написал? — спросил Ворошев, останавливаясь за спиной Тимохина.

— Так точно, вашескобродие.

— Подай сюда.

Ворошев перечитал написанное — как будто складно. Но одного не хватало. Од-но-го! Виновника!

В последнее время Ворошев мог думать только о бомбе. В бане вот уже три дня сидела засада: дюжина голых полицейских с утра до вечера стегала себя вениками, намыливалась, смывалась...

Два раза Ворошеев лично приходил в баню, правда, не раздевался — брезговал. Выливал на мундир шайку воды, крякал, оглядывался. А что тут увидишь? Да еще эти дурни держиморды поначалу вытягивались голопузые и честь отдавали. Тыфу, никакой конспирации!

Накануне опять вызывал полковник Ерофеев, смотрел, не мигая, своими маленькими глазками, молчал, душу выматывал. Знал, что человек сам себя сильнее запутать может. Но и Ворошеев тоже не промах, знал: верный способ успокоиться — считать мысленно деньги. Тогда и выражение лица учтивое, и в глазах серьезность.

Глава следующая

Лица за фикусом

Аристарх Иванович Кашеваров шел по Губернской. И такое у него было впечатление, что она, подлая, выползает у него из-под ног.

Вчера засиделись у Водовозова-Залесского, говорили о судьбах России, поэтому пили исключительно водку. Сегодня пенсне на носу Аристарха Ивановича сидело косо, а в глазах стояла боль, тихая и глубокая, как вода в омуте.

Аристарху Ивановичу было тридцать лет, обычно он выглядел на 29, а сегодня — лет на девяносто. Он был адвокатом, но всю жизнь защищал только себя. Покойный родитель оставил ему 2-этажный дом в Кургузом переулке и 13 тысяч годового дохода, от которых Аристарх Иванович сначала хотел отказаться из-за цифры 13.

Батюшка его покойный занимался торговлей: по весне наполнял Н-ской минеральной водой бочки и обозами отправлял во все концы России. Не ведал только покойный, что возчики, лишь выезжали за город, воду выливали, чтоб ни лошадей, ни себя понапрасну не мучить, ехали порожними, а наполняли бочки уже при въезде в тот или иной пункт назначения из местной речонки или, случалось, из придорожной канавы. От этого у потребителей Н-ская вода считалась особенно целебной: так, в Твери пользовали ее при расстройстве желудка, в городе Згунь (у них мыловаренный завод) считали, что нет ничего полезнее при запорах и тягостных мыслях. А москвичи добавляли ее в керосин, от чего лампы горели ярче, но иногда взрывались.

...Трактир Хвостова стоял на Губернской улице прямо посредине, чтобы никто не мог его ни обойти, ни объехать. Редко кому удавалось прокользнуть мимо, но и того ловили проворные половые, предлагали отведать севрюжью уху, налимьи потроха, грибочки-ядрышки, икру такую-сякую-всякую, ну и для аппетита что пожелаете — рябиновой, можжевеловой, на огурцах настоящей, на тыквенных семечках, на солнце на подоконнике, но особенно хороша наливочка «Хвостовская» — на слезе сиротской, вдовьей, в подвале темном не один год выдержанная. Такой наливочки хряпнешь, и аж шея вытягивается то ли от страсти, то ли сама в петлю лезет.

Хороши бывали также бекон, расстегай, расплюи, копчености всякие, маринады, но лучшее, что было в трактире, это, конечно, самовар. Ог-

ромный, как удивление, сопящий, как паровоз или даже как кит, потому что было в нем что-то живое, и кипяток он отдавал, как кровь свою. Жара от него в трактире была неимоверная, бывало, зимой и печи не топили. Куда он потом подевался, этот самовар? Уже при советской власти, в 25-м году, председатель горсовета Иван Терентьев искал — хотел электростанцию сделать на самоварной тяге — не нашел. И позже любители старины — коллекционеры искали, сколько старух обошли, чего только им не предлагали, а самовара не смогли сыскать. Узнали только, что самовар был медный, а вода в него заливалась холодная...

Кашеваров вошел в трактир, а его ждут уже с подносиком. А на подносике бокальчик специальный опохмелочный — емкость в самый аккурат, вес нулевой, прочность, — выделанный в свое время из дамасского клинка капитана Полосухина.

История клинка-бокальчика проста и поэтична: много-много лет назад молодой юноша Салтык полюбил красавицу Зульфию. Любовь юноши была столь велика, что смотреть на него приходили люди из дальних стран: тянулись караваны из Бухары, Египта, Александрии, привозили хлопок, урюк, тесьму... Так в городок, где жил юноша, попал кусок железной руды. Но сколь велико было чувство юноши Салтыка, столь было оно и безответно. И тогда влюбленный решил убить себя, чтобы хоть этим доставить радость своей избраннице.

Восемь дней и ночей ковал он клинок, прида-

вая ему гибкость стана возлюбленной, остроту ее взгляда и прочность отказа. На девятую ночь, когда клинок был готов, возлюбленная Салтыка вдруг заболела и умерла.

После этого о судьбе клинка ничего не известно вплоть до второй половины XIX века, когда капитан Семеновского полка Полосухин выиграл его в карты у поручика Пуха. На спор, что сталь дамасская, поручик заложил клинок в пушку и выстрелил. Хоронили Пуха со всеми воинскими почестями.

Хозяин трактира Хвостов получил клинок от капитана на ярмарке в Нижнем Новгороде. До сих пор Хвостов вздрагивает, вспоминая, как снежным утром к нему в трактир вошел совершенно голый заинdevевший человек с клинком в руках и попросил взамен опохмелиться и штаны.

Поначалу клинком рубили мясо на кухне, но потом стали замечать: то мясо костлявое, то с тухлинкой... И тогда Хвостов решил, от греха подальше, сделать из клинка бокальчик. И что удивительно, хоть трактирщик и не знал историю любви юноши Салтыка, но бокальчик получился на редкость какой-то крутобокий, изящный, притягательный.

Аристарх Иванович опорожнил бокальчик, сел за столик под фикусом и почувствовал себя словно в какой-нибудь Флоренции. С другой стороны растения, пряча лица за широкими листьями, сидели двое.

Кашеваров наполнил стопку, наколол на вилку грибочек, вздохнул и... перекрестился. В Бога он не верил, потому что однажды в юности со-

вершил нехороший поступок, ждал кары небесной и не дождался, но перед трапезой крестился всегда для аппетита.

Те двое, за фикусом, пили чай. Один из них, глядящий исподлобья даже на баранки, был старый разбойник Чашников (кличка Чашка). Мальчишкой еще он попал к Дубровскому, был на каторге, бежал, опять гремел кандалами. На волю вышел, когда уже ни соратников, ни крепостного права.

Второй — Клюквин, человек идейный, из дворян. Кончил, как он говорил, два университета. То есть взорвал. Лицо у него было, словно он поджидает, когда ему удобнее схватить вас за горло. Роста он был высокого, но сутулый, потому что прятал лицо. Его разыскивали по всей России. Было арестовано три тысячи Клюквиных, а его так и не поймали. Впоследствии его поймает ЧК, и о дальнейшем жизненном пути Клюквина уже ничего не известно.

— Позор! — шипел Клюквин. — Лучшие люди уже действуют, а мы?! Сидим сложа руки!..

Чашников убрал свои кулаки под стол, моргал виновато.

— Истинные сыны народа не жалеют своих жизней, а мы распиваем чаи!..

Чашников подавился баранкой, закашлялся.

— Интересно, что они ставят своей целью? — гадал Клюквин. — Какая у них программа?..

«Прог-рам-ма... — думал Чашников, — перерезать всех богатеев, вот те и вся программа! Пустить им кровя по всей Руси-матушке, и — вся

идеология! А то напридумывали черт-те что, прости господи!»

Чашников потянулся к баранкам, но руки не донес, мураскиrossыпью пробежали от поясницы до затылка. Кожей почувствовал старый разбойник — следят!

Половой Щиплев наблюдал в щелочку из посудомойки. Все было подозрительно — звуки, запахи. Особенно фикус, самовар и господин под фикусом. Уж очень радостно он ел, несмотря на то что в городе третий день траур по выбитому зубу губернатора. Как-то не по-нашему он ел: без жадности, на брюки и на пол ничего не ронял... И раньше Щиплев встречал этого господина, и теперь с ужасом убеждался, что он и раньше вызывал у него подозрения.

Ладони зудно чесались. «К деньгам!» — возбужденно думал осведомитель Щиплев. И не знал он, простофиля, что супружница его Елизавета каждое утро, когда он еще спит, натирает ему ладони солью, чтобы побольше брал чаевых.

Чашка сидел, напруженшившись, по количеству и размеру мурашек пытаясь определить силу опасности. Клюквин соображал: «Сдает старикан — вон как долго за баранкой тянется!»

Хлопнула входная дверь, и в трактире с конским топотом ввалилась толпа полицейских. И не успел Чашка отдернуть руку от баранок, не успел Клюквин выхватить револьвер, как схватили они зазевавшегося Кашеварова и поволокли к выходу.

— А мы без-дей-ству-ем!.. — застонал Клюк-

вин и обхватил голову руками, словно хотел оторвать ее и швырнуть вслед полицейским, как бомбу!

Глава следующая

Молчи, грусть, молчи!..

Губернский город Н. располагался между трех холмов в пологой впадине, сделанной метеоритом «Колючий» в 1799 году. Название Н. дал ему лично император, а основание положили любопытные, сбежавшиеся посмотреть.

Тюрьма в городе Н. находилась в центре, рядом с кладбищем и меблированными комнатами. И как на кладбище и в меблированных комнатах, в тюрьме тоже были места для избранных. Студент Скворцов сидел в камере люкс: окно в два раза меньше обычного, прутья в три раза толще, но, главное, все стены камеры были уклеены портретами Государя Императора в перемешку с картинками обнаженных женщин. Заключенного пытались сломить на сексуальной почве и сразу сделать верноподданным (Ворошев додумался!). Сидящему тут давали вволю есть, пить, подбрасывали игральные карты, папиросы. Самое возмутительное, что в камере была вторая койка, застеленная атласным одеялом. Садиться на нее запрещалось, но каждый час (строго по часам!) входил надзиратель, откидывал одеяло и внушительно смотрел на крахмальную простыню и на бесстыдные картинки на стенах.

Многие заключенные сходили с ума и представляли себя женщинами, двое повесились, а

один — Кустанаев Федор Трофимович, мещанин, проходящий по делу об удушении жены, — заснул вдруг летаргическим сном.

Начальник тюрьмы Акулов Спиридон Дмитриевич — покладистый и незлобивый, но очень любящий свою работу — встретил Скворцова как доброго знакомого, даже отпечатки пальцев снимать не стал, пересчитал только, все ли пальцы на месте. Пожаловался, что дочка на выданье, а с женихами в Н. не густо. Словом, попенял студенту.

К вечеру, как ни жмурился Скворцов, картички на стенах начали делать свое глумливое дело. Повсюду ему уже мерещились женские груди, спины... Единственное спасение — смотреть в лицо Государя Императора. А когда смотришь в императорское чело и молчишь, уже чувствуешь себя рабом. Этого вы добивались, коварные искусители?! Люди без чести и совести!

Скворцов уткнулся в подушку, сжал зубы, и — слезы выступили у него на глазах: от подушки пахло духами! И не простыми, дешевыми, а какими-то нагло зовущими. А посреди подушки (до чего додумались, изверги!) волосок, светлый, длинный, вы ющийся...

Скворцов полез под койку. Здесь, под металлической сеткой с трухлявым матрацем, он почувствовал себя поспокойнее, но (и тут палачи постарались!), когда глаза привыкли к потемкам, обнаружил женский чулок, рассыпанные шпильки...

Зов природы лихорадкой пробежал по телу, взбунтовал кровь, но... путь ему преградили совесть, ответственность, долг перед партией.

И вылез студент Скворцов из-под койки, и подошел он к столу. И взял он в руки оловянную ложку...

Смотрел с портретов на него Государь Император, пялились бесстыжие продажные молодухи, а он, сидя на корточках, упорно точил ложку о каменный пол, делая из нее холодное оружие, чтобы навеки остудить горячую молодую кровь.

Слезы застили взор — никогда не будет у него сына и не будет дочери, никогда не прижмет он к груди внука и не скажет, показывая на старую пожелтевшую фотографию: «А это твой дедуля...» Никогда его правнуки не пойдут в школу с новенькими тяжелыми ранцами и не будут учить историю СССР — государства, пока неизвестного, далеко и желанного.

Но вот ручка ложки стала острая, как голландская бритва. Расстегнул Никита ремень, и упали брюки, как знамя. И взмахнул он ложкой, и — острая слепящая боль обожгла разум и тело, и теплое полилось по ногам...

Даже император на портретах прикрыл глаза, даже бесстыдницы на картинках скабрезных отвернулись.

Загремел засов, вломились в камеру надзиратели, прибежал тюремный фельдшер, портной Николай с иголкой и нитками, начальник Акулов с инструкцией, запрещающей самовольное членовредительство, да поздно, умер студент Скворцов Никита, скончался, а дух его, потосковав немного над бездыханным телом, вылетел в открытую дверь.

Кашеварова — не велика птица — поместили в полулюксе: никаких женских портретов, просто на столе рюмка, бутылка, закусочка кое-какая немудрящая, лист бумаги чистый и карандаш. Хочешь выпить — напиши предложение, и — рюмка твоя.

...К обеду подали горячее: борщ украинский со свининой, утку с рисом, фиг с маслом, обсыпанный жареным луком, жбан квасу поставили. Вилку дали, ложку, китайские палочки на всякий случай (если шпион китайский). Разве тут устоишь?! Взыгрался аппетит у Аристарха Ивановича, и писал он весь день и всю ночь как заведенный. В алфавитном порядке выкладывал он на бумагу фамилии друзей и знакомых, сам выдумывал пароли, явки, и быть бы ему скоро на свободе, не поставил он под номером седьмым Акулова Спиридона Дмитриевича.

Последнюю (отходную) рюмку и соленый огурец принес ему старший надзиратель Гмырь уже в карцер.

Глава следующая

Все люди — братья

Весной н-чане называли свой город «наша маленькая Венеция». Источники разливались как реки, а река Подколодная (названная в честь бывшего полицмейстера) выходила из берегов аж за горизонт, откуда волной пригоняло пустые ящики с иностранными надписями, сломанные реи. Однажды северным ветром пригнало льдину с белым медведем. Несчастное животное очу-

мело взирало на горожан и даже не делало попытки доплыть до берега — наверное, боялось.

...Керимка пришел в Н. поводырем слепца Захария. Умный был слепец, ясновидящий. И поводырями у него были мальчишки смышленые: Митька Селиванов — купец в Ярославле, Мирон Подручный — урядник в Казани, Николка Гуслин — в газетах статьи печатает. Татарского племени Захарий не жаловал: иноверцами да басурманами их кликал, а вот к Керимке маленько-му привязался. Нашел его в степи, видимо, с коня упал. Плачет маленький комочек, скулит, вздрагивает. Взял его Захарий в свои теплые, большие ладони — крохотная душа, а живая...

Понял, конечно, старый, что нашел татарчонка: и запах от тельца крутый, и косточки под кожей вроде те же, ан как-то так устроены, что сразу чувствуется — татарчонок, басурманчик.

Долго бродили они по земле-матушке, христи-радничали, мыкались, вольным воздухом дышали, особенно когда есть было нечего. И привели их пути-дороги в Н. И тут слепой старец взволновался шибко. «Чую, — говорит, — Керимушка, дуновение из земли идет, как из чрева гнилого. Ох, — говорит, — чую, быть беде!» Сказал и умер в одночасье. Лег на пригорке лицом к солнышку, вытянулся в струночку и покинул мир тихо, как виноватый.

До вечерней зари копал Керимка могилу, молча, сжав зубы. Если слеза выкатывалась, вдавливала пальцем ее обратно. Ни о чем не думал, копал. Очнулся, когда углубился метров на восемь.

И неспроста очнулся, а почувствовал вдруг, что земля шевелится у него под ногами, да и не земля это вовсе, а комья какие-то. Набрал Керим этих комьев в суму нищенскую, вылез на свет божий, засыпал яму, а старца схоронил на бережку под ракитой. И только когда воткнул в могильный холмик крестик, из веточек связанный, не сдержался и завыл в голос на всю округу, и смолкли птицы, и окрасила серое небо новая утренняя заря.

Жандармский полковник Ерофеев сидел в специальной комнатке для приема тайных агентов. Чтобы никто не знал, где она находится, строили ее слепые.

Склонив упорную голову, Ерофеев изучал дело редактора Водовозова-Залесского. Либеральничать стал газетчик: пожарную каланчу критиковал, а ведь это самое высокое сооружение в городе — об этом мог бы подумать! К тому же построенное без единого гвоздя, хоть и кирпичное.

Много, много неприятностей! Еще черт племянничка принес — поручика Глебова! Жениться обалдуй вздумал. Да как его, козла, женишь, если он вместо целебной Н-ской воды коньячище чуть не суповыми тарелками хлещет!

И тут, в управлении, рутина, бюрократия, за бумажкой не видят преступника! Сколько раз, бывало, прибежит сыскной: в груди горячо, в мыслях путанно, побыстрее бы рассказать, поделиться, выплеснуть! А пока у секретаря на прием запишется, бланк доноса в трех экземплярах заполнит, да подпишет у начальников, да пока в



Увенчанный



С дедушкой Николаем Евстафьевичем и старшим
братьем Володей



Немецкий почтовый и Витя



Старшина



Гордись службой в ракетных войсках



Молодые писатели на стройке коммунизма.
В. Коклюшкин, Л. Новоженов, В. Альбинин



В. Коклюшкин, А. Иванов, А. Арканов, профиль А. Хайта,
затылки Г. Хазанова и Е. Гердта



Смехсовет в «Московском комсомольце».
Б. Гуреев, В. Коклюшкин, А. Кучаев, М. Казовский,
И. Макаров, В. Альбинин, Л. Новоженов, М. Жванецкий



Молодой и успешный

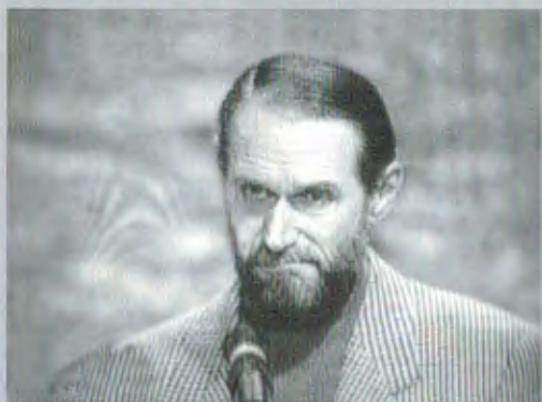


«Театр юмора Плюс»:

В. Коклюшкин, рядом директор, А. Арканов,
Л. Новоженов, Анг. Вовк, Л. Измайлов,
В. Добужский, П. Хмара



С Ефимом Шифриным.
Автор и Арист. Им есть о чем подумать



Насквозь вижу



Таланты и поклонники



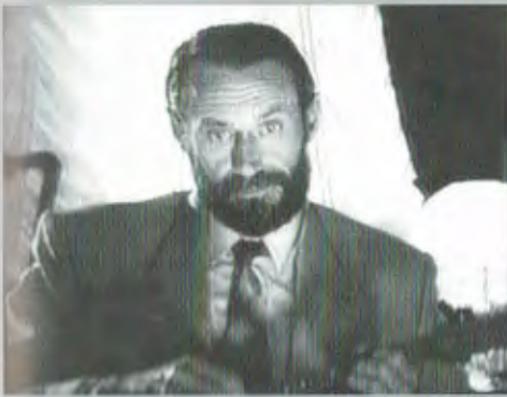
Сценарист в кадре



Артист в кадре.

Телесериал «Дядя Ваня и другие»

(режиссер Олег Коряков, оператор Л. Алексеев)



Трень–брень...
Из телефильма
«Сладкая парочка»
(режиссер
Конст. Владимиров)



Кадры из телепередачи «Юмориста вызывали?»
(режиссер Наталья Дятлова)





Воспоминание о будущем



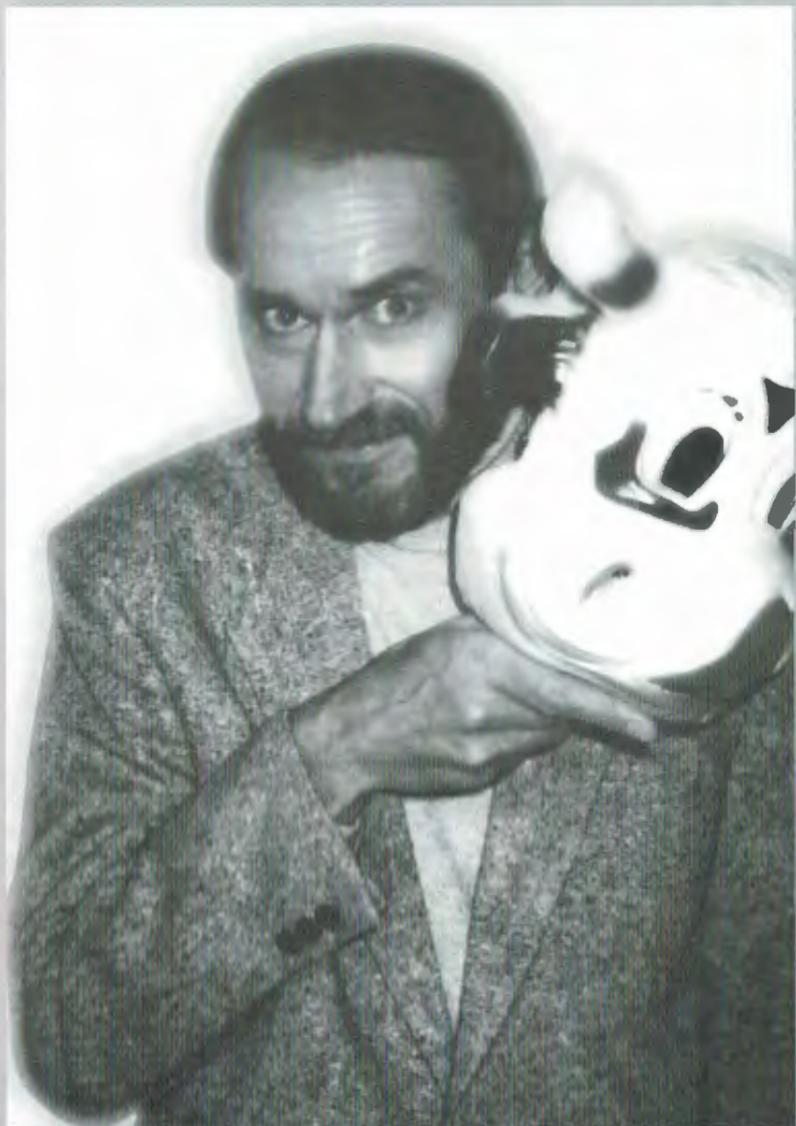
За что боролись?..



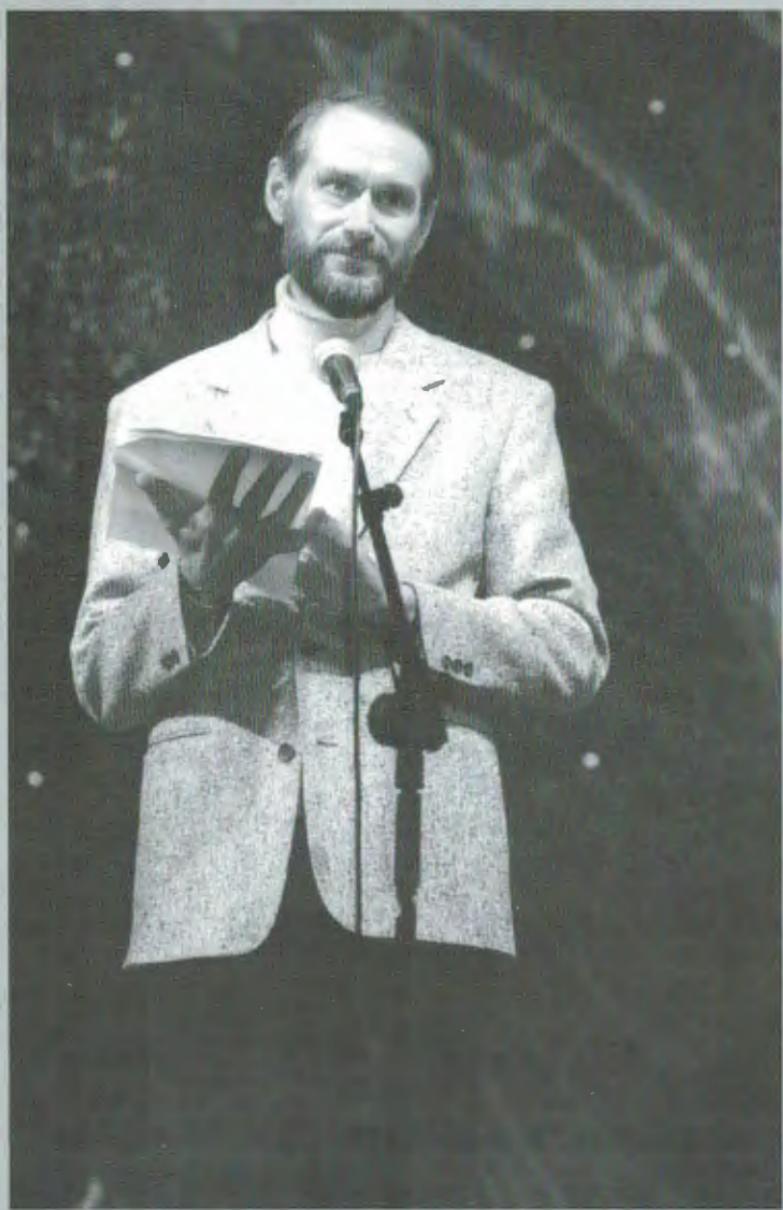
В гостях у Евг. Петросяна в «Смехопанораме»



На сцене концертного зала «Россия»:
Е. Шифрин, В. Коклюшкин, А. Трушкин, М. Задорнов,
М. Евдокимов и молодое дарование



На съемке новогодней телепередачи



Спасибо

очереди посидит, только и скажет, войдя в кабинет: «Здравия желаю...» Эх, Русь, казалось, береешь ты от передовой заграницы все хорошее, но покуда дойдет это хорошее через наши длинные версты в глубинку, дотащится до обыкновенного губернского города, считай, что и не было ничего нового вовсе. Одна блажь, фиглярство и претензии.

Старуха Митрофановна пришла в полночь. Закутанная в рванье, злая, как пес, 24 августа сразу после волнений начала она рыскать по городу: слушать, что люди говорят, наблюдать, что они делают, — не сходилось одно с другим! Губернскую улицу вдоль и поперек сорок раз своей клюкой простукала — и нашла-таки!

Вынула старуха из-за пазухи грязную тряпичку, развернула, и шмякнулся на полированный инкрустированный столик комочек.

Вставил Ерофеев в глаз монокль: что это?! Светится, а если подуть — разговаривает, кинуть — взрывается, погладить — песни поет, кипятком ошпарить — синеет и замерзает, в замерзшем состоянии — хрупкое, в нагретом — тянется, ударить — охает и скрипит, плюнуть — обижается. По весу напоминает металл, по цвету — воду, по запаху — еловую шишку. Но если нюхать долго и старательно, чем-то этот запах начинал напоминать запах минеральной воды Н-ской...

Митрофановна сидела в углу, дула на блюдечко с коньяком, щурилась ласково — теперь-то уж точно ее к званию представят. Тридцать лет она в службе, и одна мечта — получить звание муж-

чины, именоваться почтительно Митрофаны-
чем, пить с мужиками в кабаке водку, таскать за
косу свою бабу, а по престольным праздникам
выходить с гармошкой и орать: «Хас Булат уда-
лой, бедна сакля твоя!..»

Глава следующая

Забытая книга

В Париже я остановился в гостинице «Тверь»,
в последующем переименованной в «Калинин».
Здесь было много соотечественников: молодой
живописец Ружнин, который думал, что, как
только приедет в Париж, сразу научится рисо-
вать; пожилой беллетрист Шмакин, который пи-
сал роман в письмах на родину с просьбой вы-
слать денег, обещая отдать, когда его письма по-
сле смерти будут опубликованы.

На втором этаже в двух смежных комнатах
жили сестры-близняшки Падчерицины. Одна
была старая дева, а другая — наоборот, из-за че-
го происходили постоянные скандалы, так как
мужчины путали их и то получали пощечину, то
поцелуй.

На третьем этаже большую угловую комнату
занимал купец Парfenov, торговавший пенькой
и лыком. Часть товара он хранил прямо в номе-
ре, и частенько ностальгическая грусть гнала
обитателей на третий этаж вдохнуть родной за-
пах, вспомнить детство...

На четвертом этаже, на подоконнике, кварти-
ровал какой-то офицер. Какой именно, сказать
трудно, потому что он пропил не только казен-

ные деньги, но и знаки отличия. Выгнать его боялись, потому что он, если к нему приближались, кричал: «Заряжай!», а от этих русских чего угодно ждать можно.

Еще выше, в мансарде, обитал некто Пламень. Он не говорил никому, кто он такой, но все знали, что он платный агент царской охранки Еремей Алексеевич Грызлов, направленный сюда для изучения причин Великой французской революции. Вкрадчивый в движениях, осторожный в разговорах, постоянно прикрывавший на левой руке наколку «Ерема», он держался особняком, надолго уходил куда-то, после чего от него устойчиво пахло перегаром и парфюмерией.

«Первая причина Французской революции, — доносил он в департамент, — что все участники говорили по-французски».

Доложили Государю Императору. «Нам это не грозит», — заметил он будто бы.

Номер мне достался с окном, выходящим в глухую темно-коричневую стену. Только уезжая, я понял, что это была штора. Когда я отдернул ее — огни, оживленная улица, но... чемоданы были уже упакованы, в кармане лежал билет.

А тогда, в первый день, раскладывая вещи, я обнаружил в шкафу книгу. Старинная, на каком-то непонятном языке...

Зашел спросить, как я устроился, художник Ружнин. Искусство живописи понятно без перевода, и я попросил его перевести мне картинку на первой странице. И был крайне удивлен, услышав, что речь идет о городе Н. И далее: «Ме-

теорит «Колючий» падал необычно, он как бы вскрикнул, прежде чем удариться о землю...»

Остаток дня я неотвязно думал о загадочной книге. Вечером у сестер Падчерициных, когда по обыкновению все собирались на вечерний чай, я спросил:

— А кто до меня занимал этот номер?

Все заспорили и спорили бы до утра, не будь купца Парфенова. Он развернул большую амбарную книгу и с удовольствием произнес:

— У меня здесь все-о учтено... Все-о! Вот... страница сорок один: астроном Андрюшин...

— Но ведь книга написана не по-русски? — напомнил я.

— Вот и нас удивляло, — сказала старая дева, разливая чай, — что вроде русский, а говорить по-русски у нас учился...

Глава очередная

Не в свои сани не садись!

Осенью, когда не было надобности сторожить источники, сторожа с колотушкой Демидова отправляли сторожить кладбище. Демидов любил эту работу. Он бродил по аллеям, останавливался у памятников, читал надписи, эпитафии и разговаривал с покойниками.

— Вот вы, ваше высокопревосходительство, — обращался он к серому камню могилы генерала Грибнова, — изволили меня в позапрошлом году дураком обозвать. Сами вы дурак, господин генерал!

Побеседовав с одним покойником, он шел к

следующему: ругался, философствовал, вспоминал молодость, балагурил, а у могилы юнкера Юркина, убитого три года назад на дуэли, вздыхал, читая эпитафию: «Когда я руку поднимал, я убивать не собирался, я справедливости желал, но вот — в могиле оказался».

Было на кладбище и несколько загадочных могил. В последнее время по ночам из них доносились стоны, стук, а иногда — глухие ругательства. Бывший иеромонах обходил их подальше, издалека наблюдая, как раскачиваются из стороны в сторону темные кресты.

Ему, конечно, и в голову не приходило, что это Клюев и Чашников пробиваются в сторону тюрьмы, чтобы спасти Аристарха Ивановича Кашеварова.

Кашеваров сидел в карцере, вспоминал камеру полулюкс, вздыхал. Вспоминая, что понаписал, вздрагивал... Эх, судьба! За что ты швырнула сюда, в сырость и мрак, Аристарха Ивановича? Чем он хуже Водовозова-Залесского, брандмайора Орлова, чем он хуже тех многих образованных людей, что по всей России пьют сейчас водку и говорят о свободе? Не подозревая, что пьющий уже не свободен... Что он сделал такого опасного, если он вообще ничего не делал?!

Теперь Кашеваров ждал от жизни чего угодно. И дождался — однажды ночью пол в углу под парашей обвалился, и оттуда показалась мокрая голова.

— Собирайтесь, — сказала голова.

Кашеваров, привыкший в тюрьме быстро выполнять все приказания, покорно и торопясь полез вниз.

— Вот вы и на свободе, — сказал голос, когда они оказались в кромешной тьме. — Ползите за мной.

Аристарх Иванович встал на корточки и пополз вперед, больно ударяясь спиной о кости мертвцевов и коренья деревьев.

Вечерело. Край парижского неба рдел над крышами стыдливым румянцем.

Я брел по улице Сен-Мишель к себе в гостиницу, сжимая в руке таинственную книгу, расшифровать которую так пока и не удалось.

Париж!.. Я стремился сюда, чтобы побывать одному, поразмышлять о смысле жизни, хотелось разработать какую-нибудь теорию, например о непротивлении доброму. И вот вместо этого я все время проводил теперь с книгой.

Погруженный в свои невеселые мысли, я неожиданно столкнулся в дверях гостиницы с незнакомцем в пенсне, сквозь которое смотрели испуганные глаза, выдававшие в нем жителя Вятской, Тульской, в крайнем случае Н-ской губернии.

— Кашеваров, — представился он.
— Неужели тот самый?! — ахнул я.
— Нет, — поспешил сказать незнакомец, — другой.

А вниз спускались уже наши соплеменники. Они спешили посмотреть на новичка, вдохнуть

от его одежд запах российских дорог, узнать новости, занять денег.

Получасом позже мы все сидели у сестер Падчерицких, пили чай, слушали рассказы Кашеварова о России. Беллетрист Шмакин читал свое последнее письмо. Пришел с подоконника и пел под гитару офицер. Интересно рассказывал про цены на пеньку и лыко купец Парфенов. Словом, вечер провели чудесно.

Сестры Падчерицки — одна в глухом черном, другая в красном декольтированном платье — заботливо потчевали гостей. Причем, когда веселая и разбитная сестра наклонялась, все мужчины как один отводили взгляд от ее бюста и начинали подчеркнуто ухаживать за ее суровой родственницей, от чего на щеках у той цвели две алые розы румянца и она, поглядывая в зеркало, думала встревоженно: «Уж не чахотка ли это?!»

Не веселился только тайный агент Пламень, он же Грызлов. Плотоядно улыбаясь, смотрел он на Кашеварова; облизывался, когда тот говорил о свободе духа, запоминал, когда тот называл фамилии и адреса.

Глава очередная

С козырями на руках

Играли у полковника Рянова.

Когда метал Водовозов-Залесский, всегда выходили «бубны» козыри, и на него смотрели многоизначительно и с сожалением. Когда сдавал поручик Глебов — красные сердечки «черви», тут все снисходительно ухмылялись. У полковника

Ръянова получались — «пики», а брандмайор Орлов, как ни тасовал колоду, вечно у него были «крести», что вызывало у игроков недоумение и раздражало.

Сели за игру с вечера. Ръянов играл, как воевал: то насмерть бьется из-за копейки, то тыщу ни за что просадит. Водовозов мудрствовал: твердил, что выигрыш его не интересует, скрипел зубами, когда проигрывал, карты свои вскрывал под столом, предварительно поплевав на левый ботинок.

Поручик Глебов с истинно гусарской лихостью швырял на сукно деньги, в чужие карты заглядывал чаще, чем в свои, курил, пил, икал, извинялся.

Брандмайор Орлов шел на взятку, как со шлангом в огонь, внутренне напрягаясь и мысленно прощаясь с жизнью. Когда выигрывал, удивлялся: если проигрывал, тут же обещал себе, что больше за карты никогда не сядет.

К полуночи все проигрались в пух и прах. Игра приобрела отчаянный характер. Ръянов решился и поставил на кон свое слово офицера, Водовозов-Залесский — убеждения, брандмайор — свое исподнее, а Глебов — портсигар с монограммой и имение матушки.

И все проиграли, только брандмайор остался при своих.

Еще недавно было бабье лето, и бабы, и барышни, и дамы ходили с тайной надеждой на что-то... Еще недавно город пыпал листвой, хоть

пожарных вызывай, а теперь... Серый день, серые мысли.

А если серо и слякотно не только в природе, но и в душе? А душа молодая, и она жаждет... Ну что нужно ученому — какой-нибудь микроскоп и козявка, чтобы не спать ночей, чтобы срываться с постели от молодой жены в кабинет записывать каракулями новую формулу.

Поэту нужно вдохновение, землепашцу — дождь или солнце, а поручику Глебову нужны были деньги! Деньги! Деньги!

Это философ понимает, что за деньги не купишь дружбы, любви, таланта и покоя, а молодому поручику, имеющему карточного долга 87 тысяч, — что ему ваш опыт и сантименты? Он думает, что солнце встает только для того, чтобы напомнить о долге, а луна — чтобы отсрочить кошмарный долг до утра.

Утром, когда над Н. еще курились туманом пары минеральных источников, поручик открыл дверь жандармского управления. Был он сам не свой, поэтому поначалу его не узнали, поколотили и обещали тут же выпустить, если все расскажет. Но вовремя появился дядя.

— А ты, — спросил он строго, — что здесь делаешь?

Развел поручик руками, понуро склонил голову. Отступили посторонние, исчезли.

— Ладно, — сказал дядя, — пойдешь к отцу Никодиму, скажешь, что от меня, он тебе невесту найдет. Ступай! Да выведай у него ненароком: не слыхал ли чего об каменях таинственных, что сверкают и взрываются?..

Никто в городе Н. не знал тайн больше, чем отец Никодим. Он знал, кому и с кем изменяет жена купца Колотилова, знал, от кого родился второй сын у губернатора (от губернатора!), знал, сколько ежегодно тратит миллионер Бурилло на содержание примадонны (ни шиша!).

На исповеди женщины отчего-то с большой охотой посвящали его в свои тайны, и он потом, ночью, долго ворочался и, случалось, не мог заснуть до утра.

С Ворошеевым о. Никодим враждовал, потому что тот однажды с жандармской прямотой показался, что переспал с его женой. Отец Никодим отпустил ему этот грех, дома отколошматил свою супружницу до полусмерти, и в тот же день сам поехал каяться в ближний Троице-Введенский монастырь к настоятелю отцу Гермогену, который сказал, что это вовсе и не грех и что если все, кто лупцует своих жен, будут к нему приезжать, то у него свободной минуты не будет. «И потом, надо помнить о всепрощении!» — напомнил он.

Возвращался о. Никодим в таратайке веселый, по пути останавливался, собирал букет, а как вошел в дом, как увидел свою попадью, наклонившуюся над открытым сундуком, так этим букетом и... Прости его Господи!

Бренча шпорами, поручик Глебов размашисто вошел в церковь, широко перекрестился на пышнотелую даму, молящуюся в углу, и прошел в алтарь к отцу Никодиму.

— Батюшка, — просто и с чувством сказал поручик, — жениться хочу: пусть косая, пусть рабая, лишь бы денег было побольше!

— Не богохульствуй, — молвил о. Никодим.

— Я ж с серьезными намерениями — мне много надо!

— Не богохуль...

Поручик склонился к уху священнослужителя и горячо зашептал что-то, для большей убедительности ударяя себя кулаком в грудь, а потом батюшку.

— Хорошо, — поторопился согласиться о. Никодим, — пойдешь в Калашный ряд, найдешь собственный дом Бурилло. А невесту твою зовут... Таня.

Глава следующая

Аленький цветочек

Миллионер Бурилло внешне походил на директора гимназии: осанистый, важный, в золотых очках. А еще тем, что носил в кармане блокнотик и всем ставил в него оценки. Поговорит с кем-нибудь, достанет блокнотик и запишет туда, к примеру: «Сидорчук — пять». Жена скажет что-нибудь невпопад, он достанет блокнотик и запишет: «Н. Ф. Бурилло — два».

Весной, когда расцветали яблони, Иван Васильевич выставлял годовой балл и определял себе друзей и врагов. А служащих повышал или понижал в должности.

Детей у Ивана Васильевича не было. Сначала он грешил на жену, потом на горничную, потом

на кухарку, потом на Софью Ильиничну Орецкую, а потом понял, что судьба обделила его этой благодатью, и взял из сиротского приюта девочку Танюшу, полагая, что если будет сын, он быстро промотает папино состояние, а когда дойдет до внуков, то...

По средам Бурилло принимал гостей. «Буриловские среды» славились обильным угощением и либеральными высказываниями. Здесь можно было встретить весь цвет интеллигенции Н-ска, а также частенько и ротмистра Ворошеву, он приклеивал себе фальшивую бороду, надевал патрик, но всегда забывал снять жандармский мундир. Гости в его присутствии замолкали, и Ворошев, чтобы их спровоцировать, сам начинал громко ругать царскую фамилию и существующие законы. Вдосталь наругавшись, он с удовольствием ужинал и уходил с чувством исполненного долга.

Общество обычно собиралось веселое. А гостям, которые не нравились Бурилло, он давал в долг и больше их не видел.

Стол сервировался на пятьдесят персон, и, согласно оценкам в блокноте, перед гостем ставился тот или иной прибор: хрусталь, стекло, олово... Иван Васильевич строго следил за соблюдением порядка и сам раскладывал перед приборами таблички с фамилиями.

Сегодня, кроме всех прочих, ожидался приезд известного петербургского поэта. Иван Васильевич ждал его, стоя у окна и взирая на проходя-

щих мимо арестантов. Это гнали по этапу из Н-ского острога в далекую Сибирь друзей и близких Аристарха Ивановича Кашеварова.

Но вот показались и гости.

Поэт пришел с огромной свитой.
Был он лохматый и небритый.
Ступал нетвердо и икал.
И все к чему-то призывал.
То проповедовал любовь,
То говорил о днях грядущих.
Ах, если б видел его Пушкин!..
А впрочем, черт с ним, с тем поэтом,
Не будем говорить об этом!

Ивану Васильевичу поэт понравился. Он достал блокнотик, чтобы поставить ему «пять», и неожиданно написал:

Слова сложились в предложение,
Но это не стихотворение,
Стихотворенье — это то,
Что где-то в сердце глубоко
Живет и плачет и страдает,
А человек — не понимает.

Минут шесть он изумленно смотрел на написанные им строки, затем прошел к столу, выпил водки и отправился спать.

Утром Бурилло купил типографию и «Губернский вестник» вместе с Водовозовым-Залесским.

Некоторые женщины торопятся отдать тело, некоторые — душу. Танюша Бурилло к своим 17 годам готова была отдать и то и другое, но кому?

Девушка с мечтательными большими глазами стрекозы, но похожая на кузнечика, она была на редкость впечатлительной и чувствительной

натурой: хрустнет под ее башмачком веточка, а она уже представляет, как где-то на далеком Африканском континенте кого-то заковывают в кандалы. Увидит на улице плотника с топором и представляет, как он дома хлебает щи, а жена, подоткнув подол, полощет на речке белье.

Читала она мало, но времени за книгами проводила много. Она прочтет первую строчку «Был теплый вечер...» и представляет теплый вечер, тарантас, пылящий по проселочной дороге, пьяных мужиков, косолапящих по обочине, и приказчика Федьку в поддевке и картузе, уводящего белошвейку Марусю в молодой густой ельничек.

Она была некрасивая, но добрая и, когда Бурилло давал ей денег, все раздавала бедным. Она предварительно меняла деньги на самую крупную купюру, а потом отдавала ее кому-нибудь из бедных. И тот сразу становился небедным и уже свысока смотрел на бледные Танины щеки и за ее спиной с сожалением говорил: «Да кто ее такую возьмет!..»

Танюша сидела на крыльце и кормила бездомных собак. Собаки знали ее доброту и паслись вокруг трехэтажного особняка стаями.

Поручик Глебов полчаса пробивался сквозь собачьи тела и, когда предстал перед девушкой, был весь в собачьей шерсти и взмокший. Отряхнувшись, он стал смотреть на Таню томным, прожигающим взглядом.

Не только Таня, но и собаки почувствовали волнение и подались назад. На колокольне церкви Вознесения гулко ударил колокол.

— Это стучит мое сердце, — сказал поручик.

Самая маленькая из собак тявкнула и заскулила.

— Я готов на все, — сказал поручик, — на нищету, позор, разжалование в подпоручики, но прошу вас: будьте моей!

Если заря занялась раньше, то сейчас солнце взошло второй раз и осветило Танюшу изнутри, зажгло ее глаза, зарумянило щеки и сделало движения плавными, гордыми, величественными. Она поднялась с крыльца, как царевна, и двинулась навстречу Глебову.

«А ведь красивая баба!» — удивленно подумал он.

Свадьбу сыграли во вторник. Поручик сам себе кричал: «Горько!», целовал всех женщин подряд, а Таня в белом подвенечном платье смотрела на него счастливыми глазами.

Иван Васильевич Бурилло оценил зятя в сто тысяч убытка, которые дал за дочкой в приданое. Чтобы избежать лишних расходов, он на следующее утро напечатает в своем еженедельнике сообщение, что Англия якобы напала на Россию, и к вечеру все воинские подразделения покинут город. Лишь Глебов останется, потому что газет сроду не читал.

Глава очередная

Темная ночь

Преставился старец слепой Захарий, и будто ослеп Керимка.

Много дней ходил он по городу Н., тыкался в

запертые ворота, в спины прохожих, в животы городовых, ночевал где придется, а чаще — в бане. За ночь парная не успевала остывать, подложит мальчонка под голову березовый веник, укроется шайкой — и лежит до утра с открытыми глазами, вспоминает старца Захария, слова его, что все люди братья. А к утру только забудется, каменья в суме начинают колготиться, всегда они к рассвету волноваться начинали, словно на работу торопились. Так, не выспавшись, не помывшись, уходил Керим в город. Милостыню ему никто не подавал — уж больно молод и взгляд дерзкий, на работу не брали. И в бане ночевать в последнее время стало не с руки — засада!

Вот и набрел как-то Керим на заброшенную конюшню. Услышал ржанье, открыл дверь, увидел старика смеющегося. Это Чашка сам себе анекдоты про генерала рассказывал. Да так смешно он смеялся, что и Керимушка невольно засмеялся. Подружились они: мальчик татарский и старый разбойник Чашка. И настолько крепко, что скучать начинали, даже если один по нужде в сторону отходил. Ну и показал Керимушка разбойнику каменья свои волшебные, рассказал, где нашел их, совета попросил, как дальше ему быть...

Стрелки часов показывали 1.00. Была глухая ночь. Изредка с реки доносились короткие вззвизги и всплески. Это топился и никак не мог утопиться Петр Семенович Гмырь — старший надзиратель Н-ской тюрьмы.

Он не мог утопиться, потому что очень любил

жизнь, он входил в воду по колено, взвизгивал и выбегал обратно на берег.

«Вода холодная, — оправдывался он, — была б потеплее, я бы с превеликой радостью!»

Петр Семенович Гмырь, 1863 года рождения, нерусский, неженатый и жадный, был надзирателем по призванию. Еще в детстве, когда другие мальчишки играли в лапту или в бабки, он запирал в чулан курицу или кота и вышагивал у двери с палкой наперевес. А в школе больше любил арифметику, потому что тетради в клеточку. Самоубийством он решил покончить после побега государственного преступника А. И. Кашеварова. Профессиональная гордость не позволяла ему поступить иначе, но и жить хотелось тоже, и он бы, наверное, долго еще мутыл воду в речушке Подколодной, если бы вдруг... не услышал голоса.

К реке приближались двое: один, судя по голосу, был стар и неоднократно судим. Второй среднего роста, красив, юн и значительной физической силы, развитой в нем сказаниями о богатырях.

У ракиты они помолились, юноша страстно, со слезами, старик нетерпеливо. Затем поднялись выше и там, на холме, стали что-то выкапывать из земли. Петр Семенович приглядился, ничего не увидел и от этого вообразил черт знает что! Разволновался и сделал неосторожное движение.

— Кто здесь?! — быстро спросил старый.

— Это голавль играет, — ответил из-за куста старший надзиратель.

Незнакомцы успокоились и продолжали копать. Но вот наконец они выволокли что-то тяжелое (вроде как рыбу в мешке, но откуда в земле рыба?!) и поволокли это тяжелое вниз к телеге.

Конь заржал. Как-то нехорошо заржал, дико. Гмырь взялся натягивать сапоги, шинель. Не было ему теперь иного пути, как выследить лихоимцев!

Глава следующая

Странный человек

Утро в типографии «Губернского вестника» начиналось обычно с разговоров. Печатник Гамза всегда рассказывал, сколько он накануне выпил и с кем подрался, а наборщик Бассейнов — о несправедливости существующего строя и произволе царизма. Слушали их с одинаковым интересом. Затем из конторы прибегал мальчишка-посыльный, приносил рукописи в набор. Теперь все они были стихотворные, и автор у всех был — Иван Бурилло.

Типографские не раз обсуждали это нововведение. Гамза уверял, что во всем виноваты евреи, а Бассейнов говорил о прогнившем самодержавии. Спорили обычно долго и сходились на том, что царь сам еврей! И все англичане и немцы — тоже евреи! А намедни скинулись по копейке и отправили ученика Ванюшку в Ясную Поляну узнать у графа Льва Николаевича Толстого, как жить дальше и можно ли есть говядину, если на нее не хватает денег.

«Губернский вестник»... Бурилло печатал его теперь на мелованной бумаге тиражом в миллион экземпляров и сам же скупал весь тираж, чтобы он не залеживался на полках.

Даже губернатор Гольц побаивался теперь Бурилло, потому что тот, встретив кого-нибудь, с ходу начинал читать стихи. Многие уверяли его, что они глухонемые, но он все равно не отставал, пока слушатель не падал без чувств.

Ночью эскадрон гусар ночевал во рту ротмистра Ворошеева. Устроили засаду в трактире Хвостова, поэтому пришлось напиться. Пакостно, гадостно и мерзко было не только во рту, но и в других органах тоже. Надо было опохмелиться, да нельзя — предстояло идти с докладом к полковнику Ерофееву.

Ерофеев не употреблял спиртного, боялся, что потом потеряется и его не найдут. Маленький рост давал, конечно, и некоторые преимущества: так, террорист Клюквин дважды собирался стрелять в него, но опасался промахнуться.

Нюх на спиртное был у Ерофеева поразителен. Сколько раз, бывало, он спрашивал урядника Мелентьева: «Пил?» — и никогда не ошибался.

Делать нечего, намазал ротмистр сапоги ваксой, не для блеска намазал, для запаха — и пошел.

Ерофеев нынче был не в духе, губернатор требовал гарантii, что покушений больше не повторится. На что Ерофеев отвечал, что «гарантия» — слово нерусское, мужикам непонятное. И предлагал губернатору обнести его дом высо-

ким забором и поставить по краям сторожевые вышки. Гольц не хотел и возмущался.

Необычно задумчив был Ерофеев нынче. Смотрел в упор на ротмистра, а видел камушек волшебный. Так и маячил он у него перед глазами: переливающийся, грустящий, поющий, шишкой пахнущий, а если как следует понюхать — водой Н-ской минеральной...

Чувствовал Ерофеев, что в камушке этом великая тайна, но... какая: полезная для государства, а значит, и для него, или опасная? Сегодня все утро смотрел в таблицу Менделеева, с особым подозрением глядел в пустые клетки и чувствовал — страх! В пустых клетках могло таиться все!

— Ну что еще? — встретил он Ворошеева тоном человека, который знает вдвадцать раз больше.

— Пропал старший надзиратель Гмырь... — доложил ротмистр и прикрыл рот ладонью, от чего та незамедлительно позеленела.

— Еще? — спросил Ерофеев тоном человека, который решил терпеть до конца.

— В городе появился подозрительный неизвестный...

— Один пропал... другой появился, — задумчиво повторил Ерофеев тоном человека, который выше обычновенных земных понятий, — значит... значит, общее количество горожан не уменьшилось...

...А в городе Н. действительно появился подозрительный субъект. Одет он был на первый взгляд обыкновенно: цилиндр, шинель, лапти.

Удивляли разве что его манеры: говорить всем «вы», а женщинам целовать не только руки, но и щеки, уши, спины, ноги... Звали его мистер Х, и был он антрепренером цирковой труппы.

Сама труппа собой ничего особенного не представляла. Среди прочих артистов можно было выделить, пожалуй, чародея Иохима Гурмана, безошибочно предсказывающего судьбу всем желающим, а именно: «Все там будем!»; силача Викулу, бывшего себя гирей по голове и говорившего, что не больно; и, конечно же, Маргариту Горюхову, выступавшую с дрессированными мужьями. Мужей было трое. Поговаривали, что один из них вовсе и не муж, а любовник, но кто — по скучности обличительных черт определить было трудно.

Выступала труппа в балагане на базарной площади. Народу набивалось обычно много, и, когда силач Викула уставал себя бить, его охотно били другие, Иохиму Гурману, который обычно успевал спрятаться, предсказывали его судьбу, что он-то там точно будет, и скорее других, а Маргарите охотно помогали гонять но манежу ее супругов. Особенно нравилось публике, когда муж Терентий с рублем в зубах прыгал сквозь горящий обруч.

На выступлениях своей труппы мистер Х никогда не присутствовал, зато его часто можно было видеть в трактирах и кабаках, где он внимательно прислушивался к разговорам, а чтобы лучше было слышно, щедро угощал всех водкой.

Обитатели парижской гостиницы «Тверь» с удивлением опознали бы в нем нерусского астронома Андрюшина.

Глава следующая

Прозрение

Муха села на стекло и стала чесать лапки. Отец Никодим наблюдал минут пять, ожесточаясь и сжимая кулаки. Затем взял полотенце, свернулся жгутом, треснул по мухе и высадил стекло. Не полностью, по краям остались острые осколки, на один из которых и села муха и стала потирать передние лапки, как бы говоря: «Так, хорошо, одну пакость уже сделали!»

Отец Никодим смотрел на нее, играя желваками. «Скотина, — думал он. — Распустили вас, сволочей!»

Чувство собственного достоинства не позволило ему продолжить поединок с насекомым, он надел пальто, шляпу, галоши и вышел на улицу. Он шел, пряча от прохожих глаза.

«Сейчас, наверное, на диван села, — думал он. — Скотина!»

Отец Никодим — в миру Григорий Иванович Катушкин — был человеком слабым и растерянным. Когда у него случалось хорошее настроение, он хотел сделать людям что-нибудь хорошее (но не делал), а когда плохое — ох, тогда он мечтал, чтоб все провалилось в тартарары! Глаза у него были печальные, а если задумывался — умные. Жалко, задумывался он мало.

Первый робкий снежок запорошил город Н. На окраине, где жила беднота, его было пожиже, а в центре — погуще. А вокруг дома губернатора уже горбатились маленькие сугробы.

Отец Никодим споро вышагивал по Губернской. Из-под черного пальто бабьей юбкой полоскалась ряса. Свежий снежок прилипал к галошам, оставляя темные следы. О. Никодим шел к учителю географии Никифорову узнать кое-что для себя полезное, зело его занимающее.

Учитель географии Никифоров очень любил домашних животных, дома у него жили тараканы, мыши, крысы, а на окнах висели клетки с канарейками, щеглами, кроликами... Отец Никодим ценил и уважал учителя Никифорова за то, что тот со всем, что ни скажет гость, соглашался. А учитель Никифоров ценил и уважал о. Никодима за то, что тот приходил к нему в гости, потому что никто больше к нему не ходил. Встречал он отца Никодима всегда радушно, только просил: «Вы уж, будьте любезны, поосторожнее — на тараканчика какого не наступите».

Домик учителя, одноэтажный с одной колонной, располагался как раз напротив магазина дамского платья. Когда-то в витрине магазина стоял женский манекен с огромным бюстом, и отец Никодим, бывало, проходя мимо, думал: «Вот бы мне такую попадью: и статная, и молчаливая, и — не изменит!» Впрочем, однажды манекен пропал. Горожане строили по этому поводу разные планы, а сторож Демидов, бывший иеро-

монах, только улыбался и после работы торопился домой.

Хозяин встретил гостя, как всегда, с большим почтением. Отец Никодим снял шляпу, пальто, снянул галоши, взял в охапку и прошел в комнату.

— Вот ты думаешь... — начал он.

— Думаю, — согласился учитель.

— Да ты подожди, не перебивай! Вот ты думаешь, почему у нас так много безобразий?

— Почему? — искренне заинтересовался Никифоров.

— А потому, — вдруг изрек отец Никодим, — что народ в церковь часто ходит!

Тут даже Никифоров опешил.

— Нагрешат, подлецы, — объяснил отец Никодим, — покаются — и опять грешат с чистой совестью: грабят, пьянятся, прелюбодействуют!

— Да вы, батюшка, революционер! — изумился учитель Никифоров.

— Не революционер, а пособник, верно, я же им грехи-то отпускаю...

Из угла с каким-то вразумительным достоинством вышла крыса и внимательно посмотрела на отца Никодима.

— Да, — подтвердил ей отец Никодим, — своими устами способствуя делам богомерзким!

Учитель Никифоров погладил крысу, и было видно, что, глядя ее, он сочувствует гостю.

— А недавно дошли до меня вести, что водится в нашей земле такое, что на «вы» отзывается, на «ты» обижается, твердое, как орех, холодное,

как ледышка, а когда нагревается — светится, будто адским пламенем... Вот и не знаю, врут ли часом, или просто обманывают, или действительно существует такое? Ты ученый, как ты думаешь?

— Я?.. — Никифоров задумался. — Я думаю, если такое и может быть, то за границей: у них и культура древнее, и университетов больше. В Риме, думаю, надо искать или в Греции...

— Что ж, возможное дело... — согласился о. Никодим и засобирался домой.

Учитель Никифоров его проводил, подумав о чем-то, достал со шкафа глобус, сдул с него пыль и — отпрянул: вся территория Российской империи была густо усыпана точками городов и населенных пунктов! Будущее великой страны как бы наглядно явилось перед ним, и он, зачарованный, забыл обо всем на свете! И о том, что точки эти оставили мухи.

Глава очередная (крохотная)

Гмырь не сдается

Вот уже седьмые сутки продолжал преследование таинственных незнакомцев старший надзиратель Гмырь.

Он похудел, оброс, истрепался. В деревнях сердобольные бабы подавали ему хлебушка и молока. Сам он не просил, вид у него был просящий.

В селе Окаемове незнакомцы поменяли теле-

гу. Старая обгорела и сильно воняла целебной Н-ской водой. Поликарп Семенович опасался выдать себя, поэтому близко не подходил и лиц не видел, один раз слышал, как старик сказал: «Жизнь! Неужели для этого страшного дела произвела ты меня на свет божий?!» А мальчишка переспросил: «И впрямь ничего-ничего не останется?..»

Ночевать незнакомцы останавливались в избах побогаче. Гмырь ночевал в канавах. По солнцу он определил, что двигались они очень далеко. Ночами, лежа в канавах и глядя в холодное небо, он грел себя мыслями о своем светлом будущем и своем возможном прошлом: «Возможное дело, если б утоп, щука ухи б у мене отъела и нос. А вот узнаю, кто эти те и что они куда, тогда вообще!»

А незнакомцы поутру садились на телегу и везли свое что-то дальше.

Глава следующая

Светит, да не греет

Танюша Глебова-Бурилло зачала в первую ночь. Весь день она теперь шила распашонки, чепчики, а вечерами, покачивая живот, пела колыбельную:

Что случилось, что случилось?
Кошка мышкой подавилась.
Надо кошке меньше есть,
Сохранять живот и честь.

(Автор И. В. Бурилло)

Глебов пропадал то в заведении мадам Буфф, то его видели с балериной заезжей оперетки Эльвириой Швидко, говорили, что в трактире Хвостова каждый вечер для него поет цыганский хор Саши Корякина и что он платит им не за песню, а за каждую умильную слезу.

Но Таню это не смущало. Что бы ни сделал муж, все ей казалось необычным, замечательным и достойным восхищения.

Кормилица Зоя ходила гулять с Таниным животом к источникам. Играли духовой оркестр, барышни, укутав лица в меховые воротники, озорно поглядывали на встречных молодых людей, девочка каталась на салазках... И Таня тоже радовалась жизни и замечала, что тут, у источников, движения ребенка в животе становились мягче, и сам он рос не по дням, а по часам, будто торопился на волю, чтобы о чем-то предупредить свою матушку.

Деньги имеют ту особенность, что чем их больше, тем они быстрее исчезают.

Как осенью роняет лес багряный свой убор, так и 100 тысяч приданогосыпались красными червонцами, желтыми рублями... Еще вчера деньги раздражали тем, что не помещались в карманах, а сегодня... Хотел в ресторане «Марсель» поручик Глебов швырнуть в лицо «человеку» пачку кредиток, сунулся в бумажник, а там, кроме подкладки, ничего нет!

Первой его мыслью было застрелиться, второй — застрелить кого-нибудь и отобрать деньги.

Из двух зол он выбрал меньшее.

Меблированные комнаты «Россия» держала вдова полковника Корзухина Мария Питилимоновна Швах. Полковнику Корзухину она досталась с прочим трофеем имуществом во время Крымской кампании 1855 года. Приглянулась она полковнику — этакая ватрушка заграничная, и главное, по-русски не понимала ни бельмеса и он смело мог в ее присутствии говорить о военных тайнах и ругаться.

Русскому языку мадам Швах училась у своего супруга, поэтому употребляла в своей речи исключительно армейские выражения: «Аллюр», «Равняйсь, смирно», «Как стоишь, скотина!» и другие. Особенно ей нравились мужчины, умеющие скакать верхом и стрелять из пистолета. Этим она готова была отдать все. И отдавала.

Российское офицерство знало ее слабость, и в меблированных комнатах постоянно квартировал полк отборных молодцов. Германия неоднократно направляла ноты протesta по поводу со-средоточения воинских сил. Это льстило Его Императорскому Величеству, и царь подумывал организовать подобные бастионы по всей территории Российской империи.

Осуществить свои планы ему не удалось. Впоследствии в архивах была обнаружена записка «Было бы неплохо...», но что помешало царю закончить, так и осталось неизвестным.

Жуткую бессонную ночь провел поручик Глебов. Мадам Швах тянулась к нему с объятиями, а он ходил по комнате необычно задумчивый, строгий.

Трудно сказать, как бы поручик Глебов про-

явил себя во время боевых действий. Скорее всего, он бы спьяну оказался в тылу неприятеля и с громкими криками «Ура! начал бы приставать к женщинам; а может быть, поднял упавшее знамя и только после боя разобрался бы, что оно чужое; а может, вынес бы из сражения раненого командира, как не раз выносил его из ресторана «Марсель».

Мадам Швах тянула к нему влюбленные руки и шептала: «К торжественному маршу!.. Справа, в колонну по одному...» — а он хмурил брови и вышагивал из угла в угол, заставляя себя решиться на задуманное.

...Банк «Бурилло и К°» располагался, конечно же, на Губернской улице. У банковского подъезда, как водится, лежали два мраморных льва. У левого морда былазывающе хамская (поговаривали, что скульптор ваял, глядя в зеркало), а у другого, с отбитым ухом и выщербленным глазом (телега ломовика наехала), вид был виноватый, словно ему стыдно за своего собрата.

У входа в банк поручик Глебов надел черную маску, попросил прохожего завязать тесемки и смело вошел в дубовые двери.

Служащий банка Прохоров — старенький и с большой оттопыренной нижней губой, потому что часто мусолил палец, пересчитывая деньги, — как только поступил в банк 30 лет назад, каждую секунду ждал, что вот сейчас откроется дверь и войдут грабители. Он ждал так долго,

что, когда увидел Глебова, слезы радости выступили на глазах старика.

— Стреляю без предупреждения, — предупредил Глебов.

— Не надо, — попросил Прохоров, — все, что я знаю, я скажу, а знаю я мало.

— Считаю до трех, — предупредил Глебов. — Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

— Банк обанкротился, — сказал Прохоров. — Мне самому жалованье не платят. Поэзия... поэзия проклятая погубила! Вместо доходов сплошные убытки.

Послышались шаркающие шаги, и появился сам Бурилло. В одной руке он держал счеты, в другой — листок бумаги.

— Дмитрий, что тут происходит?

— Вот, грабят... нас, — доложил Прохоров.

Бурилло покорно глянул на грабителя и протянул ему счеты.

— Это все, что у меня осталось...

Обескураженный поручик взял счеты и отступил к двери.

— Это из последнего... неопубликованного, — произнес хозяин с печалью. И продекламировал:

Налейте чашу пополней,
Насыпьте в нее яду.
Я выпил горечь прежних дней
И в гроб спокойно лягу.

Куда несет меня волна
Нелегкого призыва?
Забыть, заснуть бы навсегда
От боли и отчаянья.

Но вот приходит новый день.
За ним другой и третий...
И позади крадется тень,
Как призрак из столетий.

Екнуло сердце у поручика Глебова. «Как про меня написано!» — подумал. Хотел выстрелить для острастки в потолок, но... дрогнула рука, и попала пуля прямо в молодое гусарское сердце... И пискнуло оно болью, и увидел на миг Глебов всю свою жизнь, и была она такая маленькая, такая незначительная, как игрушечная.

Тело поручика Глебова было доставлено для опознания в городской морг. Нескончаемой чередой двигались мимо женщины, дети, старушки, многие узнавали в нем мужа, отца, сына, но не останавливались, а торопились дальше.

И только Танюша Бурилло, как вошла, как увидела... прошептала искусанными губами: «Милый ты мой...», обняла его холодные в нательной рубахе плечи, поцеловала крестик на шее, глаза поцеловала, полежала на груди его, затем поднялась с колен, отряхнула машинально юбку и... да, да, на глазах у всех вывела из морга маленького мальчика лет двух-трех, с тщательностью одетого, причесанного, в новеньких хромовых сапожках. У входа она оглянулась, положила ладонь на голову мальчика и тихо сказала: «Попрощайся с папочкой, Глебушка».

Все, кто наблюдал эту сцену, а здесь находились и полковник Рянов, и Водовозов-Залесский, и брандмайор Орлов, и, конечно, жандарм-

ский ротмистр Ворошеев, и многие-многие другие, все были поражены и простояли в молчании минут пять. И только после этого стали расходиться и все норовили в одиночку, и бегом, бегом...

На следующее утро в дорожном платье, провожаемая лишь собаками и кормилицей, бережно ведя одетого в дорожное мальчика, Танюша Глебова-Бурилло покидала город.

Иван Васильевич Бурилло вышел на крыльце проводить, помахал рукой, достал свой блокнотик, всем поставил «пять», а поручику Глебову, подумав, даже «5+».

Отпевал усопшего отец Никодим, подпевал ему цыганский хор Саши Корякина.

А Танюша Ивановна повезла своего мальчика в Европу, обучать наукам, хорошим манерам и — любви к родине. Потому что где еще научишься ее любить, такую непутевую, как не за границей?

Глава очередная (крохотная, но важная)

Счастье

Нет, ты представляешь, Керим, нашу землю, — мечтал Чашка, — где нет ни богатых, ни бедных, вообще никого нет! И только робкая травка пробивается на очищенную почву, только первые червячки и птахи небесные, и солнце светит с неба на всю эту благодать, и ангелы, ес-

ли они есть, а они есть, Керим, я верю, они резвятся в голубом небе с чистыми душами убиенных праведников и страдальцев, они показывают им обновленную землю и говорят им: а все это сделали святые Керим и Степан Чашников!

Керим плакал горючими татарскими слезами. Всхрапывал конь и косился на поклажу. Рвал на груди рубаху Чашка, семенил за телегой Гмырь, стараясь все запомнить, и... тоже плакал, потому что уверен был, что, когда старик говорил про души праведников и страдальцев, это он говорил и про него тоже.

Катилась телега, подпрыгивая на меридианах и параллелях в сторону далекую, место тихое, серединное. Без конь Абрек поклажу страшную, диковинную, людей отчаянных и мечту их грандиозную — заложить поклажу страшную в самую сердку земного шара и взорвать его к чертовой матери! Во имя будущего счастья.

Глава очередная

Дом с привидениями

В Н-ске было все, что бывает в губернских городах, в том числе и дом с привидениями.

Дом этот много лет назад построил граф Лбов для своей любовницы Элеоноры Блистательной. Весь второй этаж занимала кровать; первый — гостиная. А в подвале был кабинет, где граф в темноте подсчитывал расходы.

Фасад здания украшали лепные картинки из любовной истории графа и Элеоноры: первая

встреча, первый поцелуй руки, первое объятие и т. д.

Однако Блисталтельная недолго прожила в этом доме, потому что однажды (как уж это получилось?!) на фасаде появилась еще одна сценка, изображавшая любовницу графа в объятиях молодого корнета. Граф не смог вынести позора и скончался через шесть лет в своем имении на восемьдесят седьмом году жизни. Особняк тогда же был продан с аукциона и достался купцу Колотилову.

Колотилов распорядился сколоть с фасада все шаловливые картинки и оштукатурить заново. Но после ремонта картинки проявились опять, и плюс к ним сценки, изображавшие уже купеческие тайны. Тогда Колотилов решил совершить хороший поступок, чтобы и он отобразился на фасаде, долго мучился, орал на родных и близких, что они его не понимают, не ценят, и... в конце концов оставил особняк на произвол судьбы, а себе построил новый.

Рельефы на фасаде сразу покоробились, потрескались, как-то обнажилась сущность отношений покойного графа и обманувшей его женщины. Например, в «первом поцелуе руки» получалось, что Блисталтельная показывает старому волоките кукиш, а он внимательно принюхивается.

И вскоре все забыли о доме, хоть и стоял он в центре города, рядом с торговыми рядами и пожарной каланчой.

В последнее время в особняке начали проис-

ходить странные вещи: по ночам слышались глухие удары, в окнах горел свет, и не от керосиновых ламп, не от свечей шел он, а будто луна светила из окон на улицу — холодный свет, синий...

Агент Муха два дня ходил вокруг дома кругами, прислушивался, приглядывался. В полночь, когда луна зашла за пожарную каланчу, поднялся по ступенькам и заглянул в замочную скважину.

Он увидел освещенное голое помещение, шахтерскую клеть, вагонетки, транспарант на неизвестном языке. Сверху, со второго этажа, спустилась Маргарита Горохова с мужьями, все в шахтерских касках, брезентовых робах. Прибежал откуда-то Иохим Гурман, расстелил на столе чертеж.

Из подвала поднялся мистер Х с силачом Викулой. Мистер Х был озабочен, чем-то подавлен. Викула внимательно рассматривал булыжник.

Иохим Гурман стал что-то убежденно им объяснять. Муха прислушался. Слов разобрать было нельзя, он приставил к скважине ухо. Говорили не по-нашему, как-то гортанно и коротко, будто друг другу отдавали военные команды.

Муха слушал встревоженно и внимательно и не уследил, как с той стороны вставили ему в ухо ключ и начали поворачивать. Должно быть, открывал силач Викула, потому что он легко крутился агента вверх ногами и толкнул дверь так сильно, что припечатал агента к стене, как фреску.

«И все это за тридцать рублей плюс одежа!» — подумал Муха, он же Тимохин, он же Пестряков.

Он провисел до утра, и только когда взошло солнце, отлепился и тихо сполз на ступеньки. Последние мысли у него были плоские: о новом зимнем пальто, которое теперь достанется свояку, о грыже, которую так и не успел вырезать...

...В последние дни ротмистр Ворошеев стал особенно лют, даже девицы в заведении мадам Буфф жаловались — кусаться начал. А все творческая неудовлетворенность — Кашеваров сбежал, Скворцов выскользнул из рук, Чашки — след простила, Клюквин, судя по всему, что-то жуткое замышляет, потому что совсем пропал. И в кабинете Ерофеева все время какие-то странные разговоры происходят, вроде бы никто не входил к полковнику, а прислушаешься, там: бу-бу-бу, хлюп-хлюп-хлюп, гы-гы-гы... Не иначе, заговор! Как же он раньше не догадался! И фамилия у Ерофеева странная — Еро-фе-ев... Ев-ро-пе-ев... А может быть, Евреев?!

Подкараулил ротмистр удобный момент и, когда в кабинете опять забубнили, резко распахнул дверь.

«Извините...» — только и успел сказать изумленный. Что-то яркое, живое мелькнуло в руке жандармского полковника, и... куда спрятать — некуда! — сунул Ерофеев это в рот и... проглотил. И забурчало что-то у него в животе жалобно, и смолкло, и вытянулось лицо в испуге, и в глазах мелькнуло что-то, словно птица какая улетела в глубь души.

Глава следующая (малюсенькая)

В ногах правды нет

Уже черт знает какие сутки надзиратель Гмырь преследовал таинственных людей. Изголодался, оброс шерстью, откликался на кличку Шарик. Многое постиг, многое понял, но мог теперь только лаять и скулить.

Чашка за это время сильно сдал: разбойные, окаянные очи его погасли, глядел старичиком тихим, благообразным. Встречные старухи просили: «Благослови, батюшка», он осенял их крестным знамением, потом долго смотрел на свои персты, вздыхал, плевался.

Керимка за время пути повзрослел, стал задумываться. Однажды спросил Чашку: «А почему люди делают другим плохо, ведь это же нехорошо?..»

Катилась телега, косил испуганным глазом, всхрапывал конь; брехала и выла по ночам невесть откуда взявшаяся собака Шарик.

Глава очередная

Ваше здоровье, господа!

По Губернской улице, пряча лица в поднятые воротники, шли крадучись друг за другом бомбист-террорист Клюквин, жандармский ротмистр Ворошеев и мистер Х.

Они вошли в трактир Хвостова и сели за стол под фикусом.

Народу в зале было немного. В углу, обнявшись, сидела парочка: бывший иеромонах Демидов и манекен из магазина дамского платья. Демидов жарко обнимал манекен и ревниво поглядывал вокруг.

Чуть поодаль, у окна, сидел обанкротившийся банкир Бурилло и, глядя на запотевшее от самовара стекло, сочинял стихотворение: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь лежит...» Стихотворение ему не нравилось, как ему казалось, мало в нем было проникновенности, глубины и строчек.

Ближе к двери сидел агент Митрофаныч и внимательно слушал исповедь молодого расхристанного человека. Сквозь слезы тот рассказывал: «Мои покойные родители — граф Лбов и кордебалет ростокинского театра — очень меня любили...»

Хозяин трактира Хвостов, возвышаясь за стойкой, зорко поглядывал за половыми, заводил сломанный граммофон и, чтобы никто не догадался, что он сломанный, сам пел громко: «Степь да степь кругом, путь далек лежит...»

Оказавшись за одним столом, Ворошеев, мистер X и Клюквин делали вид, что интересуются только выпивкой и закуской, поэтому пили все трое много.

Клюквин после каждой рюмки мрачнел и бил кулаком по столу, рюмки подскакивали, сидевшие подхватывали их и выпивали. Ворошеев прикладывал палец ко рту и говорил: «Тыс-с... государственная тайна!» А мистер X подливал им,

а в себя опрокидывал механически и даже не морщился, и даже не крякал, что-то в его движениях было холодное, расчетливое.

Вскоре Ворошеев стал забалтываться и разглашать служебные секреты. «Камни, — бормотал он, — с-сволочи, разговаривают, как люди! И сажать их тогда, к-как людей!» Клюквин, мрачный до черноты, сверкал яростными глазами, бил в стол, рюмки подпрыгивали.

Мистер Х жадно прислушивался к речи Ворошеева, правое ухо у него покраснело и вытянулось трубочкой.

— Аб...аб-наглели! Даже к-каменья р-разговаривать стали! Всякая с-скотина право голоса требует!

Мистер Х аж дрожал весь.

— Ну?! Ну?! — подначивал он Ворошеева и подливал.

— В Сибири сгно-ю-ю! — завыл ротмистр, покачнулся и ухватился за плечо Клюквина.

Клюквин вне себя вскочил и выхватил револьвер. Сторож Демидов заслонил манекен грудью, хозяин трактира Хвостов спрятался за самовар, самовар потускнел и закапал из кранника, половые бросились на пол, агент Митрофаныч вмиг выскочил за дверь и засвистел в свисток, несчастный сын кордебалета закричал: «Ма-ма!..»

— Пушкин!.. Лермонтов!.. Теперь вы хотите убить меня!.. — дерзко выкрикнул Бурилло.

Клюквин выстрелил в Ворошеева, но еще раньше, буквально секундой, тот упал со стула. Пуля взвизгнула от обиды и улетела в посудомой-

ку, отрикошетила от чугунной сковороды, перелетела в швейцарскую, там обнаружила под кроватью осведомителя Щиплева и впилась ему в тело, продырявив сзади штаны.

Щиплев заголосил так, что попадала посуда, поднялись в воздух со столов скатерти, облетел фикус, починился сам собой граммофон и дико запел из большой трубы: «Имел бы я златые горы да реки, полные вина, все отдал бы за ласку взора, чтобы ты владела мной одна!..»

Мистер Х подхватил распластавшегося и уже похрапывающего под столом ротмистра и поволок к выходу. Навстречу им ломилась толпа городовых...

На следующее утро тело ротмистра Ворошесова было обнаружено в городской бане. Голое, закутанное в чистую простыню, оно лежало на лавке и глядело в сырой потолок остановившимися стеклянными глазами. Заглядывая ему в глаза, каждый видел свое отражение, морщился, крестился и торопливо отходил.

В тот же день вспыхнула пожарная каланча. Как потом рассказывали очевидцы, пожар начался с кальсон брандмайора Орлова, развесанных на каланче для просушки, затем перекинулся на вымпел и охватил все здание. Кирпич, сделанный из местной глины, горел весело, словно того и дожидался.

Пожарные выводили перепуганных лошадей, выкатывали повозки, выносили обмундирование, а брандмайор Орлов смотрел на бушующий

огонь, как Наполеон на пожар Москвы, и думал: «Плохая примета!..»

Этой же ночью крыса Гоша покинула город Н. Лишь учитель географии задул лампу и вытянулся под скучным холостяцким одеялом, она вышла из своей норы и по-английски, не прощаясь с тараканами, мышами и прочими, покинула дом.

Вслед за Гошей, сначала поодиночке и неохотно, а потом, под утро, шеренгами пошли и другие крысы. Сторож Демидов рассказывал, что их было так много, что казалось, будто мимо движется сама бульжная мостовая.

Глава последняя

Пришла весна...

Однако странная весна выдалась в том году в Н-ской губернии. Снега вроде было много, а когда растаял, река Подколодная не вышла из своих берегов. Не было в том году ни белых медведей на льдинах, ни ящиков с иностранными надписями... И что самое печальное — источники! Н-чане даже и не заметили, как ушел, испарился из города их дух минеральный, не взбулькивали они больше, не пенились по краям кружевами, а превратились в простые лужи.

Поползли по городу слухи. А ползают они по своим тропинкам. И вот уже в доме у о. Никодима за завтраком высказывалась его попадья более чем революционно: «Иноверцы виноваты, — говорила она убежденно, — опаскудили землю своим пришествием, вот и ушла святая вода!..»

А в доме его высокопревосходительства генерал-губернатора Гольца как-то больше улыбок и наглости появилось в глазах лакеев, дескать, наши-то допрыгался — ему, сукину коту, источники доверили, а он!..

Сам губернатор со свитой неоднократно приезжал осматривать лужи, а что там увидишь — грязь одна. Не знал он, на что подумать, и сообщил в Санкт-Петербург депешей, что рад и далее верой и правдой служить царю и отечеству.

А террорист Клюквин уже более не таился. Ходил по улицам открыто, сверкал глазами, щелкал зубами, говорил верным людям: «Пора...»

Лошадь пала под Игаркой, телега под Усть-Кержачом, оглобли несли до реки Анадырь, там бросили.

Шарик в пути окончательно озверел и одичал, прибился к стае волков. В жуткой схватке, вспомнив все, чему его учили в полицейской молодости, перегрыз горло вожаку и занял его место в стае.

Стая еще долго преследовала Чашку и Керима. Чашка стрелял в них из револьвера, и только когда кончились патроны, волки отстали. «Теперь все равно пропадут!» — думал вожак Гмырь, он же Шарик.

Каменья нести было уже не под силу, и их оставили в охотничьей зимовке. Лишь когда отошли версты три, вспомнили, что идти-то вперед без каменьев нет проку, но возвращаться не стали — пути не будет!

Они шли, шли и вышли наконец к морю.
Длинные внушительные волны накатывали на берег.

Долго и мучительно вязали плот, а когда он был почти готов и Чашка затягивал последний арестантский узел (это когда делается петля для шеи), подул внезапный ветер, да такой силы неведомой, что где вода, где небо, где жизнь, а где уже смерть — не разобрать! И подхватило плотик волной и унесло вместе со старичком Чашниковым в тьму бушующую, кромешную, в память добрую. А юноша Керим остался на берегу. Он метался, кричал. Порывался кинуться вслед, но волны отшвыривали его назад, словно хотели сказать: «А ты куда?! Не в свои дела не суйся!..»

Эпилог

Я стоял на смотровой площадке Эйфелевой башни, смотрел на парижские крыши, и мне вдруг начинало казаться, что там вдалеке, за крышами, если приглядеться, я увижу желтое пшеничное поле, зеркально мелькнет извилистая речка, а если приглядеться еще зорче — светлое завтра своей страны...

Карман пальто оттягивала неизвестная книга. Она будто оттягивала мне душу. Немец проявил бы упорство и все-таки расшифровал ее, американец — продал, итальянец, благоговея перед тайной, отнес в Ватикан, папуас Новой Гвинеи проделал бы в ней дырочку и носил на шее, радуясь красоте невозможной, а я вытащил ее из кармана и, облегчая душу, кинул вниз.

Но... что это?! Книга раскрылась, взмахнула крыльями обложки и полетела, полетела вдали. А я, вместо облегчения в душе, почувствовал пустоту. Которую быстрее хотелось чем-то заполнить, но чем? Чем?!

1982

(тысяча девятьсот восемьдесят второй) год.
37-й от рождения автора

Победителей не судят

Роман





Если рассказать правду, никто не поверит. Если наврать с три короба — скажут: это мы и без тебя знаем! Остается единственное — постараться, чтобы тебя поняли правильно.

Глава первая

Тунгусская тайна

— Впервые мысль о том, что Тунгусский метеорит надо искать в другом месте, пришла мне в детстве, — начал Николай Николаевич.

Мы сидели в его уютном кабинете на ул. Гарibalди.

Николай Николаевич любил комфорт. Он часто повторял, что одно и то же слово, произнесенное в разных стенах, имеет разный смысл. И приводил в пример слово «есть», произнесенное в казарме, в столовой и в магазине.

Мне нравилось бывать у него в гостях. Зимой в кабинете тихо, покойно, свет мягкий. Сидишь в старом большом кожаном кресле, смотришь в окно на улицу, от батареи парового отопления густое тепло окутывает ноги... Летом, когда окнокрыто, в комнате свежесть, прохлада, легкий ветерок шевелит занавески. И даже если под высоким потолком жужжит муха, то присутствие ее не навязчивое, а умиротворяющее.

Любил я ходить к Николаю Николаевичу. Переступая порог кабинета, я сразу попадал в дру-

гой мир — значительный, манящий, таинственный. В моем маленьком мире были: начальник, жена, телевизор, который показывал мне то, что я не хотел; соседи по дому, с которыми я здоровался, вкладывая в слово «здравствуйте» смысл слов «меня не трогайте, я вам не мешаю». И — деньги, которых почему-то всегда не хватало, и о них приходилось думать чаще, чем о самой жизни.

— Еще в детстве, — продолжал Померанцев, — кажется, в шестом классе, я поставил простой и удивительно реальный опыт: я взял предмет, по весу напоминающий так называемый Тунгусский метеорит.

— Тяжелый?

— По весу... по отношению к географической карте, это была головка обыкновенной спички. И бросил точно в то место.

— И?.. — я привстал с кресла.

— Каково же было мое удивление, — продолжал Померанцев, — когда головка спички не приклеилась, а отскочила.

— Значит?! — вымолвил я.

Николай Николаевич сидел за письменным столом и курил. Он курил трубку, поэтому паузы между фразами бывали большими, особенно когда трубку приходилось раскуривать.

Я поднялся и в возбуждении заходил по кабинету. Ходить по кабинету была привилегия Померанцева: руки за спиной, голова скорбно и задумчиво наклонена. Походит, остановится у книжного шкафа, достанет, допустим, томик Шекспира, любовно откроет его, прочитает

что-то и скажет: «Прав, тысячу раз прав Вильям!»

Я прошелся от окна к двери и остановился перед Николаем Николаевичем с открытым ртом.

— Да! — ответил он на мой молчаливый вопрос. — Она отскочила и упала... — Он взял записную книжку, нашел нужную страницу. — И упала в районе села Па-хо-мо-ва...

— Так что же вы... столько лет?!

Померанцев захлопнул книжку, изящным жестом бросил ее на стол. Затем встал и подошел к окну.

Было лето. В самом только начале. Ветка берескы трепетала перед окном нежными листочками. Николай Николаевич задумчиво потянулся к ней, не достал.

— Но почему?! Николай Николаевич, почему?!

Он повернулся ко мне. Я будто впервые увидел его высокий лоб, нос чуть удлиненный, с горбинкой, и глаза... красивые глаза цвета оцинкованного железа.

— Я боялся, — вдруг просто и честно сказал он. — Я боялся, что это может раз и навсегда круто изменить мою жизнь.

— А теперь?! — вырвалось у меня.

— А теперь... жизнь прошла, — горько усмехнулся он, и то ли солнце зашло за облако, то ли...

Дома, как только вошел, я спросил жену:

— Маш, как думаешь, вот почему до сих пор не нашли Тунгусский метеорит?

— Ага... — сказала она, — опять ходил к своему Николаю Николаевичу? Ешь теперь холодное!

И ушла спать.

Медленно и не замечая, съел я остывший ужин, а потом достал с антресолей географическую карту, расстелил на полу и сел на стул. Сидел над картой, как Бог на небе. Смотрел, улыбался.

Неожиданно раздался телефонный звонок. Я на цыпочках прошел в коридор.

— Не спиши? — услышал голос Николая Николаевича.

— Так ведь...

— И мне тоже не спится. Слушай... — Померанцев на секунду запнулся. — А если нам с тобой туда... съездить?

И тут только я понял, что ждал этого предложения. Ох, страшно мне было сказать «да», и очень хотелось, и так манила меня сладкая неизвестность, что я вдруг засмеялся. И Николай Николаевич тоже засмеялся. Мы смеялись друг другу в ухо заговорщицки и радостно минут пять. Потом Николай Николаевич, посерезнев, сказал:

— Едем послезавтра! А сейчас — спать! — вздохнул и добавил: — Кто знает, когда нам теперь удастся как следует выспаться...

Он положил трубку, а я свою долго еще держал в руке. Я даже два раза подносил ее к уху, ожидая услышать, что он пошутил, но слышал только гудки. Они были какие-то новые, тревожные, торопили.... И мне уже было жаль тихую

прежнюю жизнь, и уже не мог я отказаться от новой, той, что ждала меня впереди.

Я положил трубку и вошел в комнату. Жена спала, и, как всегда, во сне лицо ее было спокойным и милым. Я обвел взглядом нашу комнату: телевизор, стенка с книгами и посудой, ковер на стене, торшер в углу — увижу ли я их когда-нибудь? Сердце наполнилось жалостью, любовью, грустью. Хотелось расцеловать и телевизор, и торшер, погладить ковер, корешки книг.

Прощайте, друзья мои.

* * *

Работал я тогда на Сретенке в фирме «Заря» Сокольнического района. Года два назад ввели новый вид услуг бытового обслуживания населения — повышение настроения, и меня пригласили.

Худой, сутулый, неказистый, я быстро продвигался по службе. Рядом со мной многие сразу начинали чувствовать себя лучше, и за два года я стал мастером хорошего настроения 5-го (высшего) разряда.

Не хотелось мне встречаться с начальником, знал, что будет уговаривать: «Не уходи, чем тебе у нас плохо?.. План...» Не люблю я, когда уговаривают, будто поезд отходит, а тебя держат за пиджак, и все грозит закончиться тем, что угодишь под колеса. А они потом еще будут укоризненно говорить: «Вот предупреждали его — не послушал!»

Положил на стол секретарше Люсе заявление.

— Петру Алексеевичу передайте...

Молча цапнула она лапкой мою бумажку, а мне в ответ еще брезгливее — наряд на работу. Нет, не я должен был находиться рядом с ней! А кто-то из того журнально-телеизионно-кинематографического мира, где все мужчины похожи на иностранцев, а все женщины — на нее.

Вышел на Сретенку. Церковка слева белая стоит. Народу, конечно... Все торопятся куда-то. Куда? «Никуда не убежишь от своей судьбы», — думал я. — Не от нее надо бежать, а — вдоль по ней!»

Первая заявка была из дома на Сретенском бульваре. Здание, построенное когда-то акционерным обществом «Россия», — крепкое, солидное и какое-то нерусское. Я, когда случалось в него входить, всегда чувствовал, что мой дед из крестьян. И еще у меня было ощущение, что дом (сам дом) ждет прежних хозяев.

Дверь открыла женщина, я не понял: то ли молодая и усталая, то ли пожилая и молодящаяся (не до того уж было!). Пропустила в коридор и шепотом заговорила:

— Это я вызвала, вы ему не говорите, с ним совершенно невозможно жить, он просто сумасшедший стал, вот сюда, пожалуйста...

Старых, запущенных комнат я повидал на своем профессиональном пути немало. Но эта выделялась: были здесь, конечно, и выцветшие обои, и потрескавшийся паутинный потолок, но главное, повсюду: за стеклами шкафа, на шкафу, на подоконнике, на письменном столе — теснились

колбочки, пробирки, банки с химикалиями; справа от двери находилась какая-то конструкция из шестеренок и трубок, а слева... раскладушка, застеленная солдатским одеялом, за которое любому солдату дали бы три наряда вне очереди.

У окна, спиной к нам, стоял человек (его худой, остроплечий силуэт напомнил мне чем-то армейскую мишень — незащищенностью, что ли?), он обреченно рвал рукописи и повторял: «Не нужно! Не нужно! Никому ничего не нужно!»

Согласно инструкции и перечню оказываемых услуг, состояние клиента квалифицировалось как повышенной сложности третьей категории: 1 час — 3 руб. 50 коп., включая прощальное рукопожатие.

Я выждал паузу и завел свое: «Жизнь моя не сложилась...» Он обернулся. «Жизнь моя не сложилась...» — продолжил я и вдруг спохватился, что говорю это не жалобно, а со злой веселостью. С удалью даже.

— Ну и?.. — хозяин перестал рвать бумаги.

— Ну и... — я не нашелся, что сказать дальше, и сказал: — Ну и махнул вот на все рукой и завтра уезжаю! Рано утром... с Ярославского вокзала...

В глазах моего клиента что-то дрогнуло, словно догадка проснулась.

— Юра, — протянул он мне руку.

— Виктор, — охотно ответил я.

Рука у него была теплая, ухватистая и какая-то своя, будто правой рукой сам себе левую пожал. И что-то неловко мне сделалось, стыдно. И я заторопился.

— Ну, до свиданья, до свиданья... Мне еще собираться надо.

На улицу вышел, как вынырнул из темной, давящей глубины. Достал наряд, хотел бросить в урну, но — не с чурками, не с болванками бездушными дело имел, — с людьми. А они ждали...

Я прошел бульваром до Тургеневской площади. Раньше она была маленькая и живая: библиотека, магазины овощной, цветочный, «Часы» — между прочим, все самое нужное человеку! — а теперь поле, застеленное асфальтом, на котором могут расти только воспоминания.

«Не нужно! Не нужно! Никому ничего не нужно!» — вспомнил я недавно слышанные слова.

Свернул в Уланский переулок. Дом № 14... в детстве здесь жила девочка, в которую я был влюблен, и так сильно, что, когда она спрашивала, сделал ли я домашнее задание, я немел и слезы выступали у меня на глазах. За что и прослыл в классе жмотом и нытиком.

Квартира следующего клиента представляла собой... черт знает, что она собой представляла! Не люблю я брошенных квартир, сам всю жизнь почти проживший в коммуналке.

— Где гитара? — первое, что спросил Ненарков В. В.

Был он молод, крепок. В глазах, несмотря на то что мы находились в помещении, отражалось голубое небо. Как потом выяснилось, он думал, что поднимать ему настроение обязательно при-

дет человек с гитарой и почему-то (что совсем странно) женщина!

Руку он мне пожал, будто примеривался: оторвать ее или нет?

— Валентин. Бурил скважину Дружбы на Колыме. Сейчас в отпуске. В Москве впервые, город красивый, а Ленинград лучше.

Про скважину Дружбы я слышал. По замыслу она должна была пронзить земной шар и выйти на поверхность в районе Латинской Америки.

Как и всякий таежный человек, Валентин ожидал в Москве карнавального праздника, а столкнулся с буднями. Ключ от своей квартиры ему дал геолог Вовка Косых, который так много и в захлеб рассказывал о Москве, что там, на скважине, казалось: приедешь в Москву — и счастье тебе обеспечено!

Согласно перечню оказываемых услуг, данный случай квалифицировался как повышенной сложности, способный привести к правонарушению. И тут надо было держать ухо востро.

Прошли в комнату. Немытые окна, голая лампочка, тоскливо свисающая с потолка... Больно кольнуло — листочек с детским рисунком на выцветших обоях.

— Белого или красного? — щедро предложил буровик, указывая на стол, где бутылки стояли тесно, как елки в тайге.

— Не пью, — сказал я. — Врачи...

Это был испытанный прием (пункт 2, параграф 3) — жаловаться на свое здоровье, хвататься за сердце, мотать головой, цыкать зубом. Прием верный, но опасный — однажды из Ащеулова

переулка (семья Анисимовых) меня прямиком отправили в институт Склифософского, и как я там ни доказывал... Хорошо хоть бюллетень оплатили.

— Слушай ты этих врачей больше, — не уступал буровик, — они тебя живо в грунт загонят!

— В детстве я упал с лестницы...

— Это дело поправимое, — он уже наливал.

— И с тех пор ничего не вижу, не слышу...

— На... бери на ощупь! — протянул Валентин стакан.

Я сделал глоток, поперхнулся. Слезы выступили на глазах.

— Эх, ладно! — Валентин отставил и свой тоже. — Как же ты тогда настроение людям поднимашь?

— Извините... я, м-м... сегодня не в форме. Последний рабочий день... Уезжаю завтра далеко... на восток.

— А как же я? — в голубых глазах появилась растерянность. — Я думал, придет... кто, повеселимся... денег навалом!

— Ну... сходите в Третьяковскую галерею, на ВДНХ, в ГУМ...

Он проводил меня до лифта, и, когда, уже захлопнув дверь, я увидел его грустное лицо сквозь металлическую сетку, мне вдруг померещилось, что оставляю его чуть ли не в тюрьме.

Оставался последний адрес: Даев переулок...
Вожжев Петр Михайлович...

Через пять минут мне предстояло познаком-

миться с этим человеком, но, прежде чем рассказать о нем, я должен перевести дыхание. Жизнь, может быть, и сталкивает нас иногда с такими людьми, однако не всегда мы способны их разглядеть и оценить по достоинству. Потому что в обычной жизни не всегда они могут проявиться и предстать перед нами во всем блеске и великолепии своей одаренности.

Петр Михайлович Вожжеев родился в 1945 году, 9 мая, в городе Усть-Иртыше. В детском доме № 3078.

Рос он парнем смышленым. В два года получил третий разряд токаря-карусельщика, в семь окончил станкостроительный техникум. Затем Петра призвали в армию и отправили в школу сержантов, которую он и окончил раньше срока, в чине капитана военно-воздушных сил. Был военным советником в Корее: учил корейских товарищей ничему не удивляться. Испытывал новые типы самолетов на звукоизоляцию.

Прославлять бы ему и дальше свой род войск, не начнись в те годы штурм космоса. Это он не полетел перед Гагариным (так было надо). Это он первым не вышел в открытый космос! (Приказы не обсуждаются!) Это он!.. Но всего не перечислишь. Не место да еще не время...

Двадцать пять лет безупречной службы, из них многие годы год за два, а то и за четыре. Итого, на пенсию вышел Петр Михайлович в расцвете лет. А куда девать ум? Энергию? Силу? Интуицию? Жизненный опыт и обширнейшие, глубокие знания?

Стал Петр Михайлович телеграммы разносить. Но не для того, чтобы доставить бланк с текстом (это само собой!), а чтобы первым узнавать, у кого на участке почтового отделения К-92 случилось несчастье. Узнавал и — первым спешил на помощь. Летал в другие города на похороны, срочно высыпал кому-нибудь деньги, дежурил ночами в больнице... К любой работе относился с душой, но со временем на него начали жаловаться: мало выслал денег, долго ходил в магазин, на похоронах С. С. Перепитьева в Таганроге сказал лишнее — обидел родственницу, как ей показалось, намеком. Жалобы поступали в различные инстанции, включая органы народного контроля.

В Даевом переулке Петр Михайлович дежурил у постели водителя такси Синицына А. Г. — прогрессирующая неврастения с повышенной реакцией на слово «надо».

Вышел он открывать в фартуке, с мокрыми руками. Из кухни вкусно пахло борщом. По взгляду я понял, что не понравился Вожжееву — не было во мне солидности и строгости, столь дорогих сердцу командира в отставке.

Синицын лежал на двуспальной постели и икал. Он был испуган своей болезнью и глядел судаком.

— Здравствуйте, — сказал я. — Что, вспоминает кто-то?

— Кто-то... и-ик! Они вспомнят! Это я сам себя вспоминаю, каким был в юности...

— Каким? — я сел рядом на стул.

— Молодым! Чистым! И-ик! Вся жизнь впереди! Летчиком хотел быть!

— Служить в дальнем гарнизоне, по праздникам смотреть солдатскую художественную само-деятельность? — уточнил я.

— Летать высоко в голубом небе!.. И-ик!..

— Испытывать перегрузки? Парашюты иногда не раскрываются...

— Чувствовать себя настоящим мужчиной!..

— Вдали от женщин?

— И-ик!.. Носить красивую фо-орму...

— И отдавать честь всем старшим по званию?

— Я сам был бы старшим!

— А для этого учиться в академии, не спать ночами: конспекты, зачеты, строевые занятия! И мечтать наконец-то выспаться, полежать спокойно в постели, отдохнуть, почитать...

Синицын молчал. Икать он перестал еще раньше от удивления. Я взял со стола журнал «Крокодил» и протянул ему:

— Читайте!

Он послушно взял, но продолжал смотреть на меня.

— До свиданья! — я поднялся. Хоть здесь справился с заданием — не будут в дороге мучить угрызения совести.

Вожжеев стоял, облокотившись о косяк. На Синицына старался не смотреть, на скулах играли желваки.

— И что, это все?

Недоверие, обиду и... да, презрение я услышал в его голосе. А вот уж этого, последнего, я в своей практике не допускал.

— Если будет нужна помощь, звоните в фирму, придет мой сменщик Подогреев, он сразу

кричит: «Пожар!», и когда разберутся, что пожара нет, — все счастливы! А я завтра утром уезжаю. На Север. Пока!

Повернулся и пошел. Вроде сказал все, что надо, а настроение у самого испортилось. Я давно заметил: когда грубишь людям — обижаешь в первую очередь себя.

Глава вторая

Испытания близятся

В то утро Николай Николаевич Померанцев встал бодрый и свежий, как физкультурник. Широко распахнул рамы, воскликнул: «Здравствуй, утро! Здравствуй, солнце!» На душе было так хорошо и так хотелось жить, что даже жалко было терять время на завтрак.

«Эх, кабы каждый день встречать столь радостно, сколько можно было бы в жизни сделать!» — подумал он.

Впрочем, некоторым казалось, что и он успел немало: редкий специалист по вопросам долголетия и консервации памяти, человек образованный, состоятельный. Он мог многое себе позволить, однако не позволял.

С пациентами был ласков, внимателен — и все знал наперед: и что ему расскажут, и что попросят, и что он посоветует. Однажды только неудомленно вскинул брови, услышав:

— Прошлым летом, когда я умерла и врачи уже ничего не могли сделать, мой муж привез из Франции какое-то замечательное лекарство...

— Какое? — спросил тогда Николай Николаевич.

— Дорогое. Очень... — со вздохом ответила женщина.

Вопросами долголетия, как правило, интересовались люди, не привыкшие ценить время. Статистические выкладки показывали, что жизни человеку отпущено ровно столько, сколько требуется для реализации заложенных в нем способностей и талантов. (Если реализация происходит более бурно и успешно, время соответственно сокращается: 26, 37, 42, 56 лет.)

Померанцеву было сорок три.

Я не нашел сил сказать жене, куда еду и зачем. Она спала. Уже на пороге на секунду задумался: почему, когда жена спит, она мне нравится больше? Не смог ответить и на цыпочках, как жулик, вышел из квартиры.

...Первым, кого я встретил у Ярославского вокзала, был буровик Валентин. Он стоял на углу, где табло пригородных электричек, и назойливо вглядывался в лица.

— Наконец-то! — обрадовался он. — Полчаса тут пасусь, как этот!..

— Но... почему?

— А, надоело все! Кого будем еще ждать или двинули?

Если на меня кричать, заставлять, во мне сразу пробуждается протест и упорство, а вот против теплого, доброго слова устоять не могу. Бывало...

— Вообще-то должен подойти еще один...

— Этот, что ль? — кивнул Валентин на тяжело спешащего от метро человека с двумя облезлыми чемоданами. Он бежал, вытянув шею, словно собирался взлететь, но чемоданы мешали.

Я опешил, потому что узнал еще одного вчерашнего клиента — Рагожина Ю. И.

— Фу!.. — грохнул он рядом с нами чемоданы и тут же встревоженно подергал их за ручки — нутро багажа ответило скляночным перезвоном. — Думал, опоздаю...

В испуге я начал оглядываться, ожидая увидеть таксиста Синицына, и — увидел Николая Николаевича. Он шел элегантный, строгий (как все-таки это важно!), в легком полотняном костюме, через плечо в футляре подзорная труба, на груди фотоаппарат, в глазах — обреченность на подвиг.

— Доброе утро! — поздоровался он не без удивления. Мои бывшие клиенты притихли, признав в нем главного.

— Я вот, хе-хе... с вами тоже, — объяснил Валентин. — Буровик... могу электриком, плотником, член ВЛКСМ...

— А я... — голос у Рагожина дрогнул, — я... в конце концов, могу носить тяжесть!..

У Николая Николаевича глаза полезли на лоб.

— Вы!.. Вы!.. — он не находил слов. — Товарищи, мы не на пикник собирались!.. Не на веселительную прогулку!..

— На пикник я бы и не поехал! — обиделся Валентин. — Что я, дурак, что ли?! На пик-ник!..

— Я т-трудностей не боюсь, — с какой-то беспыходностью заявил Рагожин.

Померанцев хотел еще что-то сказать, открыл

рот и — вздохнул глубоко и покорно, как издавна вздыхают на Руси. Набирает человек полную грудь воздуха, все ждут: ну уж сейчас-то он явится, а он — вздыхает. И в душе у него появляется благость, а в глазах у окружающих — недоумение. А у тех, кто за секунду до этого боялся крика, даже разочарование.

Очередь в кассу была уничтожающе громадная и лягая. Последний раз на Ярославском я был года два назад, но почему-то казалось, что люди в кассу стоят все те же.

Валентин с воплем: «Батя, я здесь стоял!» — ринулся было к окошку, но очередь, спружинив, отбросила его обратно.

— М-может быть, на электричке?.. — начал Рагожин и не договорил.

— Давно смотрю на вас, — раздалось сзади ворчливое, — и скажу честно: не подошел бы ни за какие коврижки, не будь у вас затруднений!

Я не поверил своим ушам — Вожжеев, неужели он?! Точно! Подошел незаметно, усмехается покровительственно. Полевая форма (без погон), как броня на танке.

— Я так решил, — он вышел вперед, — навязываться, чтоб в тягость, не буду. Но если хоть чем смогу помочь — сочту своим долгом!

Оглядел нас придиরчиво, подтянул лямки на рюкзаке Валентина, поправил кепочку с надписью «Таллин» на голове Рагожина (жена ездила: «Жизнь проходит, а я нигде не была!»), смахнул нитку с плеча Николая Николаевича, подмигнул мне.

— А вы... вы знаете, куда мы? — многозначительно спросил Померанцев.

— А вот это не наше дело! — просто ответил Вожжеев. — Наша цель: успешно и в срок справиться с поставленной задачей. А куда? Мне такое и в голову никогда не приходило. Ну что, по коням?! Тогда — за мной!

Он смотрел легко, весело, где-то в краю глаза сверкало озорство. Ох, хорошо, если такой человек — командир, а не атаман бандитской шайки!

На площадь вышли, будто уже вернулись из экспедиции. И вернулись с успехом.

За углом, у булочной, нас ожидала старая, серого цвета «Победа». Было в ней что-то материнское, доброе. Что-то из детства.

— Специально у старьевщика купил, когда на пенсию вышел, — объяснил Вожжеев. — Надо же все-таки знать, — сказал серьезно, — на чем ездить!

Сели мы в «Победу», захлопнули дверцы, и, только отъехали, защемило у меня сердце от тоски-разлуки, и подумалось: как хорошо, что мой родной город — Москва. Родиться в Москве — это все равно что родиться сразу с орденом. И потом с гордостью носить его всю жизнь.

Глава третья

Летайте самолетами

Аэропорт — место, где чудо совершается чуть ли не каждую минуту, но мало кто это замечает.

Тысячи людей сновали по зданию, стояли в очередях, пили кофе, смотрели на табло... А там,

за зданием, на просторе разбегались по бетонной полосе и красиво шли ввысь самолеты, а другие, уже снизившись, легко касались упругими колесами быстрых бетонных плит...

«Победа» подрулила к входу. Мы вышли, достали вещи. И тут я с ужасом заметил, как стало бледнеть лицо Рагожина, лоб покрылся капельками пота, словно на него брызнули водой, в глазах ширилась боль.

— Сердце?! — я схватил его за руку и крикнул нашим: — Валидол! Быстро!

Рагожин стоял у своих двух обшарпанных чемоданов, как раненый.

— Паспорт... — пробормотал он. — Билет без паспорта не дадут... думал, на поезде... а паспорт... паспорт...

— Жена не дала! — догадался я. И стыдно стало, что произнес это вслух.

Подошел Вожжеев, он машину отгонял на стоянку. Насупился.

Рядом из автобуса вывалились молодые, горластые туристы: «Валерка, опоздаем! Где Танька?! Какой рейс?! Вы с ума сошли! А сумку, сумку-то?!»

— А ну-ка, отойдем в сторонку, — сказал Михалыч.

Двинулись через площадь, туда, где памятником самому себе стоял на постаменте «Ту-104». Сели там на лавочке, как изгои, как неполноценные.

— Ну, какие будут предложения? — спросил Михалыч.

А какие могут быть предложения? Чтобы Ра-

гожин возвращался домой? Кто ему скажет? У кого хватит смелости, да и смелость ли тут нужна?

Сидели не шевелились. И тут Михалыч произнес:

— Смотрите!

И показал на «Ту-104».

Красивое металлическое тело, обтекаемое и устремленное вперед, оно как бы порывалось улететь с постамента.

— Он как бы порывается улететь! — задумчиво проговорил я.

— Ох! — охнули разом Валентин, Рагожин итише всех — Николай Николаевич. Он охнул, как влюбленные говорят: «Да!»

— Но ведь там же нет, наверное, ничего? — сказал я.

— Ерунда! — объявил Валентин. — Что мы, безрукые, что ль?! — И начал распаковывать рюкзак. Мне сделалось страшно. До сих пор помню — дунуло холодом в грудь, в коленях слабость появилась, в ушах звон.

Михалыч сдвинул фуражку на затылок, цепко оглядел самолет, потер кулаком подбородок.

— Работы дня на два, — определил он. — Кое-что заменить, подклепать... покрасить...

Меня начало подташнивать. Чего угодно ожидал от путешествия, только не этого.

— Да кто ж нам разрешит?! Это ж немыслимо! Это!..

— Ну, что ж... значит, пришло время рассказать всем о цели нашего предприятия... — Николай Николаевич обвел лица новых компаний значительным взглядом и — заговорил. Когда

упоминал о научной ответственности, так хмурил брови и сверкал глазами, что казалось, откажись мы, и небо рухнет на землю! А когда касался восстановления исторической справедливости, так широко разводил руки, что два раза задел меня по носу. А когда говорил о чести, выпавшей на нашу долю, — краснел...

Выслушали его, как живой водой умылись.

— М-да... дело особой государственной важности, — со вкусом проговорил Михалыч. — Имеем право на дополнительный паек, спецоборудование и внеочередное материальное обеспечение.

Рагожин сдернул легкомысленную курортную шапочку и сунул в карман. Не сговариваясь, мы встали с лавочки. И опять посмотрели на самолет. Если смотришь на чужой самолет, видишь, что он красивый, когда смотришь на свой — ты его уже любишь!

— Ту... шка, — ласково произнес кто-то. Сейчас уже не вспомнить кто, но с тех пор мы так его и звали: Тушка, Тушечка, Тушонок, Тушкинище...

Михалыч взобрался на постамент и ткнул сапогом в скат шасси, удовлетворенно хмыкнул, спрыгнул вниз, отряхнул ладони.

— Годится!

* * *

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пока доставали лестницу, пока Валентин договаривался с механиками на аэродроме

насчет новой турбины, пока бегал с заявкой на горючее, которую ему выписал Николай Николаевич. Сама заявка на листке из блокнота не смущила, смущали сроки — в бухгалтерии говорили: мы сейчас не можем, подождите год, нет визы Семена Багратионовича — волынили. Тогда Валентин договорился непосредственно с за-правщиками, и ему за бутылку наполнили оба бака.

Рагожин обживал корабль изнутри. На иллюминаторы повесил ситцевые занавески в горошек, у входа положил коврик. На вопрос, где он все взял, смущенно улыбался и говорил: «Ладно... пустяки...»

Михалыч пропадал в пилотской кабине: паял проводки, выверял приборы по своим командирским часам, негромко напевал: «Эх, дороги — пыль да туман...»

Николай Николаевич купил в киоске «Союзпечать» географический атлас СССР, вымерял в нем что-то циркулем, красным карандашом проводил толстые, прямые линии.

Я ковырялся с радиосвязью: сначала протянул из здания аэропорта трансляцию, потом спохватился... В общем, всего не расскажешь! Не день, не два длилась подготовка — три! Жили в аэропорту на диванчике, как войдешь — направо. Буфет, туалет, аптечный киоск, свежие газеты — все под рукой. Валентин купил даже газету впрок — полетим, где их купишь? А почитать газету за завтраком всегда приятно.

Милиция к нам не притиралась, видят: люди

приличные, спиртные напитки не распивают, не скандалят, на чужие вещи не зарята. Хорошо к нам относились, только не разрешали ноги на диванчик класть — инструкция не позволяла.

И вот настал час!

Час мы выбрали поздний, чтобы не привлекать и не путать людей. Подогнали тягач. Валентин был слишком возбужден, тягач еще не тронулся, еще водитель курил у открытой кабины и, прищурившись, глядел на самолет, а Валентин уже уперся плечом в борт, кричал: «Взяли помалу! Посторонись!»

К постаменту прислонили два швейцера, по ним и должен был съехать Тушка.

Михалыч, торжественный, в начищенных сапогах, стоял в открытом люке авиалайнера.

— Приготовились! Па-а-шел!.. — подал команду. Грозно подал, красиво, торжественно — умел, дьявол, взвинтить минуту до величавости, умел почувствовать праздник сам и внушить другим.

«КрАЗ» взревел мотором, трос натянулся, затем ослаб, опять натянулся. «Ту» дрогнул, как пробудился, и медленно, сперва едва заметно двинулся к слегам, к своей свободе.

Вокруг собралась все же толпа.

— В металлолом, поди... — говорил один (сколько все-таки в людях жестокости!).

— Хе! — говорили рядом. — В металлолом! Покрасят, дык и в колхоз отправят. План выполнять по опылению! (Сколько все-таки в людях пессимизма!)

— В музей его отволокут, — громко говорил кто-то. — Сейчас новый музей создается — музей опоздавшего пассажира, и там будут представлены все транспортные средства, на которые когда-либо опаздывали пассажиры!

— Интересно, упадет иль съедет? — гадал вслух гладенький старичок и в предвкушении за-жмуривался.

— Мы, однако, таким манером баржу поза-прошлом где утопли, — уважительно повествовал осанистый дядька.

Подошел милиционер.

— Товарищи, попрошу всех отойти! И вас тоже! А вам что — отдельное приглашение?! Мальчик, ты что: самолета не видел? Гражданка, это ваш ребенок? А муж — тоже чужой? Дальше, дальше отходите, отсюда тоже все видно!

Самолет (не может быть!) покатился, клюнул носом, «Ax!» — вырвалось у толпы, и как-то скоро съехал. Качнул крыльями, выровнялся и — начал разгоняться. Сначала его тянул на тросе тягач, но вот уже и сам Тушка набрал скорость и силу инерции.

Я, Рагожин и Померанцев прильнули к стеклам в кабине.

Приаэропортная площадь осталась позади. Самолет мощно катился по шоссе. В открытом люке стоял Михалыч, ветер трепал его седые волосы и военную форму.

Валентин бежал за самолетом.

— Лест-ни-цу!.. Мать вашу!.. Лестницу... давай! — бешено орал он.

Михалыч вышвырнул веревочную лестницу за борт, она флагом вытянулась вдоль самолета — не достать ее Валентину! Нет, не достать...

И тогда... До сих пор, вспоминая тот момент, я испытываю смешанные чувства страха и воссторга — Рагожин рванулся к люку и начал спускаться по лестнице. Под его тяжестью она выровнялась. Стоя на последней ступеньке, как воздушный гимнаст в цирке, он протянул Валентину руку. Нескладный, вдохновенный... Что-то даже поэтическое было в его фигуре.

Валентин ухватился за его тонкую длань. «Упадут!» — но нет, удержался Рагожин, подтянул Валентина. Полезли, покарабкались они вверх. И вовремя — самолет мчался по шоссе в сторону Москвы, встречные машины шарахались к обочинам. Каждую секунду могла произойти авиаакатастрофа.

Все набились в кабину, в сутолоке, не разбирая, заняли кресла: Михалыч командирское, Н. Н. Померанцев — рядом, Рагожин и Валентин взвалились на штурманское, я свалился на пол. Еще секунда, и Михалыч запустил двигатели. Ожил самолет, задрожал, но не рабской дрожью, а дрожью возбуждения, включился свет, заработало радио (моя работа!). И вдруг дрожание корпуса прекратилось, я даже не заметил толчка — самолет начал набирать высоту...

Россыпью огней открылась внизу Москва. И где-то там был огонек моей однокомнатной квартиры...

До свидания!

Глава четвертая

Лиха беда — начало

Самолет набирал высоту. Корпус поскрипывал, поохивал. Двигатели работали напряженно, казалось, еще миг — и наступит смертельная тишина. Мы молчали, казалось, заговори кто об опасности — она и случится. Два раза самолет заваливался на левое крыло, один раз турбины уж совсем смолкли, звук их истончился до комариного писка, потом взвыли, как рассерженные. Что им было надо? Что мы сделали не так?

Михалыч принялся сосредоточенно просматривать свои рабочие записи, я — мысленно утваривать: «Моторчик, миленький, хорошенъкий, не останавливайся!» Что помогло — неизвестно. Постепенно гул турбин выровнялся, стал плотнее, размереннее, но какой-то звук был лишним, словно кто колотил в запертую дверь.

Михалыч вел самолет. В его позе было что-то от наездника, несущегося на горячем жеребце, того и гляди огреет приборы кнутом.

— Где-то стучит, — заметил ему я.

— Поставлю на автопилот, сам проверю. А сейчас, — он блеснул глазом, — не мешало бы подкрепиться!

Стол накрыли в кают-компании (бывш. салон). Как объяснил Михалыч, ужинать каждый должен не для себя, а — для других, потому что нашему коллективу нужны крепкие и здоровые люди. Впервые в тот день я ел для людей! Чувство незабываемое.

Стол застелили белой скатертью. Ее принес лично Николай Николаевич. Накрахмаленная, отутюженная, она придала кают-компании значительности, предстоящему ужину — важности, а нам — искренней юношеской радости. Вот и рассуждай про вещи первой необходимости и второй!

Валентин сидел за столом смущенный, словно жених, и все не знал, куда бы сунуть свои огромные кулаки. Рагожин, боясь нарушить этикет, вспоминал: в какую руку берут чашку?

А Николаю Николаевичу Померанцеву почemu-to вспомнилось детство: дача в Удельной, воскресный завтрак на солнечной веранде, у него на шее чистая салфетка, в руке бублик с маком, а в дверях стоит папа, он опоздал, он улыбается, он остановился в дверях и говорит: «А вот и я!..» Он остановился в дверях — и не уходит из памяти...

Творожные сырки, кефир, хлеб — таков скромный и питательный ужин отчаянных авиаторов! Когда разлили кефир по чашкам, Михалыч встал.

— Товарищи, — сказал он, — мы летим! И будем лететь до победного конца. Ваше здоровье!

Он молча и с аппетитом выпил кефир. Мы последовали его примеру. Закусили творожными сырками и опять наполнили чашки.

Теперь поднялся Померанцев.

— Друзья...

Вот и все, что сказал он, но вложил в это слово столько чувства, сколько в нем и заложено.

Выпили кефир стоя. Сели, начали есть хлеб, думали каждый о своем. Я думал, что существу-

ют слова «друзья», «люблю», «ненавижу», «предатель», после которых говорить что-либо необязательно. Еще я думал о том, как тонко и точно улавливает Николай Николаевич обстановку, ситуацию, никогда не оскорбит в другом человеческое достоинство и что, наверное, его должны за это многие любить; и тут же вспомнил, что именно любви в его судьбе и недоставало. Еще я, конечно, думал о себе, о жене, немножко о работе...

И тут поднялся Рагожин, пальцы теребили обертку от творожного сырка.

— Шесть лет... Шесть последних лет ночами, вечерами!.. Я работал над проблемой, которую надо было разрабатывать двум... десяти научно-исследовательским институтам! Я отказался от всего! Меня не прельщали их жалкие учёные степени, хотя я мог бы... Только из одной страницы рукописи, которую я порвал в клочки, они защищили пять кандидатских и три докторских — ровно по количеству клочков, их было восемь. Но когда моя работа была готова! Вы понимаете?! Почти го-то-ва! Когда не клочки, а двухтомный труд!.. Способный дать человечеству, сколько ни одно открытие в мире, они!.. Они!..

Обертка от творожного сырка выпала у него из рук, взгляд остановился, кровь отлила с лица.

Я сразу почувствовал кромешную мглу, высоту и холод за тонким алюминиевым корпусом самолета. Громче заныли забытые турбины, и опять что-то застучало. Николай Николаевич достал из кармана маленький стеклянный пенальчик, вытряхнул оттуда белую пилюлю, протянул Рагожину.

— Это помогает. Новейшее японское средство. Очень эффективное в малых дозах. В больших дает побочный эффект: лицо желтеет и глаза становятся узкие. Берите, на вкус приятное.

— Рагож, возьми, — участливо попросил Валентин. — Съешь. А на этих... плюнь! А шесть лет — у нас на скважине Леха-Сатана, он десять лет отмотал, а сейчас — лучший мастер-буровик, победитель соцсоревнования! Плюнь! Пойдем, я тебя спать положу. А проспишься... то есть выспишься, опять человеком будешь! Пошли.

Валя взял у Померанцева таблетку, пальцем вдавил в губы Рагожину и повел его к передним сиденьям 1а, 1б, где Михалыч уже торопливо готовил постель.

Мы еще немного посидели в молчании и тоже разошлись спать. Остался на посту только автопилот.

* * *

Высоко в темном, бескрайнем небе летел самолет. Бортовые огни не работали (я виноват, не успел лампочки ввинтить), на позывные не отвечал. Кто так мог себя вести? Только самолет-разведчик, самолет-нарушитель, самолет-враг!

Подразделение капитана Иголкина заступило на боевое дежурство в 24.00, а уже в 24.01 ефрейтор Козловский доложил: «В квадрате 2-пи неизвестный самолет!»

Раздумывать было некогда! Капитан Иголкин доложил майору Орехову, майор Орехов — пол-

ковнику Половцу, тот — генералу Мурашко, после чего последовала команда: «Принять все меры к задержанию самолета-нарушителя!»

Подняли к небу острые морды зенитные ракеты. Взмыли истребители-перехватчики. Чутко слушали эфир приборы наземной службы. Не завидуешь противнику!

Но не противником был Тушка, а своим, родным, отечественным. Много он повидал на своем веку и хорошего и плохого. Хорошего, конечно, неизмеримо больше, но и плохое он тоже не забывал. Да, ничего в жизни не забывается... Уже потом, когда стоял он памятником на постаменте, нет-нет да всплывает в памяти заплаканное лицо девушки, от которой увозил суженого; сутулые плечи и упрямые затылки геологов, бесследно пропавших на перевале Грозный-Оглы...

Не поверил сначала Тушка своему счастью, да и кто поверит! Думал, насмехаются над ним, унизить хотят (то есть снять с постамента). Валентина вначале невзлюбил — повидал в свое время этих разболтанных парней, знал: умеют лишь водку хлестать, приставать к бортпроводницам и курить, закрывшись в туалете. Но когда закачали ему полные баки, когда протерли влажной тряпкой фонарь пилотской кабины, смазали подсолнечным маслом (это я!) петли, чтоб дверь не скрипела, полюбил всей душой и нервного, издерганного Рагожина, и чопорного Николая Николаевича, и меня, и особенно Михалыча — соскучился без волевых командирских рук.

Конечно, трудно ему пришлось — годы уж не

те! Как взлетел, как от земли оторвался — одному ему известно! Высоту набирал тяжело, как некоторые деньги на кооперативную квартиру. Взлетел, и что же — сбить хотят.

Самолет прибавил скорость и увеличил высоту, но и здесь его чуткое тело ощущало угрозу. Быстрый и ловкий раньше, он теперь был беззащитен — далеко шагнули наука и техника за те годы, что провел он на постаменте. Осталось последнее, испытанное средство...

— Товарищ капитан, — доложил ефрейтор Козловский (москвич, гражданская специальность — упаковщик конфет), — объект резко сбавил скорость. Товарищ капитан, объект падает!..

Капитан Иголкин (женат, двое детей, награжден нагрудным знаком «За все хорошее») развернул карту.

— Болота... — задумчиво произнес он.

Самолет почти падал. Рагожин свалился на пол и, прижатый к стене, испуганно тер глаза. Валентин, спавший в хвосте рядом с курилкой, прокатился по полу, но не проснулся — думал, что все ему снится. Николай Николаевич, предусмотрительно пристегнувшись ремнем, висел вниз грудью. Михалыч, хватаясь за что попало, уже пробирался в кабину.

Сам я застрял между кресел, а выбравшись, не удержался на ногах и влетел в кабину затылком в Михалыча.

Михалыч боролся с автопилотом. Оба в возрасте, оба не совсем здоровые, но упорные, они с металлической силой тянули штурвал каждый в свою сторону. Я решил помочь и начал говорить:

«Да не связывайтесь вы с ним!» И тянуть Михалыча обратно.

— Витька, ты что?! Ошалел! — отбивался он.

— Петр Михайлович, успокойтесь, — не унимался я. — Вам нельзя волноваться!

— Мы же разобьемся! Пусти!..

— Петр Михайлович! — я хватал его за руки. — Подумайте о себе!..

В ярости он отпустил штурвал и оттолкнул меня. Глаза такие злые, что казалось, из них, как из пистолетных стволов, вылетят пули.

А самолет падал. Померанцев кричал: «Помогите!», имея в виду Рагожина. Рагожин обливался горючими слезами. Его чемоданы, кувыркаясь, пролетели из конца кают-компании, хрюснулись рядом с ним и затихли, как умерли. И еще что-то все время настойчиво стучало.

...Опасный, смертельный трюк. Тушка никогда бы на него не решился, но выбирать не приходилось. Трюк, основанный на точном расчете конструкторов, на знании человеческой психологии, на уверенности в своем праве рисковать. Тушка не падал — он летел к земле, собирая силы для рывка. Пять... три... сто метров двадцать сантиметров оставалось до болота, мрака и безвестности. Напружинились переборки, занемели в непосильной тяжести крылья — дрогнул турбореактивный первенец отечественной гражданской авиации, заскрежетал, охнуло что-то в кабине, в кают-компании запахло перегорелыми проводами, пополз едкий дымок. Каждая заклеп-

ка испытывала невыносимое напряжение, а уж о людях — и говорить нечего!

Судорогой дернуло самолет, но не скрутило — потянул он, потянул, потянул ровнее, вверх нос задрал, а подняться сил уж не было, так и летел — грудью вперед, вопреки всем законам аэродинамики. Летел из последних, самых-самых последних сил, искал среди болотного пространства место, куда лечь, затаиться, отдохнуть... Нашел!

Глава пятая

Что это?!

По болоту ходила цапля, ступая высоко и как бы презрительно. Солнце светило ровно, скучно, безрадостно.

Я отполз от иллюминатора. Валентин пытался открыть дверь, ее заклинило при посадке, дергал ручку, пинал ногой.

Рагожин перебирал в чемоданах остатки багажа, был бледен и опустошенно спокоен. Померанцев и Михалыч, охая и кривясь от ушибов, водили по карте пальцами, пытаясь разобраться, где мы. Получалось — черт знает где!

Судя по показаниям приборов (стекло манометра треснуло, на полу валялась красная стрелка), пролетели мы довольно много. Более точно Михалыч обещал установить по звездам, когда опустится ночь.

— Смотрите! — закричал я. И сам испугался больше всех.

В иллюминатор, что над правым крылом, глядели жадные, большие глаза.

Мы замерли. Михалыч потянулся за разводным ключом. Глаза глядели прямо, с какой-то твердой убедительностью, и в то же время вроде не замечая нас, хотя самолет просвечивался низким солнцем насквозь. Когда страх немного спал, я различил и лицо незнакомца, оно было покрыто бурой мелкой шерстью, а вместо носа был... клюв.

Николай Николаевич потянулся за фотоаппаратом. В глазах за иллюминатором мелькнула настороженность, голова отшатнулась, а иллюминатор закрыла розовая ладонь с растопыренными пальцами.

— Рука! — тихо ахнул Рагожин.

Рука, приплюснутая к стеклу, оттолкнулась, и существо пропало. Мы кинулись к иллюминаторам — никого.

Валентин опять подергал дверь, рванул сильнее, она открылась, стукнув его по лбу, как бы в отместку. Снаружи влажно дохнуло болотом, вдалеке раздался вой.

— Кто это? — Рагожин оглянулся на нас. — Птица? Шакал?

— Рука-то человечья... — сказал Михалыч. Встали у открытой двери, чего-то ждали.

— Существует такая легенда, — начал Николай Николаевич, — много-много веков назад жил-был юноша по имени Ахол. Он был горд, как сокол, силен, как медведь, быстроног, как олень, и мог плавать, как рыба...

— У нас тоже на скважине... — встярал Валентин, но Михалыч сделал ему знак помолчать.

— И вот однажды люди племени, в котором он жил, вздумали выбрать себе вождя. И было на звание вождя два претендента: сильный и гордый юноша Ахол и старый, глупый Эолито, погрязший в грехах и праздности.

И вот собрали большой сход. Первым стал говорить юноша. Он сказал, что если его выберут вождем, то сделает, чтобы все в племени были такие же сильные, смелые и гордые. И так же, как он, рисковали бы своей жизнью во имя других, и с честью преодолевали бы трудности!

Потом вышел вперед Эолито и сказал:

«А если я буду вождем, вам не придется рисковать собой и преодолевать трудности, а будете вы вести жизнь, какую веду я: спать, есть и предаваться наслаждениям столь же часто, сколь возникнет к тому желание».

И стали люди племени совещаться. Одни брали сторону юноши, но другие доказывали, что это неразумно, что можно считать себя гордыми, смелыми и честными, не подвергаясь каким-либо испытаниям. И большинством голосов вождем был избран Эолито... Толстый, глупый и бездарный, он в тот же день приказал изгнать юношу Ахола из племени. Покинул юноша Ахол свои родные места, а поскольку он был горд, как сокол, силен, как медведь, бегал, как олень, и плавал, как рыба, он...

— Превратился в!.. — догадался Валентин и не договорил.

Вдали опять послышался вой.

— А племя как же? — спросил Рагожин.

— Племя... — Николай Николаевич пожал плечами, — погрязло в лени и распутстве и вскоре было завоевано воинственным народом аббу и распродано в рабство по удешевленным ценам.

Николай Николаевич раскурил трубку, и в самолете приятно и мужественно запахло табачным дымом. И опасность словно куда-то отодвинулась. Валентин выглянул наружу, сунул два пальца в рот и, тараща глаза, пронзительно за свистел. За чахлыми осинами и кустарником сильно и быстро что-то зашлепало по воде, и — никогда этого не забуду — в воздух поднялся человек, нет, не человек, а какое-то человекообразное существо с крыльями и, поджав колени, полетело низко прочь, оглашая окрестности надсадным воем, от которого леденела кровь.

И опять в самолете раздался какой-то стук. Доносился он из багажного отсека.

— Что за черт! — чертыхнулся Михалыч. — Валя, разберись-ка тут! А мы с Виктором... пойдем посмотрим...

Спустились осторожно по веревочной лестнице. Самолет, слегка накренившись, стоял на краю довольно обширной поляны.

Трава была густая и доходила местами до плеч. Опасность могла таиться повсюду. Михалыч шел первым, левой рукой разводил траву, правую с гаечным ключом держал наготове.

Скоро ноги стали вязнуть в трясине. Мы взяли в сторону, ближе к кустам, прошли не более

ста метров и вновь были вынуждены остановиться. Как вкопанные.

— Что это?! — вздрогнул я.

Это было горе. Белое и горькое-горькое. Оно лежало среди высокой травы, и то место, где оно лежало, было обуглено.

— Вот оно, значит, как обернулось все... — проговорил Михалыч. И крепко взял меня за руку повыше локтя. — Горе горькое мы с тобой нашли, Витя...

— Но... но, может быть, оно не наше?!

Я говорил искренне. Несмотря на вынужденную посадку, я не чувствовал себя несчастным, напротив — я только-только, будто после долгой болезни, входил в жизнь полнокровную, настоящую. Нет, это горе было не мое!

— Это не мое горе, — убежденно сказал я Михалычу. — Может быть?..

— Мое, что ли? — Михалыч усмехнулся и сдвинул фуражку на затылок. — Эх, лучше не вспоминать! Свое я и утопить пытался и... забыть. Придешь куда: в театр, кино, в компанию какую, посидишь там — и деру домой. Думаешь: забыл, оставил, нет его больше у тебя, а оно — тут как тут! Бывало, утром проснешься, если сон был хороший, со сна еще улыбаешься, но уже чувствуешь — тут оно! Никуда, подлое, не делось! Намучился. А потом... старушку одну встретил в электричке — помог ей сумку донести, она и посоветовала: сжечь. Ну а для этого и самому надо гореть: на работе ли, в любви... Я выбрал работу. По две нормы в день без выходных и праздников. Спал в президиуме на собраниях, куда выбирали

как передовика... Нет, это не мое, — просто сказал Михалыч. — Чужое горе мы с тобой нашли, Витя, выходит...

Мы обошли горе и двинулись дальше. Теперь я еще внимательнее смотрел под ноги. Вспоминал названия растений: вот длинный с легкими розовыми цветами — иван-чай; рядом вытянулась тихая, но с характером — полынь; вот бандитское отродье — репейник; у бугорочка греется на солнышке лопоухая мать-и-мачеха. Названия все родные, близкие, словно сам когда-то рос с ними. Крапива, конечно, тут же, стерва!.. Отодвинул ее ногой.

— Михалыч, что это?!

— Это?.. — он наклонился. — Пуговица моя.

Оторвалась, зараза! Примета плохая...

Он поднял пуговицу и раздраженно сунул в карман.

— Так вы что, в приметы верите?

— Ну какая разница: верю — не верю!.. Да-вай-ка возвращаться. Душа что-то не на месте!

Еще издали услышали возбужденный голос Валентина. Вышли на поляну к самолету — и остолбенели. Валька сидел на бочке из-под солярки (они что-то тут без нас делали), размахивал руками и увлеченно взахлеб повествовал: «Взяли ящик белого, ящик красного, остановили бортовую — и по газам! Утром просыпаюсь: я на елке висю... вишу, Леха — в кювете храпит, бутылки все пустые, а от машины одна монтировка осталась!..»

А перед ним на траве, скромненько подогнув

ноги (ослепляя восторженного буровика фарами колен), сидела синеглазая, с какой-то бойкой, взлохмаченной прической девушка. От первого впечатления в памяти не осталось больше ничего. Только вот это: голубые глаза, доверчиво и с детской хитростью внимавшие болтовне лихого буровика, и короткая — по шею, но какая-то прыткая, какая-то с капризом и вызовом прическа светлых, упругих волос.

— Нет, ну правда?.. Нет, ну правда?.. — повторяло это небесное создание.

Заметив нас, Валентин сконфузился и умолк. А девушка поднялась, одернула юбку и торопливо, напористо заговорила:

— Понимаете, мы с девочками...

— Какими еще девочками? — глухо, как раскаты грома, проговорил Михалыч и посмотрел на меня: «Ну что, верить мне в приметы?!»

— Понимаете, мы с девочками... С Таней, Олей и Наташой летели в Чумгамык, а наши ребята, из нашей группы, должны были...

— Какие ребята? Из какой группы? — Михалыч спрашивал, как муку молол — все до точки, все в пыль!

— Ребята: Ваня Кнушевицкий, Федя Бурлов, кто еще... Сережка Стакович, Алик Лозовой...

История ее вкратце сводилась к следующему: они, студенты агрополитического института, отправились на подмогу сельским труженикам в совхоз «Новая даль», где готовились собрать невиданный урожай (его и вправду никто не увидел), но она перепутала аэропорт, день вылета и

номер рейса, хотя помнила все прекрасно. И забралась в «Ту-104» (обрадовавшись, что все-таки успела!) в багажный отсек. Залезла в спальный мешок и, сморенная усталостью, заснула.

— Ну и все! — беспечно, бодро и с облегчением закончила она. — Но я стучала, честное слово, я, когда проснулась, стучала...

Николай Николаевич из пилотской кабины осматривал в подзорную трубу окрестности, внутренне готовый увидеть что-нибудь заманчивое. И очень опасаясь обнаружить птицеловка. Когда-то он знал этот пристальный стеклянный взгляд, нос, переходящий в клюв. Видел портрет у Серафимы Макаровны в Серпухове. Старушка жила на окраине, в маленьком флигеле бывшей барской усадьбы, и, помнится, все жаловалась на бывших владельцев, что крыша протекает.

Померанцев любил побродить по старым подмосковным городам с этюдником. Рисовать он не умел, но ему нравилось чувствовать себя художником — глядеть на мир свободно, легко, заинтересованно.

Вот у старушки в комнате Померанцев и видел поясной портрет птицеловка. Помнится, он тогда спросил:

— А что это за чудо?

— Святой Лука, — ответила старушка.

— Какой же это Лука? — усомнился, помнится, Николай Николаевич. — С клювом. И в шерсти...

— Ну а я почем знаю. Люди сказывали — Лу-

ка. Они обманывать не будут. Разе им какая выгода?

— Выгоды-то нет, — помнится, ответил Николай Николаевич, — а странно...

Больше он тогда со старушкой спорить не стал и вскоре о странном портрете забыл.

Болотная даль была безоглядна и удручающе однообразна. Смотреть в такую даль все равно что в лысину, а не в глаза человеку.

Николай Николаевич вздохнул, пора было собирать собрание.

Собрание!

Расселись на траве в тени самолета, отчего Тушка как бы тоже был участником. Единодушно избрали президиум: Померанцева и Михалыча. Они сели перед нами, мы: Валентин, Рагожин и я — перед ними. Надя стояла поодаль, под крылом. Волновалась.

Сначала Михалыч обрисовал общую обстановку. И рассказал о горе.

По второму вопросу выступил Николай Николаевич. Он заявил:

— Мы не знаем, почему мы сели, но я знаю, что мы должны взлететь!

Ему хлопали долго и благодарно.

— А теперь переходим к пункту «разное», — сказал Михалыч. И все посмотрели на Надю.

— Пусть расскажет о себе! — выкрикнул Валентин.

Надя вышла вперед. Вышла из-под крыла на солнце робко и грациозно, но что такое?! Голубые, ясные глаза ее были полны слез. Дрогнувшим голосом она сказала:

— К-как же... к-как же можно говорить сейчас обо мне, если рядом... горе?

Ну уж точно, будто обухом по голове! И о горе помнили, и о птице, а вот чтобы самим сообразить, что важнее...

Возбуждение охватило нас. Все повскакали с мест и, перебивая, стали предлагать различные способы. Валентин с размаху предложил взять горе себе (вот это да!). «Мне все до феньки!» — весело кричал он. Михалыч предлагал разделить по-братски на всех, тем самым уменьшив тяжесть горя до возможного. Рагожин тоже порывался что-то сказать, но пока не знал что.

— Надо его похоронить! — догадался я. И... обрадовался, что это я придумал.

С лопатами на плечах, Михалыч — первым, я — замыкающим, тронулись в путь. Спешили, наступали друг другу на пятки, спотыкались. Не доходя нескольких шагов до горя, Михалыч поднял предостерегающе руку. Остановились.

Горе лежало тяжело, увесисто, болально. Яму начали копать сразу с четырех сторон: я, Валентин, Рагожин и Михалыч. Ловчее всего выходило у Валентина — он копал, как баловался; Михалыч — тот был более механичен, целенаправлен (такие люди детей любят, но играть с ними не умеют — привыкли все всерьез делать); Рагожин копал задумчиво, будто дал рукам команду и забыл о них. Я ненужно частил, быстро выдохся.

Между тем яма росла на глазах. Попался какой-то черепок, лошадиная челюсть с двумя вставными зубами... Померанцев нервно ходил

по краю взад-вперед и поглядывал на часы. Надя ждала, затаив дыхание и молитвенно сложив руки.

— Может, хватит? — предложил я (первым предложил, значит, слабее оказался!).

— Мало еще, — сказал Михалыч, не разгибаясь.

— Ну теперь, вероятно, хватит? — выпрямился Рагожин.

— Должно хватить, — сказал Михалыч, — но надо еще. Про запас.

Края ямы уже возвышались над нами. Песок, который я выбрасывал наверх, почти весь скатывался мне за шиворот. Моя работа не имела смысла, но еще раз предложить я не решался.

— Ну, кажется, хватит, — Михалыч выпрямился, сдвинул фуражку и оттер со лба пот. — Теперь в самый аккурат будет!

Яма получилась громадная, как мы там головы себе лопатами не посшибали — загадка. Вылезли. Валентин и Михалыч, вытянув лопаты, пошли к горю... Я обратил внимание: чем ближе они подходили, тем заметнее у них портилось настроение — вот оно что! Активные действия, направленные на борьбу с горем, парализуют людей. Я встал с лопатой за спиной Валентина — если он не выдержит, тогда я!..

Валентин выдержал. Помогли жизненный опыт и взгляд Нади. Она так смотрела на него и на Петра Михайловича, что скорее лопата согнулась бы, чем Валентин отступил!

Они подняли горе и... опустили в яму. Оно

шлепнулось там, как грелка с водой. Мы торопливо начали забрасывать. Еще какие-то пузырьки и вздохи выходили из-под песка, еще шевелился рыхлый грунт и колыхался, но вот все стихло, а мы кидали, кидали и кидали лопатами песок.

Образовался небольшой холмик, мы обложили его дерном и отошли. Опершись на лопаты, стояли, смотрели...

— Большое мы дело сделали, — сказал я.

И тут... вдруг за деревьями, на болоте, раздался зловещий смех, клекот и громкий, протяжный рык. Да, да, это был тот же голос, но окрепший, возродившийся и — очень жуткий. Ветром обдало наши вдохновенные лица, и солнце закрыла зловещая тень. Прямо на нас летел птицелов: громадные крылья, широкая мускулистая грудь, вытянутые в полете ноги, а руки — они еще издали тянулись к нам, и когтистые пальцы в предвкушении добычи делали хватательные движения. А голова... набычившийся затылок, прицеливающиеся глаза и — раскрытый клыкастый клюв!

— Мама родная! — вырвалось у меня.

— Вот тебе и легенда... — проговорил Михалыч и достал из штанов гаечный ключ.

— Горе у него было — есть не мог, — высказал догадку Валентин, — живот болел или... зубы. А теперь...

Чудище, растопырив крылья, на секунду как бы остановилось в воздухе и обрушилось вниз. На нас.

— Быстрее к Тушке! — командовал Михалыч и отбивался ключом.

Николай Николаевич сдернул с себя пиджак и прикрыл Надю. Валентин костерил врага страшными словами и пытался хватить кулаком по ноге. Рагожин — изобретатель — нарывал крапивы и хлестал крылатого хищника. Отбиваясь, мы бежали к самолету. А он словно почувствовал, что у нас беда, развернулся (Михалыч потом говорил: от ветра), манил распахнутой дверью.

Первой, конечно же, вкинули в самолет Надежду — не до церемоний уж тут! Вторым вскарабкался Валентин, но не прошел внутрь, а остался у входа, отгоняя хищную тварь. И задел-таки кулаком по пятке. Взвыл крылатый, подогнул одну коленку. «Я тебе не так еще вrezу! — кричал Валентин. — С ним, гадом, по-человечески, а он! Да у нас на скважине за такие штучки!..»

Я взобрался последним, очень хотелось первым, но... пересилил себя. Около минуты потратил на то, что уступал место Михалычу, а он мне. «Тыфу ты, трам-тара-рам!» — ругнулся Михалыч и полез в люк. «Вот так-то, — подумал я, — будешь знать, кто благороднее!» Нехорошо подумал, самолюбие свое тешил. Отзовется это мне когда-нибудь в жизни!

Самолет взлетел, как подпрыгнул. Михалыч потом рассказывал, что, когда он вбежал в кабину, все приборы жадно смотрели на него, как живые глаза.

Еще некоторое время птицеловек преследовал нас, потом отстал...

Глава шестая

Новые испытания

Только-только перевели дух, отряхнулись, забинтовали палец Михалычу: задел он себя своим ключом, — новое испытание!

— Справа по борту течь! — доложил Валентин.

«Какая течь? Откуда? Какая может быть течь в воздухе?» — эти вопросы промелькнули у каждого из нас в голове, но течь — была. В кают-компании, слева под третьим иллюминатором, разошелся шов, и из него сочилась вода. Лужка на полу становилась все больше. Рагожин намочил палец и попробовал на вкус.

— Соленая...

— У меня в пятьдесят шестом году был похожий случай, — сказал задумчиво Михалыч, — в автомобиль вода полилась... но тогда я на машине под лед провалился. Река Прозорливая. Семиямский район...

Воды набралось уже порядочно. Ковровая дорожка на полу набухла и ехидно чавкала под ногами. Я отдернул занавеску на иллюминаторе и вздрогнул — за стеклом плескались волны.

— Мы... мы плывем! — выдохнул я. — Море...

Все прильнули к иллюминаторам.

— Черт знает что! — проговорил Михалыч и устремился в кабину. Рагожин, я и Надя бросились за ним.

Нос самолета пружинисто резал воду, как форштевень корабля. Померанцев сидел, вцепившись в штурвал.

— Приборы показывали, что мы летим, и вдруг...

Договорить он не успел, в самолете что-то треснуло, ухнуло, и нос начал задираться вверх. Двигатель, взывав последний раз, замер. Рядом со мной, как из трюма, показалось мокрое лицо Валентина.

— Михалыч, прорвало!

Да, прорвало! Валентин пытался закрыть брешь грудью, но мешали сиденья. Эх, обидно — грудь широкая! Была бы узкая, он бы...

Вода хлынула в кают-компанию, и Тушка опрокинулся, будто ванька-встанька. Но ко дну не пошел, а остался торчать поплавком.

Снаружи вода плескалась у нас прямо перед носом. И, честное слово, я уже чувствовал ее вкус во рту. Валентин забрался в кабину, с него стекало ручьями.

Михалыч вытащил из кармана плавленый сырок, задумчиво сказал:

— Продуктов на три дня...

— Посмотрите!.. — Рагожин показывал в сторону. — Что там?!

Темный предмет горбом торчал из воды.

— Мина? — спросил я.

— Это еще почему? — Михалыч вскинул брови.

— Да так, одно уж к одному...

Померанцев навел на предмет подзорную трубу, затем молча протянул ее мне. Оптический прибор сначала неохотно, а потом крупно показал корму полузатонувшего корабля. Отчетливо читалось название «Писатель Пузырев».

Накануне отлета, еще в аэропорту, мы слушали в «Последних известиях» сообщение о гибели сухогруза с таким названием. Экипаж сухогруза принял на борт танкер «Транзит», а произошло это в Тихом океане...

Михалыч опустил бинокль, снял фуражку. Не хотелось думать, что и нас ждет та же участь. Про крылатое чудовище никто не вспоминал, но я почему-то чувствовал, что оно где-то здесь, поблизости.

Валентин стянул мокрую одежду, взял в руку молоток, дрожал.

— Михалыч, я попробую заклепать...

— Давай, Валь... попробуй. — Михалыч положил ему на плечо руку. — И... береги себя.

Валентин глянул на Надю, она улыбнулась ему и... смутилась. Ах, как это хорошо, когда девушка смущается! Словно ясный свет озаряет ее изнутри.

— Эх, была не была! — воскликнул буровик и сиганул в трюм. По-молодецки, со вкусом, заманчиво. Надюша помедлила и тоже соблазнилась. Ойкнула, взвизгнула и плюхнулась в воду, оставив у наших ног горку белья. Вынырнула, радостно крикнула: «Тут глубоко!» Михалыч хотел проворчать, чтоб не баловала, но никак не мог нахмуриться, улыбался. Грустно улыбался — вот и его дочь могла бы быть такая, если бы она была...

Надюшка набаловалась, нарезвилась, вылезла сияющая, загадочная.

— Чему улыбаешься-то? — спросил Михалыч.

— А вот и не скажу. Сами догадайтесь.

Она вытирала волосы, причесывалась. Мы ждали.

Вынырнул Валентин. Зыркнул огненным глазом на девушку.

— Михалыч, ключ на семнадцать подай!

— Подожди, — сказал Михалыч. — Возьми сам. — И к Наде: — Чему улыбаешься-то?

Надя вытерлась, надела сарафан.

— Отвернитесь!

Мы послушно отвернулись. Она сняла купальник, отжала.

— Теперь можете смотреть.

Мы повернулись.

— Ну что, не догадались? Эх, вы! Праздник у нас сегодня — ровно один день, как мы в полете!

— Отставить разговоры! — рявкнул Михалыч. — Все по местам!

Валентин опрокинулся в трюм, Надя обиделась. А я задумался: «А может быть, она права? Эта несуразная девчонка? Может быть, праздник потому и праздник, что его нельзя откладывать? Если откладывать, допустим, день рождения, то смешно же в день сорокалетия справлять восемнадцать лет и желать себе, чтобы сбылись все надежды, которые никогда не сбудутся...»

Выплеснулась мокрая голова Валентина.

— Михалыч, готово! Можно откачивать.

Михалыч достал из кармана своих широких штанов плоскогубцы, отвертку и умело выставил стекло. Передал его Николаю Николаевичу, тот бережно прижал к себе.

Кабина наполнилась будоражащим, свежим

оceanским воздухом. Все непроизвольно и глубоко вздохнули. Переглянулись.

Михалыч продолжал колдовать: достал из кармана длинный резиновый шланг, опустил один конец в трюм — в воду, другой поднес ко рту, вдохнул из него воздух и быстро сунул за окно. Потекла, зажурчала струйка!

— Давайте я еще чего-нибудь заклепаю! — отчаянно выкрикнул Валентин.

И опять задумался я: «Почему чем интереснее и возвышеннее человеческая жизнь, тем охотнее человек ею рискует? Уж не оттого ли, что возвышенность дел и духа граничит с бессмертием?..»

— Погоди, — остановил его Михалыч. — Витек, а что у нас с радио?

Радио не работало. Вероятно, повредилось во время приболотнивания. Оно молчало, как может молчать любая мертвая железка.

Если я не знаю, что делать, я всегда спрашиваю других, потому что другие, хоть они тоже не знают, начинают с удовольствием объяснять, снимая с меня ответственность.

— Юр, — обратился я к затаившемуся Рагожину, — помоги наладить связь...

Рагожин вздрогнул, как собака, всем телом.

— А ты?! Ты откуда знаешь?!

— Ну-у... — я развел руками.

— А они не верили! — с обидой произнес он про кого-то, мне неизвестного. — А я, веришь, еще в школе, когда заметил, что у меня уши горят, если меня вспоминают, понял: надо искать именно здесь! В ушах!..

Я не на шутку перепугался — а вдруг он сумасшедший?! Здесь, среди бескрайней водной пустыни, в полукабельтова от полузатонувшего корабля!

— Успокойся, Юра. Успокойся!

Но было поздно, Рагожин уже достал ватку и протирал свое левое ухо.

Глава седьмая

Уши Рагожина

Уши Юрия Ивановича Рагожина на первый взгляд ничем не отличались от ушей, допустим, Николая Николаевича, Валентина или даже моих. Разве еле заметный трепет, какая-то открытость миру чувствовалась в них. Какая-то готовность.

Он приблизился к Валентину, взял за руку. Валька мокрый, переступал босыми ногами, не понимал, что происходит.

— Ма-ма... — проговорил Рагожин, вслушиваясь во что-то у себя в ухе. — Ма-ма... волнуется... боится, что попал ты опять в плохую компанию...

Валентин разинул рот.

— Письма от тебя ждет, — продолжал тверже Рагожин. — И боится: вдруг письмо из колонии. И согласна: пусть из колонии, лишь бы жив был!

Губы у Валентина дрогнули, он смахнул кулаком слезу.

Тихо было в кабине полузатонувшего самолета, только слышно, как шлепает снаружи волна и журчit струйка из шланга.

— Что передать-то? — спросил Рагожин. Валентин шмыгнул носом.

— Напишу я... Передай: жив, здоров... Что ни в какой я не в колонии, а с друзьями... в море. И еще вот обязательно... денег я ей вышлю при первой возможности...

Рагожин зашевелил губами, закатив глаза вверх. Закончил, отпустил руку Валентина, устало вздохнул.

— Вместо того, чтобы делом заниматься! — вставил Михалыч. И пропаще махнул рукой. — Взрослые люди — неужели не стыдно?!

Мне тоже хотелось передать что-нибудь жене, чувствовал себя перед ней виноватым, но что? Пока размышлял, руку протянула Надя.

— Передайте одному человеку, что... в общем, что он хороший, славный парень.

Рагожин повернулся к Валентину.

— Велено передать, что ты хороший, славный парень.

Надя вспыхнула и закрыла лицо руками. Николай Николаевич улыбнулся и крепче прижал к себе стекло. А Михалыч произнес:

— Вот видите, он же ничего не понимает! Все путает!

— Как это не понимает?! — обомлел Валентин. — Как путает?! Михалыч, ты что?! Ребята, почему он так?!

Михалыч прикусил язык, да поздно: или признавай умение Рагожина, или... ставь под сомнение счастье Валентина.

Валька смотрел широко открытыми глаза-

ми... Да что там глазами, сама душа Вальки: непутевая, честная, дурная смотрела из глаз его на Михалыча!

Командир помялся и недовольно, через силу проговорил:

— Ну я не знаю... Ну... странно все как-то... Нас по-другому учили.

— Михалыч?! — взмолился Валентин.

— Ну черт его знает! — вырвалось у Михалыча. — Может, оно (что?) и есть!

Валька кинулся к командиру и крепко обнял его.

— Спасибо, Михалыч...

— Да я что... — произнес тот растроганный. — Я же не о себе... Наука...

Надюшка стояла смущенная, простая, красивая... Солнце опустилось над водой и густым оранжевым светом освещало кабину. Было торжественно и величаво, как в церкви.

Позавидовал я Валентину и Наде. «Дай бог, чтобы все у них было хорошо!» И протянул свою руку.

— Юрий Иванович... а мне? Как там... жена? Что думает, волнуется?

Ладонь у Рагожина была сухая, жаркая — уж не простудился ли?! Все притихли.

— Где... Где тебя... черти носят?! — Рагожин произносил слова, не вникая в смысл, его занимала только техническая сторона дела. — Чтоб ты... пропал, — тщательно выговаривал он. — Чтоб ты... сквозь землю провалился!..

Я слушал ошеломленный. Было такое ощущение, словно меня убивают.

— Друзья! Друзья! — захлопал в ладоши Померанцев. — Мы неоправданно теряем время. Необходимо передать в эфир призыв о помощи, сообщить примерные координаты...

Рагожин замялся.

— Видите ли, принцип контакта... я могу передавать, если знаю кому... Впрочем, я могу попробовать...

Он молча зашевелил губами, сосредоточенно глядя куда-то в себя. Теперь многое зависело от его умения. И, конечно, удачи. Опасность заметила Надя.

— Ой, смотрите!

К нам приближался кит.

Мягко и быстро темная, лоснящаяся спина двигалась прямо на нас. Фонтанчик над водой взлетал, как вымпел или как антенна...

— Прекратить подачу сигналов! — скомандовал Михалыч.

Рагожин сжал зубы и затряс головой, будто хотел стряхнуть, выпутаться из паутины.

— Мало, — спокойно проговорил Николай Николаевич, вглядываясь в кита холодными, ожидающими глазами, — мало прекратить, надо передать сигнал: «Здесь опасно!»

— Но я не знаю таких сигналов! Я по-китовому не понимаю!

— Сейчас некогда рассуждать, — твердо произнес Михалыч. — Иначе через минуту он будет здесь! И тогда!..

Рагожин сел на корточки, сжал голову ладонями и что-то отчаянно забормотал. Мы с нетер-

пением смотрели то на его плешилый затылок, то за окно. Кит по-прежнему таранил воду в нашу сторону. Солнце опустилось еще ниже и кроваво высвечивало его хребет. Но вот гигантское млекопитающее сбавило скорость. Я это определил по тому, что мне стало не так страшно. Кит взял правее и на дистанции четверть кабельтова начал обходить нас.

Рагожин скрежетал зубами и стонал от напряжения. Кит сделал полный круг и начал медленно приближаться. Подобного страха я не испытывал никогда. Если смотреть на кита по телевизору — это одно; если наблюдать вдалеке, допустим, с борта океанского теплохода, — это другое; но если ты еле держишься на плаву в полу затопленном самолете...

Кит приблизился на расстояние вытянутой руки (если бы, конечно, кто-то осмелился ее вытянуть!) и смотрел в упор своим огромным, неподвижным глазом. Затем выпустил фонтанчик воды (ноги у меня отнялись и перехватило дыхание), погрузился и... толкнул нас. Вода в трюме шлепнулась по бортам. Хорошо хоть ее стало меньше, а то не миновать нам катастрофы.

— Чего он? — негромко спросил Валентин. — Примеривается, что ли?..

— Тихо! — приложила палец к губам Надя. Она сразу догадалась, что движение кита ласковое.

— Что вы ему передаете? — Николай Николаевич тронул, потряс Рагожина за плечо.

Юра обернулся. Лицо его было почти безумным.

— Ничего, все будет хорошо, — подбодрил Николай Николаевич. — Когда человек действует во имя высокой цели, ему должна сопутствовать удача!..

Между тем кит толкнул нас еще, еще, и — самолет тяжело, неуклюже поплыл...

Стемнело. На небе доходчиво, как в планетарии, выступили звезды. Луна глядела начальственно и равнодушно.

Мы плыли в неизвестном направлении. Плыли туда, куда толкало нас гигантское млекопитающее. Что-то ждало нас впереди?

Убаюканный ровными толчками и плавным движением, я заснул в углу.

Глава восьмая

Мы в стаде китов

Когда я проснулся, солнце уже вовсю плавилось в кабине. Николай Николаевич, прижимая к себе стекло, чему-то улыбался во сне. Рядом похрапывал на боку Михалыч. Он втягивал носом воздух озабоченно, будто к чему-то принюхивался. Рагожин кемарил, привалившись небритой щекой к опрокинутому креслу. Жалко что-то мне стало Юре, уж больно привычно он чувствовал себя в этом унизительном положении.

Валентин спал, подставив Наде плечо, неудобно перекособочившись и окаменев. А Надюша нежно склонила ему на плечо свою голову, щечки у нее алели, дышала ровненько...

Я перевел взгляд за окно. Океан был спокойным, величавым, каким-то посвежевшим. Но что это? Вокруг самолета: и там, и там, и там, виднелись спины китов...

Пробудился Михалыч, поправил фуражку, встал.

— Гляньте-ка, куда нас занесло! — заорал ни с того ни с сего весело. — В стаде мы!

Кабина возвышалась над водой теперь значительно выше и не прямо, а с наклоном. Значит, воды в трюме поубавилось. Николай Николаевич с изумлением взирал в окно.

— Выходит, он принял наш самолет... за себе подобного!

Валентин, как ответственный за шов, первым делом полез в трюм, то есть — кают-компанию. Голос его отдавался гулко.

— Воды почти нет. Эй, Михалыч! Юрик! Надя!

Мы заглянули внутрь. Красиво! Ближние иллюминаторы светились живым, зеленоватым светом, а дальше было все темнее и таинственнее. Голос Валентина раздавался с самого низа, от туалета. Ботинки его шлепали по воде.

— Здесь ведер двадцать осталось! — задорно кричал он.

— Ладно, вылезь, — сказал Михалыч. — Людям в туалет надо, а ты там гарцуешь, как... конь...

Ох уж этот Михалыч! Я уже целый час терпел, и ничего, а он — прямо, по-солдатски...

Пока мы приводили себя в порядок и готовились завтракать, среди китов произошло ожив-

ление. По двое, по трое они подплывали к нам, зачем-то широко разевали розовые, обширные пасти. Волны от их тел качали наш самолет, и он тоже в ответ как бы приветствовал их кивками.

Вода за борт течь перестала. Михалыч свернул и убрал шланг в карман.

Чаще других к Тушке подплывал кит, вернее, молодая, ладная китиха. Померанцев определил ее пол по взгляду: у женщин, объяснил Николай Николаевич, он всегда вбирающий, тогда как у мужчин устремленный вперед или, на крайний случай, застывший.

Сначала китиха делала вид, что ее интересует что-то совсем иное и рядом с Тушкой она оказалась случайно; потом — будто забыла что-то и не может найти; и только потом, раз на пятый-седьмой, подплыла совсем близко и доверчиво потерлась боком о фюзеляж.

Я заметил, как испуганно вздрогнул Рагожин, как грустно улыбнулся чему-то Николай Николаевич...

— Никак она влюбилась в нашего... в Тушку! — обомлел Михалыч. — Что делать-то будем?

Все загомонили, стали гадать, как быть? Случай-то из ряда вон выходящий!

Что бы там ни было, решили украсить Тушку, а уж потом ремонтировать. Надя дала свою косянку. Валентин высунулся в окно и с трудом, но приладил Тушке бант.

— Это прям черт знает что такое! — проговорил Михалыч, поплевал на стекла и протер их ветошью.

Глаза у Тушки засияли. Бант трепетал на ветру. Крылья лежали на воде мощно, сильно, доверчиво. Невозможно было смотреть на Тушку без волнения и гордости.

Китиха робко подплыла к нему и бочком-бочком прислонилась под крылом. И такое впечатление было, что обнял ее Тушка крылом, приголубил, пожалел.

Мы замерли и молча наблюдали. Неожиданно среди стада произошло движение. Один из китов заколотил по воде хвостом и двинулся к нам.

— А ведь дело принимает крутой оборот... — сказал Николай Николаевич с каким-то философским любопытством.

— Я так и знал! — в сердцах крикнул Михалыч. — Ох уж эта мне любовь!..

Валентин вдруг схватился за топор и полез к окну.

— Я ему рыло расквашу! Он у меня, сука, планктон ушами жрать будет!

Михалыч ухватил его за ногу. Я подоспел на подмогу, еле выдернули буровика из рамы. И тут Рагожин проговорил медленно и внятно:

— Ручаюсь, что один сигнал они понимают...

— Какой? — повернулся Михалыч.

— «Бери правее». Я понял это еще вчера, когда кит изменил движение, и если бы я...

— А ну-ка, давай!..

Юрка сжал голову ладонями, как наушники надел. И зашептал.

Кит скорости не сбавлял, приближался неумолимо.

— Тихо! — Михалыч что-то смекнул. — А ну-ка, передай только первое слово: «Бери».

Я обрадовался находчивости Михалыча, но, взглянув на остальных, спохватился: что ж получается — мы отдаем нашу китиуху тому?!

А тот остановился, выпустил высокий фонтан. От пристального внимания к происходящему даже волны стали меньше, скучожились в рябь.

— Я сам видел, у нее на глазах слезы! — Валентин обращался почему-то к Михалычу и Наде. — Сам видел... слезы!

— Друзья мои! — Померанцев встал, он по-прежнему держал стекло. — Друзья, я не могу, не имею права приказывать, но и ценой своей жизни я не буду разрушать чужую любовь!

— Это не разрушать, это — предательство! — Надя встала рядом с Померанцевым. Валентин присоединился к ним.

Вот оно как обернулось: раскололся наш дружный экипаж. А ведь мы были еще в начале пути.

Рагожин уж минуту как прекратил подачу сигнала, а кит пока не двигался — выжидал.

— Вы что, ополоумели все, что ли?! — заорал Михалыч. — Это ж только военная хитрость! Оттянуть время. Принять правильное решение. Перегруппироваться! А вы?! Да за такие подозрения!..

— Он разворачивается! — завопил Рагожин. Кит разворачивался и готовился к атаке.

— Ну вот, потерял пять минут! — выкрикнул Михалыч. — Из-за вашего либерализма! Из-за

недоверия! А не доверяете — так сами и коман-
дуйте! Завтра же уйду к чертовой матери! Я в
сержантской школе еще был на первом счету!
Мне медаль «Двадцать лет безупречной службы»
дали, когда я только пять месяцев отслужил! Да
я, если захочу!..

Он ругался, грозил, но дело делал. Вот что
значит выучка, высокий профессионализм и на-
стоящее, непоказное мужество.

Жизнь довольно часто преподносит нам по-
добные уроки, но лишь по истечении времени
(иногда весьма долгого) осознаем мы красоту и
силу чужого поступка. Осознаем, глядь — а bla-
годарить-то уже и некого...

Михалыч раздевался: снянул сапоги, снял и
ровно сложил в углу обмундирование. Остался в
синих сатиновых трусах и голубой майке. Седо-
ватые волосы покрывали грудь, и оттуда, как из
тумана, летел вытатуированный орел. На правой
руке, чуть ниже локтя, было написано: «Так дер-
жать!», на левой — зачеркнуто женское имя:
«Аня»...

Из кармана сложенных брюк Михалыч достал
разводной ключ. Мне протянул свой бинокль и
велел смотреть задом наперед, чтобы не страшно
было. Обо всех подумал, обо всем позаботился, а
мы подозревали его в низменности, неблагород-
стве!

Михалыч взял в зубы гаечный ключ и пошел к
окну. И — остановился... Вот они где оказались,
те пять минут, что мы у него отняли: он не успел
рассчитать — пролезет ли в окно! Михалыч не
пролезал...

Глава девятая

Любовь и подвиг

Тушка любил дважды: в детстве — авиазавод, давший ему жизнь, в молодости — «Каравеллу», авиалайнер французской компании «Эр-Франс». С «Каравеллой» он познакомился в международном аэропорту Орли...

Ах, молодость, молодость!.. Он любил так пронзительно и страстно, что временами казалось, душа не выдержит переполнявших ее чувств и разорвется на части. А что же люди? Поставили его на капитальный ремонт, и он больше не летал на международных линиях. Как-то лет пять спустя, во Внукове, увидел он «Каравеллу» (рейс 618 Париж — Москва), и так сделалось грустно и обидно за жизнь свою несложившуюся!.. Эх!..

Тронула его сердце преданность женщины-кита, тихой радостью наполнила душу. Стакировская любовь светла, заботлива, благодарна. Афродита — так назвал Тушка мысленно свою желанную. И не потому, что она появилась из волн, и не потому, что буква «а» первая в алфавите (хотя, разумеется, и это сыграло свою роль), а потому, что после букв «а» и «ф» идет слог «род» — родная, родить, родина...

Тушка готов был для Афродиты на все, не мог лишь пожертвовать собой. Не один он был, с нами. Заслонил Тушка Афродиту правым крылом, выставил вперед левое...

Трогательно было на это смотреть, особенно

из окна кабины. Трогательно, печально и, чего греха таить, — страшно!

Михалыч играл желваками, на лице Померанцева тлела забытая улыбка. А я вспоминал старое московское кладбище (Пятницкое), где ютились могилки моих предков с отцовской и материнской сторон по воле судьбы ли, случая оказавшиеся почти рядом.

— Смотрите, что происходит! — вскричала Надя.

А происходило вот что: киты вдруг все развернулись и уходили от нас. Соперник Тушки уходил последним... Мы переглянулись.

— Я улавливаю какие-то сигналы, — встревоженно проговорил Рагозин. — Не пойму какие... Я боюсь!.. Мне хочется бежать!

Афродита тоже заволновалась. Она освободилась из-под крыла, отплывала и вновь подплывала к Тушке. Она куда-то звала за собой.

Вода вокруг ходила ходуном, самолет качало, брызги поливали стекла.

— Смотрите! — воскликнула Надя и отшатнулась, спряталась за Валентина, прижалась к его спине.

На расстоянии полукилометра от нас всплыvalа подводная лодка...

— Черт возьми! — Михалыч торопливо натягивал форму. — Мы в нейтральных водах! Надо радиоровать...

Он не договорил, стальное чудовище выплюхнулось из воды: струйки, как змеи, стекали с его стальных боков, рубка торчала воинственно и казенно, как ручка перевернутого пистолета.

Мы были беззащитны, распластанные на воде и даже неспособные подняться в воздух. Что лодка не наша, ясно было с первого взгляда: темная, хищная, с опознавательным знаком «44», так похожим на эсэсовские молнии... Стыдно признаться, захотелось закрыть глаза, а когда снова открыть — лодки чтобы не было. Ох, нет ничего в жизни хуже, чем ощущение беспомощности!

И тут произошло то, что я никак не ожидал и до сих пор не могу забыть. Отчетливо, будто было вчера, вижу я эту картину, и слезы наворачиваются мне на глаза. Нет, не могу! Простите, не могу.

(Привожу запись из бортового журнала.) «...в 10.45 китиха Афродита последний раз подплыла к Тушке, ткнулась мордой в головную часть самолета, затем, резко изменив маршрут, устремилась к подводной лодке с опознавательным знаком «44». В 10.49, набрав предельную скорость, китиха грудью ударила неизвестную подводную лодку, лишив ее маневра и выведя из строя системы наведения. Более тело китихи Афродиты на поверхности не появлялось...»

Мы тяжело переживали потерю нашей общей любимицы. За короткое время мы успели привязаться к ней, полюбить... Что уж говорить о Тушке... Как он перенес эту потерю, одному ему известно. Видимо, утешало его, что и ему недолго еще быть на этом свете, что встретятся они там (где же?!) и обретут наконец заслуженные счастье и покой...

Впрочем, и люди частенько думают так же.

Глава десятая

Остров, не обозначенный на карте

Штурм начался неожиданно. Сначала появились быстро бегущие перистые облака. Как гонцы, как предвестники, а потом...

Мы не заметили предупреждения. Мы были потрясены разыгравшейся на наших глазах трагедией. Штурм восприняли как бешенство океана, как гнев и возмездие. А может быть, так оно и было? Впоследствии не раз я отмечал, что проявления водной стихии в чем-то сродни человеческому характеру, а значит... Однако такие обобщения делать еще рано.

Штурм навалился. Дикие волны гигантскими шагами ходили по океану. Молнии озаряли потемневшее небо, как оскал зубов, как восклицание: «А-а, вы еще здесь?!»

Нас относило все дальше и дальше на юго-восток. Подводную лодку относило на запад, и оттуда слышались крики «Спасите!» на языке НАТО.

...Штурм бушевал двое суток. Наши силы были на исходе. Когда появилось солнце, первое, что мы увидели, — нас несет на скалы!

Скалы стояли воинственно, а некоторые даже выскочили навстречу, так им не терпелось нашей гибели!

Ослабленные борьбой с водной стихией, мы были поражены новым коварством и уже готовы были смириться со своей участью. И, возможно, смирились бы (никогда!), но стоял перед глазами подвиг китихи Афродиты. Второй раз своим по-

ступком она нас спасла — заставила действовать, найти силы, принять решение.

А решение было столь смехотворно легкое, что, не прими его, цена нашей смерти обозначалась бы в ломаный грош.

Николай Николаевич Померанцев! Это он догадался, что изменить направление самолета можно поворотом руля — хвост-то у самолета до сих пор был в воде.

Мы гурьбой кинулись поворачивать штурвал, и пассивности и покорности как не бывало. Опять была сплоченная и сильная команда.

Я еще раньше заметил на светлой песчаной отмели темные продолговатые предметы, но что это могут быть киты...

Шурша песком, Тушка въехал на берег. Волна, что вынесла его, отбежала назад.

Жутко было глядеть. Киты лежали на песке, как протест, как укор. Обида, непреодолимая обида на несправедливость висела в воздухе над их телами. Она была прозрачна, и увидеть ее мог только тот, кто хотел увидеть... Это были наши киты. Вот тот, что дальше других выпрыгнул на берег, три дня назад буксировал нас в стадо. Я невольно стал искать глазами Тушкиного соперника. Он лежал ближе всех к воде, вероятно, до последнего ждал Афродиту...

Что их заставило выброситься на берег? Штурм — это им привычно. Тогда что — подводная лодка, которая отняла у них подводное могущество? Страх перед загрязнением окружающей среды? А может быть, в знак протesta против милитаризации Мирового океана?

* * *

На географической карте остров не значился. Решили, что на берег сначала сойдут Валентин и Рагожин. Обследуют местность, возьмут пробы грунта, разведают запасы пресной воды.

Надя волновалась, хотела что-то сказать.

— Что вы, Надюша? — подбодрил Померанцев. — Вас что-то смущает?

Валентин уже выкинул за борт веревочную лестницу и спустил одну ногу. Стоял так, смотрел преданно на Надю.

— Я... я предлагаю назвать этот остров именем Афродиты!

Голос девушки прозвучал высоко, обнаженно и сорвался, как бывает, когда человек говорит то, что для него сокровенно и свято.

«Ну откуда, откуда в ней?! — подумал я. — Широта мысли, понимание масштаба происходящего, проникновенность...» Вроде бы пустяк — название острова, но я почувствовал, что стал богаче. Будто не в сберегательной книжке, а в какой-то другой (уж не в книге ли судеб?) кто-то заполнил еще одну строчку. И нисколько не удивился имени Афродита, хотя вслух оно было произнесено впервые.

Мы поздравили Надю. Николай Николаевич поцеловал ей руку. Рагожин чмокнул в щеку. Михалыч взлохматил волосы. Валентин засмутился, смешался, не зная куда деть свои руки, сунул их в карманы и — свалился вниз.

Следом спустился и Рагожин. Они помахали нам на прощание и пошли... День был солнеч-

ный, умиротворенный, и казалось, все будет хорошо... Если не смотреть в сторону китов.

Тем временем принялись за ремонт самолета. Михалыч — материалист — полез в душу к Тушке с паяльником и отверткой. Запахло канифолью, жженой резиной.

— Ты у меня будешь как новенький, — приговаривал Михалыч. — Ишь что вздумал — тосковать! Да если каждый начнет — работать будет некому!

Николай Николаевич грустно улыбался, слушая Михалыча, и старательно выводил на карте вдоль всего Тихого океана: «Остров Афродиты». Надежда, подоткнув юбку, мыла в кают-компании пол.

Я послонялся немного без дела и сел в проеме люка, вдыхая новый воздух и покачивая ногами.

За песчаной отмелью начинались кусты, еще дальше взбиралась в поднебесье лиловая гора. Меня насторожило, что она была какая-то слишком ровная, будто придуманная мной. Почему? Я не успел додуматься, как услышал крик о помощи. Кричала Надя.

...Мы нашли ее без чувств, лежащую у туалета рядом с ведром и тряпкой. Михалыч опустился на колени, легонько потряс девушку за плечи.

— Надюшка, очнись! Что с тобой? Ты меня слышишь, это я...

Надя открыла глаза. Не понимая, издалека вернулся ее взгляд.

— Наденька, Надюшка! — обрадовался Михалыч. — Что с тобой?..

— Весь остров... — прошептала она. — Весь... остров...

И вновь потеряла сознание.

Мы подняли обмякшее девичье тело, пронесли вперед и уложили на кресла 1а и 1б. И тут меня бросило в жар.

— Весь остров!.. — это Рагожин послал нам какой-то сигнал! Они что-то узнали. Они в опасности! А кому Рагожин может сообщить? Михалыч ему не доверяет...

— Я чего... я, если...

— Вам, Николай Николаевич, он постесняется... А Надя — она же, наверное, постоянно думала о Валентине и первая приняла сигнал. И он ее... поразил.

— За мной! — заорал Михалыч. — Никола-ич, за мно-ой!.. — загромыхал шажищами по кораблю. Уже снизу, от земли, донеслось: — Ребяты-ы!.. Держи-ись!..

Я взял оставленную Померанцевым подзорную трубу, навел на лиловую гору. Сначала все было как в тумане; потом, когда поправил резкость, увидел... дощатый сарай, горку наколотых поленьев... Я повел трубу влево — загорелый, лет 28, мужчина в голубой майке пилил дрова. Тыльной стороной ладони убрал со лба темную челку, улыбнулся... Ноги у меня задрожали. Я повел трубой дальше: спиной ко мне пилил дрова пожилой... Белая рубаха навыпуск, сутулая спина, волосы редкие, седые... Он обернулся — это был мой дедушка!

Все в голове у меня закружилось. Отца я тоже сразу узнал, но боялся поверить, а теперь, когда

дедушка обернулся... Но куда? Куда обернулся дедушка, кого он зовет? Карапуз на толстеньких косолапеньких ножках топает к нему, вытянув ручонки, ой-ой, сейчас упадет! Нет, сзади его успевает подхватить молодая, веселая, хохочущая — моя мама!

Я узнаю, вспоминаю, это мы в гостях у бабушки в Голованове. Мама с папой еще живут дружно, они еще не развелись, и я просыпаюсь и засыпаю счастливый! Я не люблю взрослых, которые спрашивают: кого я больше люблю — папу или маму? Я терпеливо и снисходительно отвечаю: «Обоих», «Однаково», «Без чуть-чуть», «Очень крепко»... Но я уже знаю, что дальше будет — за обедом: «После работы — святое дело!» — отец выпьет рюмку (маленькую рюмку прозрачной водички, от которой, он дает мне понюхать, пахнет невкусно), затем сразу же и цепко — вторую... Он начнет говорить громче, лицо станет красным, мама будет смотреть на него вопросительно, радость у меня внутри пройдет и останется какая-то натужность...

Опустил подзорную трубу... И тут, как молния, осветила меня догадка: «Весь остров — мираж!» Вот что хотели передать нам наши друзья! Но где они сейчас?! В каком мираже?! Необходимо было срочно вернуть Николая Николаевича и Михалыча.

Я пристегнул Надю ремнями и спустился по лестнице. Песок под ногами был плотный, сырватый. Я оглянулся на самолет и побежал. И вроде бы успел пробежать всего несколько метров,

как — что такое?! Меня обогнал грузовик! Разболтанный, подпрыгивающий на ухабах, он оставил облако пыли, а когда пыль осела — передо мной был бабушкин дом! Это было мое детство. Это был мой мираж.

...Отец сидел на бревне и курил папироску «Прибой».

— Витька?! — закричал он куда-то мне за спину. — А ну иди сюда, шельмец!

Я обернулся. От крыльца дома шел... я маленький. В коротких штанишках на лямках, рубашка выбилась наружу. Мордашка виноватая, чумазая. Подошел, осторожно, чуть помедлив, тронул мои ручные часы пальцем.

— «Победа»?

— А-а?.. Не-ет... «П-полет»...

— «Победа» лучше. У Сашкиного отца «Победа», он говорит....

Я слушал и не слышал. Слезы выступили на глазах. Я вспомнил, — как же я мог забыть! — что у моего отца не было ручных часов, а у Сашкиного отца... И Сашка всегда хвастался, а я говорил: «Ну и что, вот вырасту и куплю папке часы, вот!» Ой-ой-ой! И разом все навалилось: часы, мамин выходное платье, которое почти всегда висело в шкафу и убийственно пахло нафтalinом, а у нас с братом — заплатки, заштопанные чулки, ботинки «просят каши»...

Отец аккуратно задавил окурок каблуком, поднялся. Мы стояли друг против друга, мой отец был моложе меня, меньше ростом и — чего уж греха таить — проще!

Я неловко протянул руку.

— Виктор...

— У меня младший тоже... Витец. — Отец не удивился, он вообще никогда не удивлялся, оглядел меня, как закрытую пивную палатку — ничего, мол, не поделаешь. — А вот и старший... (Чего-то отец любил хвалиться нами, когда мы были маленькими.)

Из-за сарая, набычившись, выходил паренек с презрительными и обидчивыми глазами молодого властолюбца.

Колька!.. И стыдом опалило, будто виноват я, что знаю, какая ждет его судьба...

Я суетливо начал копаться в карманах, наконец догадался — выхватил из бокового авторучку и протянул. Очень он любил в детстве разные (поломанные, конечно) самописки, зажигалки, фонарики, перочинные ножики.

Колька даже руку из портока не вынул, смотрел в упор, презрительно, словно я его подкупить хотел (а может, так оно и было?). Потом вырвал авторучку из пальцев и ушел за сараем.

— Пошли в дом, гостем будешь! — отец хлопнул меня дружески по спине.

Я взял ладошку маленького Вити, и мы: я, я маленький и молодой отец — пошли в дом, где нас ждала мама.

С мной она поздоровалась доброжелательно, а меня маленького подняла, обняла и стала целовать в чумазые щеки, в шею, а я смеялся, увертывался, стеснялся.

— Ты мой хорошенъкий! Мой сладенький! Мое солнышко! — приговаривала она.

Дедушка в углу уважительно слушал радио — большую черную тарелку над комодом. Бабушка накрывала на стол.

— Садитесь! Все остынет!

Сели: мама, папа, дедушка, дядя Митя, тетя Аня, дядя Сережа, тетя Тоня; Ленка, Борька, Васька, Наташка, еще Васька — мои двоюродные братья и сестры. Хмурый сел (будто делал всем одолжение) с краю Колька, а я втиснулся рядом с отцом... Лишь Витя маленький где-то запропасился. Я поискал глазами, но отец уже тянул ко мне рюмку.

— За встречу! За знакомство! — и отчаянно: — Будем здоровы!

Чокнулись. Хватко выпили. Заговорили.

Я посмотрел по сторонам:

— А где... Витя?

А тут бабушка справа: «Что ж вы не закусываете?! Вот огурчики, винегрет, грибочки тоже попробуйте...» Через стол рассудительно дедушка: «Селедку берите. Селедочка — зверь!»

Грибы были действительно вкусные, картошка рассыпчатая, селедка — мечта, запорошенная резаным репчатым луком, как в кружевах.

— А ну, еще по одной! — подгонял отец. — А теперь еще!..

— Мне хватит, я уже...

— За Сталина! — заорал отец. Выпили, как в штыковую пошли.

И скорее огурчиком — хрум! Глаза блаженно зажмурились — ух, славно!

— А где Витя? — я огляделся.

— А хренок-то, хренок забыли! — это тетя Тоня, которая следит за мной ласково, но упорно, как за шпионом. — Или вы не едите? Некоторые не едят... Тогда вот горчицу возьмите.

— Вы на каком, простите, фронте?.. — это дядя Сережа. — Не-е, я вижу: человек пожилой... (это я-то!).

— Я!.. Я, знаете, кто я?!

— За мир между народами! — оповестил отец.

Браво и тщательно выцедил, опорожнил стакан, которым (когда успел?!) заменил себе маленькую рюмку (самую маленькую — эх, пропала бабушкина хитрость!).

За столом сделалось совсем шумно. Я вспомнил про часы. Теперь было уже нестерпимо их не подарить. Долго пришлось толкать отца в тугое плечо, он что-то рассказывал дяде Сереже, слышалось: «Да я!.. Фактически!.. Нет, ты смотри сюда!..»

— Ты чего? — обернулся он.

Я снял с руки часы и протянул.

— Возьми. У тебя ж... нету...

Да, подзабыл я отца своего, помню только недавнего — старенького, седенького. Жалобы его на неправильную антиалкогольную политику: «Ты пойми, если я отстоял в очереди два часа, возьму я одну бутылку — конечно, нет! Я возьму две. Или три... А выпью я их? Конечно, выпью, кто ж утерпит!»

— Часы! Часы! Часов мы, что ль, не видали!

Он сгреб мой подарок в кулак, чего-то пьяно сообразил, размахнулся и швырнул их в откры-

тое окно. Вот так. Как сказала бы другая бабушка: «Все не как у людей!»

Ну тут, разумеется, переполох: женщины, дети — быстрее всех — во двор искать, а отец, подмигнув мне, лихо и требовательно:

— Выпьем!

Мы выпили. С чувством. Проникновенно. По-братски. Словно делали очень хорошее дело.

— А где?..

— Р-раскинулось море широко!.. И волны бушуют вдали!.. — наотмашь запел отец.

Я хотел что-то спросить, но уже не помнил что. Еще слегка томило чувство, что я упустил, забыл о чем-то, но скоро и оно отлетело. И стало просто и необременительно. Я всем нравился, мне все нравились, спать я еще не хотел, но меня укладывали, а я не хотел — ведь всем же так весело!

— Я... с-скажу самое г-главное! Тс-с!.. Внимание! Сам-мое г-глав-вное — я ваш ровст... родственник! Хы-хы-хы!.. Уви... у-удивились?! Баушка, я ваш ву... внук! Лано, я лягу, а завтра... А где деушка?! Деушка!.. П-помнишь, как мы ха-хадили в баню?! В-все!.. Спать!.. Я уже сплю... сплю...

От подушки приятно пахнет домашним теплом. Почему от других подушек не пахнет так вкусно?!!

— Все! Я сплю... Все...

Проснулся я зябким утром. На вершине сопки. Тучи ходили надо мной низко, словно одеяло. И первое, что пронзительно резануло сердце, —

Витю, маленького Витю, не увидел больше вчера, не поговорил! С мамой не попрощался, не поцеловал... Сидел за столом, жрал, пил, говорил глупости, а Витю и брата своего Кольку не видел больше, не сказал напутствующих слов, не предостерег! А ведь я знал! Знаю, черт возьми! — что их ждет впереди в жизни. Ну и свинья же я! Как тут кого-то винить: мать, отца, что у Кольки случилась такая трудная судьба, когда я сам! Впрочем, если это мираж?.. Если это мираж, — я немного поостыл, — тогда еще ничего, тогда еще... Но голова болит, будто с похмелья.

Я встал. Вниз по склону уходила тропинка, редкий кустарник и клочья травы обрамляли ее путь. Утро белесое, какое-то еще не проснувшееся. Было прохладно, я застегнул на рубашке верхнюю пуговицу, застегнул пиджак и пошел.

Камешки сыпались из-под ног. Инерция с чисто женским коварством подталкивала побежать. Побежать, еле успевая перебирать ногами, а потом шлепнуться, испачкаться, возможно, поцарапать руки... лицо.

Но и сдерживать себя — нелегко.

Я побежал.

Глава одиннадцатая

След!

Да, это был след! След человека, который шел на руках. Михалыч отпрянул. Елочка следов: ладонь левая — ладонь правая, четко впечаталась в сырой песок побережья и уходила в сторону леса.

Михалыч оглянулся, Померанцева рядом не было. «Куда ж он запропастился?!» Михалыч хотел крикнуть и замер с открытым ртом — на встречу ему из леса медленно выходила группа людей. Шли они на руках. Михалыч оцепенел, как-то омертвел даже. Привыкший к ясности во всем, и в опасности тоже, он не растерялся бы, увидев тысячу, две тысячи вооруженных врагов! А тут — на руках... в набедренных повязках... В правой ноге каждый сжимал копье.

Всякое повидал Вожжеев на своем веку, а такое — впервые. Хотя, если честно, давно в нем зрела догадка, что подобное может быть. Еще когда в детдоме разучивали песню про свое счастливое детство...

Глаза смотрели исподщечья пристально и угрожающе, длинные волосы тащились, как хвосты. Приблизившись, незнакомцы угрожающе взмахнули копьями.

Михалыч глянул на небо, на землю, ожидая, что и они поменялись местами, — нет, в природе все существовало по-прежнему: трава росла вверх, солнце светило с неба вниз и осколками отражалось в юрком ручейке, который, казалось, нарочно бежал так быстро, чтобы не видеть дикости происходящего.

— Коля! Витя!.. — закричал Михалыч, но даже эхо не отзывалось, будто кто поймал слова на лету и утопил в воде. Ну что ж, испытывай, судьба, проверяй мужика на крепость, да смотри не обожгись.

Выхватил Михалыч из штанов разводной ключ, замахнулся: а ну, подходи, кому жизнь не-

дорога! Ему бы помедлить: поздороваться, улыбнуться, поговорить о погоде, может, и не дошло бы до рукопашной... Да что уж ему пенять: в дипломатии он никогда силен не был — трудяга, боец, командир — всю жизнь грудью вперед. У него и грудь-то словно для боя и орденов.

Замахнулся Михалыч, но разве справиться одному с оравой дикарей? Даже если гаечный ключ из металла, а у них наконечники пока еще каменные.

* * *

Имя Надежда Наде дал папа. Мама настаивала на имени Зоя в честь заведующей промтоварным магазином Зои Павловны Горячей. Папа единственный раз настоял на своем. Сказал: «Должна быть Надежда...»

Родители души в дочке на чаяли, и всякий по-своему хотел ей счастья. Папа для этого работал день и ночь, не видя дочку неделями, а мама думала, что чем больше игрушек и тряпок, тем ребенок счастливее. И если бы не бабушка Пелагея Федоровна, неизвестно, как бы сложилась судьба Наденьки.

Бабушка любила рассказывать внучке сказки, которые сама и сочиняла. Бывало, Наденьке не хочется слушать, а Пелагея Федоровна пристанет: «Расскажу да расскажу!»

— Ну, расскажи, — вяло согласится внучка, — только маленькою.

— Вот, значит, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была бабушка Пелагея, — начинает рассказывать бабушка, — и по-

шла она как-то в булочную, а хлеб там завезли черствый — топором не разрубиши! И решила тогда бабушка пожаловаться в райсовет. Пожаловалась и стала ждать: год ждет, два... три...

Многое узнала из тех сказок Надя, очень ей потом пригодились они в жизни!

Бабушка, мама, папа... поселок Крутояр на Херсонщине — как вы теперь далеко! Папа, наверное, на огороде возится с поливалкой. В маинке, весь мокрый... закручивает что-то отверткой и кричит маме в сторону веранды: «Опять сальники не держат!» А мама с полотенцем на плече, вытирая тарелку, отвечает: «Тебе всегда какую-нибудь ерунду всучат! Вот у Ефимовых без ремонту, а третий год поливает!»

А может быть, мама стоит сейчас в промтоварном магазине перед прилавком, держит в вытянутых руках кофточку и мучительно соображает: «Кофточка хорошая... и расцветка... и фасон... Но с белым не наденешь, к цветному не подходит, к вишневым туфлям она бы подошла, но они сейчас не модны, а зеленые с бантиком — слишкомзывающе! Хорошая кофточка, но с чем носить? С чем?!!»

А бабушка, она, наверное, на кухне ловко и ладно шмякает на большой противень пирожки, или шанежки, или оладушки и, конечно, вздыхает: «Эх, Надюшки рядом нету! Некому сказку рассказать!»

...Надя очнулась от толчка. Толкнуло ее сидение 16. От удивления Надя и очнулась. И сразу все вспомнила, вскрикнула и прижала ладонь к

губам, как это делали ее мама, бабушка, прабабушка, пра-прабабушка и пра-пра-прабабушка в минуты горя и сильных переживаний. «Весь остров — мираж! — вспомнила она. — А я?! Почему я лежу? И где все?!»

В самолете была та особенная тишина отсутствия людей. Надя взглянула в иллюминатор. Темные тучи наползли на остров, небо хмурилось, океан ворчал. Грязнул гром, полоснула молния...

«Ой! Они промокнут!» — подумала она про Валентина и про других, почему-то тут же забыв, что остров — мираж. В детстве она боялась молний, в юности ей чувствовался в молнии какой-то вызов лично ей — хотелось рвануться на встречу — и победить! Когда поступила в институт и переехала в Москву, молнию, которая появлялась в столице значительно реже, замечала с удивлением и неосознанной грустью.

Надя сидела, скавшись в комочек, слушала, как молотит по обшивке дождь, и невдомек ей было, что вместе с ней так же остро и глубоко переживает... кресло.

Самолетное кресло, порядковый номер 1б, всю свою жизнь провело на вторых ролях. Много за спинкой налетанных километров, но много и обид. Сосед, кресло 1а, всегда ходило у пассажиров в любимчиках: в него садились с удовольствием, сразу начинали смотреть в иллюминатор; если летели с детьми, показывали с ласковой щедростью вниз: «Видишь, какие домики ма-

ленькие! А вон речка блестит!.. А это облако — как вата!

В кресло 16 пассажиры садились как бы вынужденно, при взлете и посадке норовили заглянуть через плечо соседа в иллюминатор. А когда самолет приземлялся, с кресла торопились встать. Все это наложило отпечаток на его характер — замкнутый, обидчивый. Не жаловало оно пассажиров, платило им их же монетой: равнодушием и пренебрежением. А Надюшку приветило. И не тяжесть, а удовольствие испытывало, и переживало, конечно, за нее, но сделать ничего не могло — только толкнуть в нужную минуту. Впрочем, и это подчас очень важно.

Мощные дождевые потоки хлынули на берег и потянули Тушку в океан, а люк был открыт...

Надюшка опомнилась, когда самолет уже закачался на волнах и по салону потекли тонкие ручейки. Она кинулась закрывать дверь и захлопнула ее перед большой волной, которая уже готовилась прыгнуть внутрь.

Глава двенадцатая

В мире растений

Первая крупная капля дождя упала Николаю Николаевичу на нос. Вторая угодила прямо в глаз, когда он поднял голову к небесам, третью он поймал в кулак, разжал пальцы и долго любовался на маленькую, нежную частицу влаги...

Четвертая капля упала мимо.

...Уже несколько часов (так ему казалось) он

бродил среди диковинных, сочных, ярко-зеленых растений с пышными цветами. Самое поразительное, что цветы — излучали музыку! Десятки, а может быть, сотни мелодий наполняли вокруг воздух. Странным образом они переплетались, создавая какое-то общее, полнозвучное впечатление о мире, о небе. Николай Николаевич, опьяневший необъяснимым воодушевлением, тоже пытался что-то напевать. Изредка он звал: «Валя!.. Юра!.. Петр Михайлович!..» Звал радостно — была уверенность, что они тоже где-то здесь и приглашали его сюда насладиться, удивиться. Казалось, что он встретит их вот-вот за соседним кустом, и они обнимутся и будут много смеяться; а потом нарвут охапки цветов, и побегут наперегонки к самолету, и станут наперебой рассказывать Наде: где они были, что видели; а потом, конечно же, все вместе вернутся сюда и, может быть, останутся здесь, поживут на этом сказочном острове, а уж затем полетят, поплынут дальше — искать Тунгусский метеорит — и обязательно быстро найдут его.

Подул ветер, и звуки сделались тревожнее. Из больших алых бутонов зазвучало что-то волнующе-маршевое; нежный, свадебно-белый колокольчик затренькал звонче; куст, похожий на шиповник, только крупнее и мясистее, заколыхал какими-то оперными, бархатными звуками... И лишь неприметный, бледненький бутончик на длинной изнуренной ножке запел обрадованным, пробуждающимся голоском и потянулся к небу, ловя дождевую каплю, поймал, упруго

вздрогнул, умылся влагой и, раскрываясь, зазвучал еще более жадно и сладострастно.

Гром грянул, молния прошила небо. Страшно и весело одновременно. Николай Николаевич застыл на месте, но что это? Когда захотел сделать шаг — не смог.

Дождь хлынул как из бадьи. Листья, цветы, трава уже не вздрогивали от ударов, а покорно стояли, обессилевшие, отяжелевшие. Музыка смолкла. Померанцев глянул на свои ноги — они вросли в набухшую водой почву. Он оглядел себя, и голова пошла у него кругом. Он стал кустом...

Кончился дождь столь же внезапно. Солнце осветило небо и землю. И Николая Николаевича Померанцева. И замлел он весь под солнечным светом. «Хорошо-то как. Господи! Благодать!..» И другие цветы ожили, и трава — словно кто ее, умытую, гребешком расчесал. А кусты, кусты — будто павлины! И музыка опять величественная, свободная!..

«Вот жизни! — думал куст Николай Николаевич. — Праздник! Вот, оказывается, какое оно — счастье! Но что же это был за дождь? Что за неведомая сила, уж не космического ли, божественного значения она?! А я — не избранник ли я неба, кому даровано счастье за ум, талант, за понимание?..»

Однако немного огорчало (самую малость) и раздражало (чуть-чуть) поведение разжиревшего соседа: громче всех он выводил свою нудную пес-

нию; очень уж бесстыдно обнаженный был его голый, вытянувшийся стебель; а распустившийся бутон напоминал искривленный в ухмылке рот. Но ведь в ту сторону можно и не смотреть...

А так все замечательно! Николай Николаевич пил корнями грунтовые воды, сверху ласкало солнышко, ветерок играл, забавлялся с листвой... Вот только раздражение выросло, словно и оно пустило корни (а может быть, и пустило в душе Николая Николаевича?). И вытягивало из его души соки, насыщаясь? Уже хотелось отвернуться не только от соседа, но и от других, которые подпевали ему (а были и такие!).

Н. Н. Померанцев пил чистые воды, грелся на солнышке, сам мог похвастаться цветами (да еще какими!), но уже не чувствовал ни приятности и свежести воды, ни благодарности к светилу не испытывал, цветов своих не замечал.

А вокруг цвел праздник. Но Николай Николаевич в нем уже не участвовал. Убежать ему хотелось, рвануть с корнями из земли — и вприпрыжку. Чтоб ветер в ветвях свистел! Куда? Вот тут мыслей иных не возникало — к Тушке, к своим... Одно-единственное желание: «К своим!» И такое сильное: увидеть — и умереть. Добежать, упасть, дотянуться... Чтобы Михалыч, и Рагожин, и Валентин, и Витя, и Надя склонились над ним взволнованные, чтобы Михалыч сказал: «Живой!», чтобы Надя всхлипнула, чтобы Валентин погрозил в сторону кулаком: «Ну я им!..», чтобы... чтобы... А там — и помереть!..

Слезами обливался куст Н. Н. Померанцев,

сох, чах. И как же скоро он превратился в голые, почерневшие прутья! Лишь один еще зеленый листочек удерживался на ветвях, давая знать, что жив пока куст, жив...

А уж рядом верткие, наглые побеги из земли прут — родня бледного злыдня претендует на освобождающееся пространство. А Николай Николаевич еще жив, жив, жив пока... Но прут нахальные, упругие — шантрапа цветочная! Высыпали на поверхность — стая! — ждут не дождутся, когда Николай Николаевич окончательно уяннет, заслоняют от него солнечный свет.

Засыхает, пропадает ни за грош живая душа!

Глава тринадцатая (опасная)

В пороховом дыму

Пахло сырой землей, со степи резко тянуло гарью.

Валентин, скрючившись, сидел в траншее и негнущимися пальцами сворачивал цигарку. Табак сыпался на полу сырой шинели, он неуклюже подбирал его, мусолил газетный обрывок — ничего не получалось. И очень хотелось курить.

Рядом, как застоявшийся конь, переступал с ноги на ногу взводный Васька Камышов, он пристально и с ненавистью вглядывался в даль. Там были белые.

Вот оно как все обернулось для Валентина! Где теперь скважина? Где Надюшка? Где друзья-товарищи: Рагожа, Витек, Михалыч, Николай

Николаевич, где они?! Увидит ли он вас еще? Не знал этого Валентин. Не знал даже, останется ли к вечеру жив, будет ли видеть эту злую бескрайнюю степь, сумасшедшего взводного, притихших бойцов или... продырявит его молодое тело безжалостная железка-пуля. Набухнет шинельное сукно кровью, упадет он лицом в пожухлую чужую траву. Ничего не знал Валентин.

Шел 1918 год. Белые наступали на Екатеринодар.

Как же оказался здесь Валентин? Шли они с Рагожиным по кромке прибоя, оглядывались, махали руками оставшимся в самолете товарищам... Вдруг кто-то (кто?) крикнул: «Ложись!», Валентин плюхнулся на укатанный волнами песок, а когда приподнял голову — степь перед ним. По степи — конники тучей несметной! И топот, и крики все ближе, ближе. И вот уже лица озверелые видно, морды бородатые, папахи лохматые, острые шашки в руках...

Смотрит Валентин в страхе — а тут прямо перед ним (сначала не понял, что из траншеи) голова в облезлой кожаной фуражке вылезла. Глаза бешеные, на фуражке — звезда красная. «Наш! — сразу понял Валентин, скатился в траншеею, а сам соображает: — Е-мое! Где я?! Где Рагожа?!»

— К бою! — заорал который в фуражке. — По белым гадам!.. Мать-перематы!.. Огонь!..

Как винтовка оказалась в руках у Валентина, он не помнил, стрелял не целясь и всегда попа-

дал. Бил только в людей, лошадей жалел — они тут ни при чем.

— Ура! — орал командир. — Бей белых гадов!

— Ура! — орали белые гады и перли лавиной.

Бой лютел. Не было уже ничего, кроме ненависти: ни страха, ни боли, ни голода — ничего больше не было в мире. Только — убить! Даже если убьют тебя.

Первую атаку отбили. Ускакали казачки, озираясь, скалясь, зажимая кровоточащие раны. Оставили на поле боя вражеских своих воинов убитых и пораненных. Стихло вокруг, лишь стоны... Никуда от них не деться.

Сели красные бойцы курить. А руки еще подрагивают, сыпят махру мимо газетных обрывков.

— Какой части будешь? — прищурился взводный на Валю. — Как оказался в нашем расположении? Фамилие?

— Фамилия... Н-ненароков...

— А части какой?..

Замялся Валя. Что ответить? Бойцы обступили его. Смотрят, дивятся — одет мужик странно: штаны наизнанку (второпях, что ль, надевал?), на ногах вроде как тапочки белые... Рубаха, правда, подозрений не вызывает — линялая, нестираная, но скроена чудно, одним словом: или артист, или сволочь какая-нибудь!

— Ненароков?! Ты, что ль?! — окликнул Валю усатый, чубатый, лихой. — Это ж Ненароков! — объявил он всем. — Мы ж с ним с пятнадцатого года!.. С ерманской!.. А я думал, ты у беляков!.. А ты!.. Братцы, мы ж с им!..

Облапил Валюху, прижался небритой щекой к его щеке, из глаз выкатились слезы скорые.

— А Пахомыча-то убило... И Ваську. Помнишь Ваську-то, вестовым был у Григорьева?..

На глазах Валентина тоже выступили слезы. Он не знал ни Пахомыча, ни Ваську, но вдруг сердцем почувствовал, что были они в его судьбе, любил он их — и отомстит!

Да, случалось Валентину путать в своей жизни реальность с фантазией (особенно когда в продмаг из продуктов только водку завозили), но здесь фантазии не было — вот она, винтовка, в руке, тяжелая, а вон, дальше в траншее, рядом, — убитые красноармейцы...

А взводный Васька Камышов вновь смотрел волком. «Уж не лазутчик ли вражеский? — думал. — Эвон руки каки холеные! (Это у Вальки-то, работяги!) А расстрелять яво, — думал взводный командир, — и вся недолга! Оне с нашим братом не церемонятся! Да защитник у него выискался — Петька Остроухов. Сам-то Петька боевой, озорной малость... А энтот, как яво... Ненароков... тож: стрелял грамотно, патроны берег, панику не подымал... Хотя расстрелять-то оно верней!..»

— Мы 1-я рота особого полка товарища Кандаурова, — сказал взводный, — фамилие мое — Камышов... А ты — документ какой имеется? Али мандат?..

Полез Валентин в карман, сердце захолонуло: а ну как по документам он... не подходящий, нежелательный им? Нащупал в кармане бумажку

какую-то, вытащил. Вытянули все головы — что там такое? А там вырезка из газеты, репортаж со сверхглубокой (тут ему кто-то исыпанул по-доброму щепоть махры, видел, поди, парень волнуется!).

Полез Валентин дальше по карманам шарить. Махру с газетой в кулаке сжал. Внимательней стали бойцы: что ж он — не знает, где документ свой ховаешь? Кто-то затвором уж клацнул. Петька Остроухов шаг назад сделал, побагровел весь — с кем лобызался!

Нащупал Валентин в заднем кармане джинсов картонку документа, вытащил. Сам не смотрит — протянул командиру. Будь что будет!

Совсем тихо сделалось в траншее. Зябко. Громче из степи стоны недобитых беляков. Ржанье лошадиное. Воздух холодный, пустой какой-то, и гарью тянет. Ой, зябко!..

Смотрит командир в документ, хмурит брови, шевелит губами — читает. Ждут бойцы команды. Не вытерпел Валентин, заглянул. А там красным карандашом написано одно слово: «Наш».

— Наш, робяты... — сказал командир Васька Камышов и снял фуражку — волосы редкие, светлые, домашние. Провел ладонью по голове, как погладил себя за ум и находчивость, надел фуражку. — Ну-тк, я ж вижу: стреляет грамотно, патроны берегет, панику не подымает. Наш!

Обрадовались бойцы. А ну обнимать Валентина, тискать, руку пожимать. Тут ему и шинель кто-то на плечи набросил, видал, поди, парень дрожит. Петька Остроухов впереди всех: «Да мы с им!.. Да я!.. Да он такой-сякой-замечательный!»

А тревога в воздухе столбом стоит, не уходит. Шумят бойцы, перешучиваются, а смерть рядом бродит. И уж чудится — иль в самом деле, — кто-то бледнее стал, в глазах что-то слишком большое не помещается, уж не жизнь ли? Уж не прощается ли он с нею, сам того не сознавая?..

Угомонились бойцы. Сидит Валька в траншею, сыпятся из неумелых пальцев крошки табака на шинель. Маячат рядом грязные сапоги взводного.

— А он живой, глянь-ка! Гад!.. — сквозь зубы взводный. И пальцем в степь: — Вона побег!.. Сволочь!..

Вскочили бойцы.

— Дай я суку с винта шлепну! — вызвался лихой Остроухов.

— Живьем, живьем взять гада! — с придуханием и любой лютой командир. — Кто?! Мать-перемать!..

— Я! — выкрикнул Валентин. И было это как выход: поймать, скрутить, сломать — выместить за все разом. Жесткий азарт обжег душу. Выскочил из траншеи (крепко подтолкнули сзади), побежал, пригнувшись, кричал: «Стой! Стой!» А тот еще быстрее хромал, оглядывался, щерился от боли и злобы, споткнулся, упал, поворотил лицо — нет, не лицо, только два глаза смотрят на Валентина, а в них ужас черный. А погоны на плечах с лычками — не офицер, значит... Помедлил буровик, а тот выдернул из кобуры револьвер.

Прыгнул Валентин на землю, распластался.

«Сдавайся!» — успел крикнуть и вдавился в землю-матушку. Пуля просвистела над ним. Удивила, отрезвила, испугала. Погас азарт, оторопь охватила: «Убьет меня!» Но нашел Валя в себе силы, победил гнущий, вязкий страх, поднял башку. И тот тоже поднял — смотрят друг на дружку. Что такое?! Не поймет Валентин — лицо уж больно знакомое у врага. Смотрит Валя на чужое лицо, как в зеркало: и нос, и глаза, и... — не может быть?! Это ведь он сам!

И тот ошарашен... «Кто таков?» — спрашивает. «Ненароков...» — отвечает Валя. «И я Ненароков...» — говорит тот. «А как звать-то?» — спрашивает Валя, руки у него тяжестью налились, а ноги, если бы и встал, — подкосились. «Петр», — отвечает тот.

«Петр... Петр... — соображает Валентин. — Так ведь это... дед мой, получается! — Ничему больше не удивляется Валентин, думает: — Что ж делать? Стрелять? Так ведь тогда... потом и отца не будет, и меня самого, Валентина, на свете белом не появится! Белом... Но ведь он — белый. Враг!»

— П-пойдем, — говорит растерянно Валя, — к нам?

— Э, нет! — отвечает тот. — Враги вы мне по гроб жизни, и биться с вами буду насмерть! — И револьвер поднимает, дрожит ствол, прыгает черная дырочка, плюнет сейчас в лицо Валентина смертью.

И отлила тяжесть с тела Вали Ненаркова, легким оно сделалось, сильным, послушным.

Вскинул он винтовку, надавил курок, и — не выстрел, гром грянул в небе. И полил дождь... За плакало небо над горемычной судьбой дураков.

Глава четырнадцатая

Мысли путаются

Рагожин почти сразу догадался, что перед ним мираж. Одно время, еще в НИИ, он занимался разработкой создания миражей. Дело новое, перспективное. Работа, как всегда, увлекла Юрия Ивановича, появились первые результаты. В лабораторию зачастило начальство, торопило, хотело поскорее внедрить в жизнь.

Первый маленький мираж — научных достижений НИИ — получился прочным, жизнестойким. Потом создали мираж резко выросшего благосостояния района. Заявки на него посыпались со всех концов страны. Юрий Иванович говорил, убеждал, что еще рано сдавать в массовое производство, не все было додумано, не все отлажено. Он писал докладные записки, жаловался, его посчитали кляузником, стяжателем, отстранили от работ, вынудили уволиться.

Жизнь доказала правоту Рагожина: миражи, созданные скороспело, без необходимой научно-технической базы, вскоре стали лопаться, словно мыльные пузыри. А какие замечательные задумки остались неосуществленными — мираж восстановленной и разумно сохраняемой окружающей среды! Мираж всеобщей любви и процветания!.. Впрочем, нет худа без добра — то-

гда-то Юрий Иванович и начал заниматься самой важной для него проблемой...

Рагожин почти сразу догадался, что видит мираж, а видел он... То, что он видел, могло поразить кого угодно — он видел нашу Землю в разрезе! Как? Откуда он ее наблюдал — было непонятно, да и не важно!

Рагожин торопливо (вот отгадка некачественной связи!) передал сигнал опасности и тут же забыл обо всем на свете — перед ним была сама суть Земли, и она была — живая! Билось — вот оно! — сердце, плавилось что-то в животе, бежало по жилам... что-то. Но самое важное — неужели?! — у Земли был мозг. Два полушария!

Рагожин и раньше подозревал, что не может быть, чтобы живые жили на неживом... Впервые мысль о том, что Земля живая, пришла к нему, когда он ел абрикос. Он тогда подумал: абрикос, слива, куриное яйцо, яблоки, груши, арбузы, дыни — поверхность у них служит только защитой главного, того, что в середине. А то, что в середине, предназначено для сохранения и размножения вида. Значит... А вот что значит — Юрий Иванович тогда не додумал. Жена позвала есть. А ел он в основном то, что не имело ни середины, ни оболочки, ну да не стоит об этом! Кто из великих ученых не испытывал трудностей!..

* * *

Михалыч приоткрыл глаза. Только что закончился дождь, все блестело, словно покрыто лаком: зелень, камни, жилые постройки... Но стоя-

ли хижины — вверх тормашкой, небо было под ногами, а над головой — росла трава. Оказалась, он висел подвешенный за ноги!

Чуть поодаль толпились местные жители. О чем-то переговаривались, хихикали, тыкали в пленника пальцами ног (большими). Заметив, что очнулся, осторожно подошли поближе.

Теперь, вися вверх ногами, Михалыч мог получше разглядеть их лица: простые, незлобивые, любопытствующие. Были тут и дети, и старики, и девушки — стройные, смуглые красавицы. Они смущенно отводили глаза в сторону, длинные косы заплетены вокруг шеи. Волосы черные, кожа шоколадная, а глаза — голубые, доверчивые...

Рядом с Михалычем стоял, тоже вверх ногами, часовой с палкой, скалился в довольной улыбке. «Подлец! — подумал было Михалыч, а потом подумал: — Наивный! Совсем еще мальчишка... как-то сложится твоя жизнь?..»

Однако ноги и руки затекли, в голову будто кипяток налили. Пленник застонал. Женщины наперебой загомонили, потом разом смолкли, и — толпа расступилась. А сквозь образовавшийся проход под одобрительный, подобострастный гул и приветственные взмахи ног к пленнику приблизился на старческих, высохших руках вождь. Михалыч догадался, что это вождь, потому что зад старика украшала корона. В этом не было ничего грубого и вульгарного, даже более — корона сидела на вожде как-то неловко и служила скорее не украшением, а лишь символом власти. Да и весь вид старика словно говорил: «Надоели вы мне все хуже горькой редьки! Поспал

бы я сейчас с удовольствием, ан нет: тащись сюда, смотри на этого ненормального, разбирайся, принимай мудрые решения, высказывай глубокие и великие изречения!»

Вождь жестом приказал отвязать незнакомца. Когда Михалыч встал на затекшие ноги и сделал несколько нетвердых шагов, в толпе раздался смех. Даже старый вождь улыбнулся украдкой. Потешно им было наблюдать, как человек ходит вверх головой!

Вождь сделал знак, и к нему приблизились двое, один, кучерявый, низкорослый и резкий в движениях, начал тут же горячо доказывать (Михалыч понял по жестам и интонации), что пленник своим поведением оскорбляет их образ жизни, подрывает устои, соблазняет, ставит с рук на ноги все понятия. И предлагал убить его, чтобы и другим неповадно было.

Второй советник — длинный, худой, с ласковым прищуром хитреных глаз (судя по жестам и интонации), предлагал оставить Михалыча у них в племени, женить на какой-нибудь вдове, а по праздникам показывать народу за особую плату, которая должна поступать в казну.

Старый вождь внимательно выслушал обоих, зевнул и приказал принести учебник. Четверо здоровенных молодцов приволокли из кустов каменную плиту с клинописью и первобытными рисунками.

Обращаясь к Михалычу, вождь показал пальцем ноги на рисунки и довольно понятно (по жестам и интонации) объяснил, что человек, согласно

их учению, произошел от обезьяны. Вынужденный трудиться, он встал на передние конечно-сти, а в задние взял орудия производства: палку, дубину, копье, камень. «Конечно, — сетовал вождь, — руки утратили свою хватательную способность, но зато служат надежным средством передвижения!»

И предложил Михалычу попробовать. Просил он вежливо, но убедительно, как это делают власти имущие.

Михалыч оказался перед выбором: или встать, и тогда — жизнь, солнце!.. Правда, в перевернутом виде. Или не вставать, и тогда...

Кучерявый советник, словно прочитал его мысли, хищно и злорадно ухмыльнулся. Михалыч обвел взглядом окружающие лица. Много в них было разного: любопытство, волнение, досада, радость, были глаза безразличные, но были там одни, которые смотрели с такой болью, с таким ужасом и надеждой, что Михалыч даже покривился. Не привык он, чтобы на него так смотрели. Что он, особенный какой! Обыкновенный человек, конечно, не забулдыга, не пьяница...

Глаза принадлежали девушке стройной, юной. Все в ней было чисто, свежо и... как-то непонятно. Оттого, что она стояла на руках, в первую очередь в глаза Михалычу лезли ее бедра. Запутался Михалыч, смешался, захотелось успокоить ее, ободрить. «А, будь что будет!» — подумал он, наклонился, уперся в землю руками, но, прежде чем закинуть вверх ноги, глянул на девушку. Од-

нако что же это? Лицо ее погасло, глаза — в них разочарование, губки надулись. Нет, не любила она Михалыча таким — покоренным. Он был дорог ей необычным, нездешним, гордым!..

Эх, Михалыч, старый ты пень! Давно не общался с женщинами, совсем забыл, какие они бывают!

Руки у Михалыча подломились, и он, так и не встав на руки, распластался на спине. Небо было, как и следовало, вверху, земля приятно холдила вспотевшую спину. Все было просто, надежно, и стоило ли что-нибудь менять в мире?

Ох как обрадовался, бросился к нему кучерявый! И приспешники его, злобные, добровольные. Заломили Михалычу руки за спину, скрутили их жесткой травяной веревкой, ноги скрутили и потащили — куда же?! К костру...

На широкой, вытоптанной руками поляне уже разгорался костер, вился в небо дымок, потрескивали уголья. Ни один мускул не дрогнул в лице у Михалыча. Покой, вселенский покой вдруг опустился на него. Только и подумалось: «Как же они огонь добывают, трением палочек, что ль?..»

Глава пятнадцатая

Сила любви

Волны относили Тушку все дальше от берега, все дальше... Волны перекидывали его с плеча на плечо, то вдруг расступались, и он падал. Тешились всесильные. А он, маленький, упрямый... падал, но не сдавался!

Нет, водная стихия, не для тебя металлургические заводы страны выплавляли высокосортный алюминий, не для тебя рабочие, инженеры и техники промышленных предприятий изготавливали узлы и детали! Не для тебя достижения человеческой мысли. Не утопить тебе воспаривший разум!

Тушка боролся и погибал, как герой.

Надя металась по кораблю, нажимала на какие-то кнопки, тумблеры — все напрасно! Гибель глухотой окружала ее, давила, вот уже и волны не слышно, вот уже и боли от ушибов не чувствовала она... Но что это? Как будто опять кто-то посыпает ей сигналы? Превозмогла Надя себя, нашла где-то на донышке силы, добралась до кресла, села. «Так... так... надо сосредоточиться... Прислушаться к себе...» Вот оно! «Надя, — прозвучало где-то в душе. — Надька!.. Милая, прощай! Я люблю тебя...»

— Нет! — вскричала Надежда. — Валя, нет! Я спасу тебя!

Есть сила ветра, сила инерции, а есть сила — любви. Могучая сила, но пока еще, к сожалению, мало изученная. Вероятно, не открыли еще ее ученыe, вероятно, скрывается в ней энергия будущего, что посильнее атомной, а может быть, и равная в чем-то солнечной! Вероятно, об этом узнают наши потомки, а вот в чем они будут ее измерять: в подвигах? В преданности? Или в человеческих судьбах?

Одно можно сказать: поистине велик человек, обладающий силой любви! Нет для него расстоя-

ний — какое может быть расстояние, если образ любимого постоянно в сердце! Нет для него времени. Вернее, оно есть, но подвластно только любви: или летит, а то тянется медленно. А бывает, и вообще остановится — часы тикают, на всей планете тикают часы, а для кого-то время остановилось, и нет ни прошлого, ни настоящего, а есть лишь миг, который, кажется, есть — вечность!

И эта сила наполнила девушку. Надя и не знала, что способна любить столь сильно (как, впрочем, не знает никто, пока не полюбит). Но неужели она настолько полюбила простоватого Валентина? (Нас я уж не беру в расчет!) На этот вопрос ответить трудно, потому что любит не ум, а сердце, а оно — молчаливо...

По жилочкам, по косточкам — Надя чувствовала, как разливается сила любви по телу, крепнет. Уверенность появилась — откроет дверь, и волны в страхе отползут. Крикнет: «А-а!..» — и люди на всем земном шаре оглянутся!

Повелительницей стихий и судьбы ощущила себя Наденька. Сидела, не шевелясь, боялась, чтобы не ушла эта власть, не утекла обратно (куда?!).

Маленький самолетик бился среди волн, изнемогая. И вдруг... волнение на океане, будто кто ладонью прихлопнул (что же это за ладонь такая гигантская?!). А потом эта же ладонь (откуда она взялась-то?!?) зачерпнула где-то с середины океана широкую волну, и понесла она самолет обрат-

но к берегу. А когда до берега оставалось уж с гулькин нос, подкинула Тушку, и он очутился в небе. Двигатели еле успели включиться, он тяжело, с трудом, но удержался в воздухе и... полетел, полетел... А двигатели уже набирали обороты и звучали ровно, освобожденно.

Тушка летел! Летел, покачивая крыльями, поблескивая на солнце мокрыми боками, ветер сушил фюзеляж, холодил. Тушка вздрагивал, похивал, летел... Надя обмякла в кресле, голова кружилась, слабость — руки не поднять. Свершилось! Спасибо тебе, любовь!

Рев Тушки оглушил остров и поглотил все остальные звуки. И — растаял мираж. Путешественники увидели друг друга, и, как рассказывал Николай Николаевич, заплакали от счастья, и, как рассказывал Валентин, громко засмеялись.

А Тушка кружил над островом, выбирал, куда сесть. А остров-то оказался маленьким, плешивым, жалким, ничтожным! Даже сесть некуда! Тушка вновь и вновь заходил на посадку и взглядался, искал то, что боялся увидеть, — китов, но не было их на острове: или волнами смыло, или... Лишь крошечные фигурки пятерых исследователей призывающе махали ему руками.

Наконец изловчился Тушка и, вздув, придавив колесами выброшенные на берег водоросли, совершил посадку. Заскрипел песок под колесами, откинулся люк, как вздох.

Надя появилась в проеме люка сияющая, взмолнившая.

— Сюда! — крикнула и засмеялась звонко. — Да быстрее же! Ну что же вы?!

Михалыч подтолкнул Рагожина, Валентин схватил (прямо сцепил Николая Николаевича за руку — ведь Надя просила!), я, конечно, позади всех — бросились мы к Тушке. Я бежал и все нет-нет да озирался по сторонам, хотелось еще раз увидеть хоть издалека и маму, и папу, и себя...

— Скорее! Скорее! — торопила Надюшка, очень она опасалась чего-то.

Но вот взобрался и я, втянул лестницу, захлопнул плотно дверь. А Тушка того и ждал, рванулся, побежал, подпрыгивая, оторвался от земли и — круто ввысь!

В самолете, хоть и обессиленные, мы кинулись к иллюминаторам. Вероятно, не мне одному хотелось еще раз увидеть что-то. Мы смотрели вниз, а там уже — волны, волны. И все мельче они, и все шире океан. И нет никакого острова и в помине.

Глава шестнадцатая

И снова вместе

Самолет летел над океаном, его маленькая тень бежала по зеленым волнам за ним, как собачка. От этого было ощущение, что кто-то контролирует, не отпускает нас из поля зрения.

...Тушку вел автопилот. Не один километр налетали они вместе. Не будь автопилот так привязан к Тушке, давно бы стал командиром отряда,

а может быть, даже и заместителем министра гражданской авиации. А что? Опыт у него есть, выдержки не занимать, стаж работы — подходит. К тому же не пьет, не курит, к женщинам — как металл! Уж какие случались стюардессы красавицы! Бывало, и у командира вспотеют ладони, держащие штурвал. А он — что они есть, что нет. Вот рация — другое дело. Болтлива, конечно, внимания требует постоянного, но на то она и рация...

Тушка летел гордый, смелый, помолодевший...

Птицы летают — ищут корм, лист с дерева летит безвольно, тучи — куда ветер дует, ангелы и те летали, говорят, исключительно по делу, а он летел, как песня! Как мысль свободная! Как!..

Но что такое? Вязкость вдруг появилась, напряжение. Ах, это же... горючее кончилось! А он залюбовался собой и забыл! А кругом — океан... И вот плавники акул зачертили пенные полосы вслед его тени. Догоняют, спешат. Тушка встряхнулся телом, булькнули жалобно остатки горючего. Вскочили с кресел члены героического экипажа, ринулись в кабину.

— Горючее! Горючее на нуле! — Михалыч сжал в досаде кулаки. — Всем надеть спасательные жилеты! Торопитесь!..

— А Тушка?.. — вымолвила Надя. — А он?! Он же без жилета...

— И я не буду, — решительно заявил Валентин. — Если уж... то всем вместе!..

— Да что вы, в самом деле! — закричал Михалыч. — Опять за старое?! Или вы выполняете ко-

манды, или я тоже надевать ничего не буду! Что я, в конце концов!.. Что мне, больше всех надо!..

— Друзья, — тихо сказал Николай Николаевич. — Друзья, первое, что нам необходимо сделать, это затормозить время.

— Как?! При чем здесь время?! Возможно ли?! — наперебой заговорили мы.

— Да, друзья мои, возможно, — скромно ответил Николай Николаевич. — Время — величина постоянная только для часовых механизмов. Человек же, по сути, живет в ином, сугубо индивидуальном временичислении и, что весьма важно, не постоянном, а колеблющемся, перетекающим... протекающем по судьбе, как река...

— Николаич, не томи! — взмолился Михалыч. — Говори, что делать?!

— Для начала сядьте все по местам.

Мы быстро и послушно сели.

— Теперь каждый плотно зажимает себе рот и терпит ровно две минуты, а потом еще две и еще...

Подчинялись беспрекословно. Уже два раза двигатели давали сбой, пол уходил из-под ног, шея непроизвольно вытягивалась.

Рагожин зажал рот первым, поверх ладони глаза смотрели с интересом и напряженно. Валентин из вежливости хотел зажать рот Наде, она отказалась и, похоже, впервые рассердилась на него. Михалыч прихлопнул рот по-военному четко. Я, не доверяя себе, зажал рот двумя руками: губы держал левой, а левую прижимал правой. Как говорится, доверяй, но проверяй.

Первые 30—40 секунд тянулись с обычной скоростью, и я уже засомневался было в учении Н. Н. Померанцева, но потом... Я мотал головой, задыхался, в висках стучало; кровь, казалось, кипела, и если бы не правая рука, не знаю, смог бы я выдержать до завершения двадцатой — самой длинной секунды в моей жизни!

Остальные участники экспедиции тоже боролись со временем изо всех сил. Ох, трудно было его тормозить, неслыханно трудно!

Лица побагровели, слезы стояли в глазах... Разве Валентину было полегче: он как бы случайно прислонил свою коленку к Надиной и — не дышал от счастья.

Тушка летел, а время — почти стояло. Тушка торопился, а время ползло (для нас) еле-еле. Тушка летел над океаном. Рябью волн тот морщил свой могучий лоб, не понимая, что происходит. Тушка летел над океаном, тот блестел под солнцем. Тушка летел, океан блестел, но — как-то странно, как-то гуталинно...

Мы припали к иллюминаторам.

— Неужели это!.. — Михалыч запнулся. — Это!..

— Мы спасены, друзья, — объявил Николай Николаевич. — Это...

Это была нефть. Останки разбитого, наскочившего на рифы танкера торчали из воды разломленным пополам бутербродом. Вот оно как случилось: чье-то несчастье обернулось для нас спасением...

— Ка... как же мы сядем-то? — спросил я (и чего мне больше всех надо?!).

А Михалыч уже крепко сжимал штурвал и мештил взглядом вниз.

— Пройдем на бреющем. Спустим за борт шланг! — командовал он.

Вот до чего додумался бывший пилот — дозаправка в воздухе! Но годится ли нефть как горючее?

Валентин, видимо, о том же подумал, потому что произнес вслух:

— С голодухи, бывало, чего не сожрешь!

Михалыч резко повел самолет на снижение. Валентин распахнул люк. В самолет ворвались гул, холод, ветер. Мы с Рагожиным, зажмутившись, начали стравливать вниз шланг. Надя стояла рядом, хватала нас за локти, кричала: «Осторожнее! Не упадите!»

— Что за черт?! — услышали голос Михалыча. — Самолет не слушается руля!

И в самом деле, в Тушке неожиданно обнаружилось какое-то капризное упрямство. Он уперся и не хотел снижаться. Корпус тряслось, двигатели ревели, грозя разорваться. Было так страшно, что хотелось самому выброситься из самолета. Михалыч сделал круг над останками танкера, второй, пошел на третий. Он был тоже упрям и любое дело привык доводить до конца. И наш конец, судя по всему, был близок.

— Ой! — всплеснула Надя руками и покраснела. — Я все поняла. Он не хочет!

— Кто-о?! — крикнул я. Мы с Рагожиным еле удерживали шланг, он болтался в воздухе и тянул нас упасть за борт.

— Ташите обратно! — Надя устремилась в кабину. Михалыч неумолимо давил штурвал, стрелки бешено бились на приборной доске, из щелей валил дым.

— Михалыч! Миленький! Он не будет снижаться! — горячо заговорила Надя. — Отпусти его.

— Почему еще? Черт!.. — Михалыч обернулся — лицо жесткое, волевое (как сжатый кулак).

— Потому что... — Надя не решалась произнести вслух свою догадку. — Ну... потому что... он не хочет питаться этим... падалью!

Она с трудом проговорила последнее слово и смущилась.

Командир выпустил штурвал, самолет стрелой пошел ввысь.

Тушка набирал высоту стремительно, он летел почти вертикально. Двигатели не просто ревели, они исходили последним надрывным воем. Мы не понимали, что происходит. Почему самолет набирает высоту, когда горючего осталось буквально... капли?! И в то же время мне уже не было страшно, наоборот — появилась уверенность, что все делается правильно. Но что же тут правильного?

Гул турбин оборвался, будто звук отрубили. И — тишина... большая тишина окружила нас. Самолет выровнялся и летел беззвучно.

— Мы планируем! — заорал Михалыч, появляясь в дверях салона. — Он специально набирал высоту!..

Я вылез из-под кресла, куда закатился, огля-

делся. Мы летели, воздушный поток нес самолет легко, как пушинку. Летели беззвучно, словно во сне. Да и все скорее напоминало сон, чем действительность.

Мы набились в кабину, молчали, смотрели вперед, а там что различишь — небо! Мы влетали в облака, как закутывались с головой в одеяло. Почему-то радостное волнение охватывало при этом. Когда выныривали в чистое пространство, появлялась какая-то трезвая ясность, будто умылся холодной водой.

Самолет парил плавно, чуть поднимая то одно, то другое крыло. Наслаждался своей свободой, независимостью от двигателей, маршрута, показаний приборов.

Лицо Надюши празднично сияло.

— Какой он у нас!.. — произнесла она с нежностью и... прижалась бочком к Валентину. И нас одарила солнечным взглядом. Как хорошо-то было, Господи! Мы стояли рядом, все вместе. Тогда еще молодые, здоровые, полные сил... Мы летели навстречу тайне, мы любили друг друга, и гордились нашим Тушкой, и жалели его, и были готовы на все ради него, ради друзей... Теперь, если кто-то спрашивает меня: был ли я когда-нибудь счастлив по-настоящему? — я отвечаю: «Да!» — и вспоминаю те минуты. И комок подкатывает к горлу...

— У нас на скважине... — начал Валентин и не договорил, заулыбался. Не нужны были никакие слова и сравнения, потому что было — счастье. Прямо сейчас, сию секунду, и его надо было просто впитывать, наслаждаться и — запасаться

впрок. Моя душа ласкалась, млела, любила. И что самое главное — наши души (как уж это возможно?!), но я чувствовал, объединились в одну общую. Анализируя потом испытанное состояние, я впервые пришел к мысли, ошеломившей меня, что душа у всех — людей, птиц, рыб, трав и камней — общая. И это душа — нашей Земли. Только как в солдатской столовой: кому зачерпнули из общего котла пожиже, кому погуще...

— Земля! — крикнул Валентин. — Вижу землю!

Глава семнадцатая

Еще одна загадка

«Верить обещаниям нельзя не потому, что люди обманут, а потому, что они сами не знают, как сложится их жизнь!» — любил повторять маленькому Юре Рагожину папа.

Отец Юрия Ивановича — израненный на войне учитель истории, добросовестно учил детей тому, что написано в учебнике, пока не умер прямо с указкой в руке в классе. В 1956 году.

Мама, учительница русского языка и литературы, очень любила Пушкина, наверное, поэтому и не вышла больше замуж. Навсегда в памяти осталось из детства: холодный чайник на столе. И окно, из которого зимой всегда дуло.

Юра часто простуживался, оставался дома, боялся, что не нагонит одноклассников, лихорадочно читал учебники, знал много, но, чтобы не прослыть высокочкой и маменькиным сынком, нарочно получал двойки, дерзил; еще больше бо-

ялся оставаться на второй год и расстроить маму, читал все подряд, взахлеб и в конце концов к десятому классу накопил столь обширный запас знаний, нервозности и страха, что каждую минуту мог изобрести что-нибудь гениальное или отравиться. Почему-то в юности сладко было думать о своем самоубийстве, и это помогало жить! Женился он... Впрочем, Юрий Иванович не любил вспоминать.

Тушка планировал к берегу, и было такое впечатление, что тянет его туда не воздушный поток, не земное притяжение, а — любопытство.

Узкая пенная полоса прибоя тянулась вдоль извилистого берега. Вот уже отчетливо видны расположенные по склону жилые постройки, улицы, площадь и... ни одного автомобиля, человека...

Николай Николаевич достал карту, но не успел ее развернуть. Тушка колесами ткнулся, пробежал еще недолго и — замер. «Где мы? — думал каждый из нас. — И что нас здесь ждет?»

— Япония, что ли? — неуверенно проговорил Валентин. — Тихо как...

— Почему Япония? — Померанцев поднял упавшую карту, развернул.

Я смотрел в иллюминатор, и что-то страшно мне было, и лезли в голову мысли: «А стекло в иллюминаторе пуленепробиваемое? Нет, конечно, обыкновенное...»

— Ничего не понимаю, — проговорил озабоченно Николай Николаевич. — Если учесть, что мы летели со средней скоростью...

— И без керосина, — подсказал Валентин.

— Если учесть, что солнце всходит на востоке...

— А садится на западе...

— Что тут гадать! — сказал Рагожин. — Атлантида это.

— Как?! — воскликнули мы хором и прилипли к стеклам.

— Точно, — почему-то с сожалением проговорил Михалыч. — Похоже, она... зараза!

Самолет стоял между выбеленных солнцем и как бы оплыvших зданий. Пустые глазницы окон, тут и там на стенах паутина высохших водорослей.

— Что ж это получается, ребятки? — Михалыч сдвинул фуражку и отер платком вспотевший лоб. — Она со дна моря поднялась, что ль?

Надюшка вдруг заплакала горько, навзрыд.

— Надя! Наденька, что ты?! — принялись утешать ее. — Успокойся. Мы же с тобой!..

— Лю... лю... лю-дей жалко! — проговаривала она сквозь слезы.

— Чего уж теперь, — вздохнул Михалыч, — дело прошлое... Себя пожалей, ты тоже человек! — Он решительно натянул фуражку.

Понаоблюдав еще немного в иллюминаторы и не обнаружив ничего подозрительного, мы открыли люк. Ветер ворвался в самолет, словно скучился по живым людям. Обыкновенный ветер, теплый... Запахло морем, нагретыми на солнце камнями. И мы как-то сразу успокоились. Хотя волноваться было о чем: продукты на исхо-

де, горючего нет, связи с миром никакой, кроме ушёй Рагожина.

Решили сначала перекусить, и уж с новыми силами на экскурсию по легендарной Атлантиде!

Описывать нашу трапезу скучно и неинтересно. Ограничусь единственным словом — съели. Конечно, мыслями были уже среди седых, древних стен.

Солнце между тем садилось за горизонт. В океан. Краски стали сочнее, гуще, кровожаднее как-то. И заманчивее.

Боязно было выходить наружу и очень хотелось. Спустились. Жутко было стоять на твердых каменных плитах и осознавать, где ты! Валентин неожиданно потребовал, чтобы называли его по имени-отчеству (а как именно — не помнил, пришлось заглянуть в паспорт — Васильевич).

Михалыч остался в самолете, закрыл за нами дверь, помахал на прощание из кабины. Лицо усталое, но бритое.

Черт его знает, может, от долгой службы в армии, но я заметил, у Михалыча было как бы несколько лиц: парадно-выходное, повседневное и полевое. Сейчас впервые мелькнуло что-то в его лице непонятное, какая-то путаница: как если бы на парад в домашних тапочках явился или, напротив, — спать лег в полной парадной форме. Я посмотрел на часы — было 20 часов 32 минуты атлантидского времени.

Сперва шли пугливо, как по минному полю, вздрагивали от собственных шагов. Полуразрушенные постройки глядели на нас с какой-то

скорбной таинственностью. Они как бы порывались что-то нам поведать и мучились своим беспомощием. И — ни живой души! Ни бабочки, ни птицы, ни мухи. Не шныряли под ногами мыши, не переползали дорогу змеи, не выпрыгивали из темных углов лягушки... Иногда попадались на пути высохшие морские звезды, водоросли... Попалась рыбачкая сеть.

Наступила ночь. На небе высыпали звезды яркие, жирные. Луна светила, как большой прожектор, и все окружающее напоминало бы декорации, если бы не память о трагедии, разыгравшейся здесь много веков назад.

Померанцев и Валентин с Надей шли впереди, готовые каждую секунду повернуть и сломя голову мчаться обратно. Рагожин отставал, озирался, трогал стены домов, принюхивался к чему-то. Вел себя как потерявшаяся собака. На перекрестке вдруг свернул в проулок и пошел быстро-быстро.

— Эй! — окликнул я наших. А они уж еле различимы в густеющих сумерках. — Не уходите далеко! Я сейчас!..

Рагожина я нагнал у небольшого одноэтажного домика: два окна по бокам от входа, словно два темных внимательных глаза, три ступеньки перед входом — словно поджатые старческие губы... Домик выглядел довольно сохранившимся, но чем-то напоминал обмылок. И не столько внешне, сколько по ощущению.

Юра стоял, низко склонив голову. Скорбь была во всем его облике.

— Ты что? Плохо себя почувствовал? Поздно уже, пора возвращаться.

Он не ответил, повел на меня невидящими глазами и... направился в дом, шагнул в черную дыру двери и пропал. Помедлив, я последовал за ним. В первом помещении (вестибюль, что ли?) было темно, но в конце виднелся еще один вход, и там темнота была ниже, синей. Фигура Рагожина мелькнула, и я поспешил его нагнать. Следующее помещение оказалось без крыши, с небольшим прямоугольным бассейном в центре. Странно, в бассейне блестела вода. «Дождевая, — догадался я, — с неба...» Вода отражала лунный свет и среди окружающей мертвчины была живая, как крик.

Рагожин дрожал. Вытянув руки и медленно ступая, он обошел бассейн и остановился у стены, где чернела еле заметная продолговатая ниша, запустил туда руку и... вытащил детскую игрушку: мраморную белую рыбку. Он повернулся ко мне — в глазах был ужас!

— Не может быть! — пробормотал я. — Ты же родился в...

Он показывал мне рыбку. Произнести что-либо у него не хватало сил. Он протягивал мне рыбку и мычал, как немой.

— Валя! Надя! — заорал я. — Николай Нико-ла-ич!..

Мой вопль произвел на Рагожина совсем уж странное впечатление.

— Ма-ма... мат-ра... ма-да-а-а!... — произнес он чуть слышно и повалился на древний каменный пол. Затылок гулко стукнулся, голова откинулась. Я дотронулся до его лица и отдернул руку — крови! Вытянул ладонь к лунному свету.

— Слезы...

Глава восемнадцатая

На бога надейся, а сам не плошай!

Михалыч... загрустил старикан, оставшись один. Поковырялся в приборах, протер кое-где пыль... Нет, все не то! Бросил тряпку, сел в кресло, задумался.

Темнело.

Сколько раз в детстве он мечтал совершать подвиги, сколько раз в молодости их потом совершил, но героем себя не чувствовал. «Как же так, — думал Михалыч, — иной сделает что-нибудь пустяковое и — глядит орлом, живет в довольствии и в ладу с собой, а тут!..»

Он вспомнил Корею, 195... год. Он совершал показательный учебный полет, когда за ним погнались три американских истребителя «Фогг». Стрелять он не имел права, а погибать под вымышленным юго-восточным именем Ни-Ни ой как не хотелось!

Михалыч поерзал в кресле (тело тоже вспомнило тот бой). Он тогда заложил крутой вираж, кинулся на преследователей и (теперь об этом можно рассказать) разогнал их матом. Орал остороженело, не помня себя. У одного «Фогга» вспыхнул

левый мотор, он ушел в пике и грохнулся взрывом. Остальные посчитали за лучшее убраться восвояси. Писали потом на него жалобы в ООН, транслировали на страны Европы магнитофонную запись... И даже тогда Михалыч не чувствовал себя героем.

Михалыч... золото, а не человек! Он не понимал, что родился для более значительных и масштабных, а может быть, и — космических дел! Он не знал, что чувство удовлетворения в человеке прямо пропорционально его силе, смелости и уму. А всего этого у него было через край!

Он развернул газету, по привычке сначала прочитал про погоду, ухмыльнулся: «Какая, к дьяволу, погода!..» Взялся читать передовицу, но в душе был какой-то (еще бы!) разлад: глаза читали, а думы думались совсем о другом.

Отложил газету, встал, зажег свечу (экономил электричество, пускай молодежь смеется над ним!), укрепил ее у стекла и... почувствовал себя как в церкви. В детстве сторожиха баба Шура однажды сводила его украдкой в церковь (думала: помолится мальчионка, поставит свечку Николе Угоднику, может, и родители где объявятся!), страшно там было, не по себе, хотелось поскорее на улицу, на солнечный свет. А сейчас... «Чем черт не шутит, помолиться, что ли? — подумал Михалыч. — Не за себя, за ребят, за Надюшку...»

Он встал на колени, стеснялся, долго вспоминал, откуда начинать креститься: справа налево или слева направо? Решил на всякий случай и так и эдак. Сложил пальцы щепотью. «Как солить

себя собираюсь!» — подумал и перекрестился, глянул вверх, а там, за окном!..

Михалыч побледнел, стало трудно дышать. Тело бессильно обмякло и клонилось упасть, но сознание — оно не сдавалось, не уходило. Приказывало: «Не сметь! Встать! Взять себя в руки!» Да какие уж тут руки — плетью висели они. И голова не могла подняться. Уперлась в грудь подбородком, и глаза, как в тумане, крупно видели пуговицу со звездой, и уже мерещилось, что это звезда на могильной пирамиде. Но сознание не сдавалось, не отпускало: «Дезертир! Предатель! Трус! Изменник!..»

— Я — изменник?! — Михалыча опалило гневом. — Я, который!.. И я — трус?! Предатель?!

Он уперся кулаком в пол, уперся до боли твердо и — встал. Медленно, тяжело, но встал, выпрямился Михалыч, смотрел прямо, зло: «А ну, кто здесь изменник?!» И склынула слабость, как вода скатилась с него. Осталась только зудящая боль в висках, и слегка подташнивало.

«Что же... что же я видел? — пытался вспомнить Михалыч. — Голова болит и... подташнивает. Все симптомы сотрясения мозга. Но что же меня потрясло?!» Тут в памяти была дыра, будто кто нарочно вырезал ножницами.

...Валентин, Надя и Николай Николаевич шли по ночному пустынному городу, покинутому жителями много-много веков назад. Что здесь произошло? Какая трагедия разыгралась?

Сохранившиеся барельефы повествовали о принадлежности зданий. Рыбы, затейливо окайм-

ленные растениями, указывали лавку торговца рыбой. Сочные, рельефные в лунном свете яблоки, виноград, дыни украшали дом торговца фруктами и овощами. На длинной стене здания общественного надзора (?) скульптор изобразил группу людей с поднятыми руками и одного оратора с открытым ртом. Вот, оказывается, какие они были — атлантиды: глаза умные, лбы высокие, плечи широкие, осанка у всех величественная.

В торжественном молчании стояли люди XX века перед изображением людей века давнего. Вот именно такими Наде и представлялись всегда настоящие люди: красивыми, загадочными! Когда она пошла в детский сад, думала, что встретит настоящих людей там; потом, когда пошла в школу, надеялась встретить их в школе; потом — в институте... А они вон где — в Атлантиде! И не будут, а были толщу лет назад!

Еле оторвала Надя глаза от барельефа, изъеденного ветрами, водой и временем. И в самый последний момент ей даже почудилось, что вон та щербинка и прилипшая сверху ракушка — это она, Надя... Там, в кругу достойных...

— Пойдемте, друзья, дальше, — напомнил Померанцев. Его что-то томило, так бывает: тревога, предчувствие и хочется поскорее узнать, что же тебя ждет?

— Пойдемте, — согласилась Надя нехотя и уже по пути все оглядывалась, оглядывалась... Да разве что увидишь в ночной тьме? Только то, что нарисует воображение.

Вскоре они вышли на площадь...

Странная она была и даже в своей руинно-

сти — значительная. Строения, образующие ее, были выше и, судя по отдельным сохранившимся элементам, — богаче. Сама площадь выложена большими плитами, а в центре возвышался монумент или памятник. Путники подошли ближе. Сооружение состояло из людских фигур, расположенных пирамидой: в основании были изображения старых людей (совсем дряхлые из них походили на корни дерева), выше, на плечах друг у друга, располагались более молодые, и уже на самом верху — юноша и девушка трепетно держали на руках голенького младенца, тянувшего ручонки в небо, к звездам...

Конечно, и здесь время наложило свой тягостный отпечаток: многие лица были размыты, пальцы, локти, носы частью отколоты. Но общая композиция производила грандиозное и вместе с тем щемящее-трогательное впечатление.

— Друзья! — вдруг воскликнул Померанцев. — А где же Виктор и... Рагожин?!

— Они ж... на перекрестке еще отстали! — вспомнил Валентин, обернулся и закричал: — Э-э-эй! Му-жи-ки..!

Эхо покатилось по развалинам.

— Пойдемте скорее домой, — негромко попросила Надя.

Глава девятнадцатая

Новые загадки древнего города

Решили задержаться в городе на три дня. Пополнить запас питьевой воды, обеспечить в дорогу провизию, более подробно ознакомиться с памятниками истории и культуры Атлантиды.

Валентин вызвался найти в окрестностях города нефть и пробурить скважину.

Рагожина уложили пить таблетки, какие даст Надя, и стараться ни о чем не думать. Рыбку я у него так и не смог отобрать, он держал ее в кулаке, изредка разжимал пальцы, смотрел на игрушку, и слезы катились у него из глаз.

Накануне ночью мы почти не спали. Я притащил Рагожина, когда все уже не на шутку начали волноваться. Михалыч стоял на крыле, высоко держал свечку, щурился в ночь.

Я возник из темноты, как привидение.

— Стой! Кто идет?! — выкрикнул Михалыч.

— Мы... — чуть слышно ответил я. Сил уж не оставалось. Еле тащил: за ноги не потянешь — голову ему отшибешь. Тащить под руки и пятиться задом — своя голова быстро устает назад оглядываться. Пробовал взваливать на плечи — сам падал, физкультурой-то мало занимался! Не готовил себя людей носить. Намучился, со зла думал: уж лучше я сам в следующий раз раненым буду!

Рагожина отнесли в кают-компанию на его место — в угол. Сделали искусственное дыхание, поставили градусник, укутали потеплее.

А солнце уже всходило над Атлантидой! В туманной дымке утра казалось, что сейчас захлопают двери, зазвонят тут и там будильники, раздадутся резкие спросонок голоса, заплачет где-то ребенок, а потом, когда солнце поднимется еще выше, улица заполнится пешеходами, повозками, автомобилями иностранных марок (от-

куда они тут?!) и, в довершение ко всему, раздается свисток полицейского регулировщика...

Но солнце взошло, а никто не вышел. Нигде не раздался человеческий голос. Древний город явился из ночной тьмы одинокий и никому не нужный настолько, что и ночь могла бы на него не опускаться.

Все складывалось до крайности нелепо: полетели искать Тунгусский метеорит, а нашли Атлантиду.

Мы брали с Николаем Николаевичем мимо усопших домов. Солнце волокло наши тени по стенам, и было в этом какое-то вызывающее несоответствие: хотелось или поскорей пройти вперед, или вернуться. Бросалось в глаза несоответственно большое количество цифр на сохранившихся фасадах, были они выполнены из незнакомого металла и составляли какие-то загадочные числа.

Улицы, пересекаясь, образовывали площади, и здесь, как правило, находились более обширные здания, которые, кстати, почему-то сильнее пострадали.

Одну из площадей украшал фонтан, выполненный из розового гранита в форме цветка ромашки. В трещинах весь, конечно, занесенный песком... Судя по всему, он служил горожанам еще и солнечными часами. Легко было представить бьющую в голубое небо струю, водяную пыль, оседающую вокруг... веселые лица атлантидцев.

— Видимо, фонтан-часы символизировал красоту и быстротечность жизни, — высказал я догадку.

Николай Николаевич похвалил меня и кинул зачем-то в фонтан монетку.

Н. Н. Померанцев — в прошлом новорожденный, затем мальчик, юноша, мужчина — был одинок, честен, осторожен. Еще в детстве он, прежде чем чиркнуть спичкой и зажечь газ, ставил рядом ведро воды. Не женился по той же причине — из осторожности, что семья развалится, а он очень любил детей!

Бывало, в воскресенье сидит на бульваре рядом с песочницей и представляет, что и его карапуз возится там. Сидит, бывало, волнуется: как бы кто ребенка лопаткой не ударил, песок в глаза не попал... Бывало, целый час как на иголках! В пасмурную погоду тянуло Николая Николаевича пройти мимо детской поликлиники. Бывало, шаг замедлял, сердце сжималось, и на глазах выступали слезы.

Первого сентября — это уж обязательно! — просыпался взволнованный и боялся опоздать... Стоял в толпе родителей у школьного крыльца, и уж так развито было у него воображение, что правая ладонь его ощущала пустоту, будто она вот-вот, только-только держала маленькую теплую ладошку...

Первого сентября я приходил обычно к Николаю Николаевичу в гости на улицу Гарибальди. Он доставал коньяк (предпочитал армянский),

тонко резал лимон. В томительной, сладостной тишине мы выпивали по рюмочке, после чего Николай Николаевич со знанием и значением говорил о необходимости гармоничного развития маленького человека, о будущем нации и государства... А я поддакивал, что детских колготок 14—16 размера не купишь, в ясли очередь...

Папа Николая Николаевича — известный в свое время фармацевт, создатель безвредной мази «Минутка», считал, что главное в жизни — сама жизнь. Жил он легко, пышно, празднично, а праздники, как известно, скоро кончаются...

Мама Николая Николаевича — Софья Павловна — дочь эстрадного артиста-куплетиста Нефедова-Крачковского, женщина была добрая, мягкая; единственное, что ее раздражало и по-настоящему могло вывести из равновесия, — куплеты. Ко всему остальному она относилась с завидной терпимостью: к внешности, к быту, к соседям по коммунальной квартире, к учебе сына и к своей работе — контролера в кинотеатре «Аврора» на Покровке. Она не глядела, что ей протягивают, надрывают и бросала в высокую урну, стоящую рядом, то фантик, то клочок от газеты, как-то удостоверение одного уполномоченного товарища порвала и бросила. В зале случались, конечно, перепалки, но в конце концов свет гас, и на экране, дрожа, появлялись первые титры.

Мальчиком Николай Николаевич много времени проводил в кино, смотрел все подряд, и постепенно жизнь его сместилась из реального ми-

ра в кинематографический. Мир иллюзий стал главным, а папа, мама, учителя в школе, сверстники — как бы выдуманными персонажами, с которыми надо было держаться настороже, чтобы они не могли нарушить внутреннего покоя. Кинематограф предпочитал зарубежный и, если летом смотрел фильм итальянский, выходил из кинотеатра — загорелый!

За последнее время Померанцев заметно изменился: стал сухощавее не только лицом, но и движениями, жестами. Вот и сейчас он шел по Атлантиде подобранный, чутко приглядываясь и прислушиваясь.

В одном месте улицу перегородила полусгнившая рея парусного корабля. Чей был корабль? Когда случилось кораблекрушение? Удалось ли кому спастись? Много вопросов оставалось без ответа.

Вскоре мы вышли к широкой лестнице. Белесые, какие-то утомленные ступени полого уходили к вершине холма, где, покосившись, стояло сооружение, напоминающее издали церковь.

Почему-то казалось, что стоит подняться на верх — и увидишь на горизонте моря маленький белый кораблик. Сознание никак не хотело мириться с царящей везде заброшенностью и пустотой.

Мы поднялись на несколько ступеней и сели передохнуть. Я провел ладонью по теплому камню — чистый. В каких-то рубчиках, словно в морщинах... Что за люди поднимались по этой лестнице? Чьи ноги наступали на эту ступеньку? Что

было для тех людей основным в жизни: справедливость, честь или внимание и благосклонность правителя? Что торжествовало: тщеславие, ум или жестокость?

— Я вот о чем думаю... — начал задумчиво Померанцев.

— О том, что здесь торжествовало?

— Меня занимают цифры на стенах. Вы обратили внимание, что они расположены как-то... указующе?

— Ну, вообще-то...

— Вот что я думаю... — Николай Николаевич говорил неторопливо, как бы проверяя себя, — что это... письменность.

— Как же... ведь цифры?

— Да, да — письменность, — повторил более уверенно Померанцев. — И ее будет довольно несложно расшифровать.

Я был поражен. И гордость охватила меня за Николая Николаевича: «Какой человек! Какая смелая гипотеза!»

— А почему цифры?

— Цифра — это понятие счета, а отсюда ее — интернациональность. Кстати, зачем это им?.. К тому же каждая цифра имеет сугубо свой смысл. Подумайте сами: первый! Чувствуете смысл? А если: единственный? А может быть и так: оди-но-кий... Улавливаете, какая тут взаимосвязь?

— Ну... кое-что.

— А два? Двое... Улавливаете? Пара? И графически выражается: голова почтительно на-

клонена, хвост стелется, и лишь кончик слегка взбрыкивает...

— Вы прям как поэт! Но ведь это арабские...

— Мы с вами тоже не турки! — убедительно проговорил Николай Николаевич. — И поверьте мне — это цифры непростые.

Солнце подвинуло тень «церкви» ближе к нам, и я вздрогнул. Что-то в форме тени было до ужаса знакомое. Нет, не церковное, а что-то другое...

Николай Николаевич тоже встревожился, он поднялся, навел на «церковь» подзорную трубу, и лицо его омертвело...

— Что... там? — выдавил я.

Он, не говоря ни слова, протянул трубу мне. Я приставил ее к глазу и увидел... космический корабль. Он стоял на вершине холма, покосившись. Что-то в его облике было нездоровое и жуткое.

Я опустил трубу, руки у меня тряслись.

Михалыч удил рыбу. Он стоял в воде по колено. Сапоги с бережно развесенными на них портянками стояли поодаль на песочке.

В прозрачной солнечной воде сновали быстрые рыбки. Большие рыбы темными силуэтами выплывали из глубины, оттопыривали нижнюю губу — отплывали, не приблизившись к насадке и на метр. Михалыч вновь закидывал, ноги немели в напряжении. Сердце рыболова замирало, а рыбы — нет чтобы схватить извивающегося червяка и проглотить вместе с крючком, отплывали. Нервы у рыболова были на ис-

ходе, он готов был голыми руками схватить рыбину и засунуть ей червяка в рот: на, жри, жри! Но они отплывали. А еще говорят: рыбная ловля успокаивает нервную систему!

Михалыч вышел на берег, неподалеку лежал плоский овальный камень, диаметром примерно в метр. Михалыч крякнул, охнулся и выворотил древнюю каменюку с ее прочного места. И чуть дара речи не лишился. Под камнем зияла большая дыра. Ровная, она уходила в глубину, и глубина та дышала мраком и холодом.

«А ведь никак колодец!..» — сообразил отставник, обошел вокруг, поскреб затылок. Колодец непростой — он в этом был твердо уверен, но какова его цель? Предназначение? Здесь, на берегу моря... океана. Михалыч оглянулся на город, словно у него хотел получить ответ, но молчали здания под полуденным солнцем. Многие из них были без крыш, и Михалычу неожиданно почудилось, что они сняли шляпы, проводив своих жителей в последний путь.

Михалыч!.. Можно сказать, что смерть ходила за ним по пятам с рождения. Но никогда она еще не была столь близко. Можно сказать, что она дышала ему в затылок, наступала на пятки и старалась заглянуть в лицо, оскалившись своим щербатым ртом. Прочь, прочь, мерзкая!

Михалыч спускался, упираясь в стены спиной и конечностями. Холод шел снизу обжигающий. Волосы поднимались дыбом от холода. Какой-то непростой он был, а кинжаленный, мсти-

тельный. Он как бы не морозил, а резал. Он как бы говорил: «Вернись!», а Михалыч как бы отвечал: «Шиши тебе!», и лез, упорно лез дальше.

На глубине примерно двадцати семи метров, когда ни дышать, ни двигаться не оставалось уже сил, колодец кончился и открылся провал тоннеля. Михалыч посмотрел вверх, кусочек синего неба светился жалко, как подаяние нищему. Подняться обратно — на это не стоило и рассчитывать. И Михалыч пошел вперед: в тоннель, в темноту. Шаг... два... десять... еще немного... все!

Он прислонился к стене и стал сползать по ней. Ног не чувствовал, губы смерзлись и не могли даже прошептать слово «прощайте». В замерзающем мозгу стыло: «Как же... как же они без меня? Не предупредил...» Михалыч упал.

Глаза закрылись, ресницы облепила изморозь. Последнее, что мелькнуло перед мысленным взором: Тушка и китиха Афродита, летящие в синем небе... И еще Михалыч увидел то, что видел за стеклом, когда молился вечером в самолете. И пронзительная догадка явилась ему, вспыхнула ярко и... угасла вместе с сознанием.

* * *

Мать говорила, что Валентин похож на своего отца. На комоде, в шкатулке с нитками и иголками, лежала его маленькая, пожелтевшая, оторванная с заводского пропуска фотография: волосы на косой пробор, лицо вежливо-готовое к улыбке и глаза... какие уж там глаза на малю-

сенькой фотографии — две точки! Но глядели эти точки так, что хотелось побыстрее положить фотографию в шкатулку и закрыть крышку.

Непростой был человек! Иногда безудержно веселый, а чаще — гнетуще-молчаливый. Что-то он все хотел от жизни. Работал на заводике скобяных изделий начальником ОТК, работой своей дорожил и презирал одновременно.

Он и жизнь свою, как контролер, все вымерял, взвешивал. И получалось, что живет он ниже возможного, недобирает.

В 1967 году, когда маленькому Вале было два года, решил повеситься. Долго ходил по пригородному лесу, выбирал дерево и никак не мог найти подходящее: это корявое, там сук тонкий, вот то хорошее, но близко от дороги... Так и вернулся ни с чем. Голодный, усталый...

Умер он три года спустя. Переходил дорогу, а прямо на него — грузовик. Он переходил по правилам, на зеленый свет, поэтому дорогу не уступил.

Валя помнит, как на похоронах незнакомые женщины хлопотали на кухне, как мужчины выносили гроб... И как потом, на поминках, дядя Костя — двоюродный брат отца — запел: «Степь да степь кругом, путь далек лежит!..» На него зашикали, а он не понимал: «Чего такого-то?..»

Жили они на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Зимой топили дровами, от печки тепло мягкое, доброе. А летом во дворе много зелени, покой, захолустье. Часто Валя вспоминал свой двор, и всегда у него душа согревалась,

словно в мороз стакан спиртяги хватанул. Мать вспоминал шьющей у окна или развешивающей во дворе на веревке белье...

Отца Валя вспоминал, только когда заполнял анкеты и листки по учету кадров.

— Валя, береги себя! — крикнула ему вдогонку Надя.

Валя послал воздушный поцелуй, подмигнул браво. Повезло ему с девушкой, что и говорить. В жизни подобное нечасто бывает. Настоящие друзья нечасто встречаются, а уж настоящие, единственные женщины — того реже. И как тут отличишь: одна вроде и человек хороший, и любит тебя, а другая, глядишь, любит (говорит, что любит) больше. У одной хороши губки и ножки, у другой — глаза и взгляды на жизнь. У третьей необыкновенные кулинарные способности, а у четвертой такой бюст, что невольно вздохнешь и рот закрыть забудешь. Много надо смелости иметь и решительности, чтобы сделать правильный выбор. И все равно в конце концов ошибешься. Есть, правда, верный способ — самому полюбить, но сие не всем дается.

Валя шел бурить. По дороге прихватил какой-то прутик, железку какую-то поднял, из самолета взял веревку, нес ее свернутой на плече. Пел: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!..» Слуха, конечно, никакого, зато громко. Куда шел? А прямо: поисковой карты нет, начальства — нет, где найдет, там и ладно! Как говорил старик-охотник, что приходил к ним из тайги два раза в месяц за куревом:

«Ноги сами чуют!» Хороший старик, душевный, отходчивый — подстрелит, бывало, в тайге какую птаху, а потом плачет, курит... Курил много.

Ко всему Валентин привыкал быстро: к людям, к тайге, вот и в Атлантиде всего второй день, а вел себя, будто здесь родился (ой, извини, Юра, не хотел обидеть!). По сторонам не глазел, думал про свое, а точнее — про Надюшеньку. И даже не думал, а будто нес перед собой ее портрет.

За город вышел и не заметил как. Обратил внимание, что ноги в песке стали увязать. Огляделся — пески, пески вокруг, барханы. Бурить тут — не сахар, обалдеешь под солнцем, пока что-нибудь найдешь! Пошел дальше, думал: «Дойду до первого бархана, а там видно будет. Может, там какой оазис?»

Положился Валентин на судьбу, а забыл, что судьба-то у него нелегкая. Не успел он сделать и десятка шагов, как зашевелился под ним песок, просел, и не успел Валя глазом моргнуть, стало его засасывать. Будто большие губы вжовывали его, будто в гигантских песочных часах он ссыпался в нижнюю колбу. Жутко сделалось Валентину, он пытался вытягивать, высвобождать ноги, отталкивался руками, но опереться-то было не на что! «Надя! Наденька!.. Ребята! Как же так! Я не хочу!..» А песок уже по пояс, обхватил плотно, на зубах скрипит. Борется Валентин, а сделять ничего не может.

Глава двадцатая

Все за одного

Надя протягивала лежащему Рагожину столенную ложку с микстурой от кашля, когда Рагожин вдруг разволновался, покраснел, раскашлялся.

— Что с тобой, лежи! Тебе велели лежать! — удерживала его Надя. — На, выпей, это не горькое...

— Валька! С Валькой что-то! — сильное беспокойство овладело Рагожиным. — Где он?! Куда ушел?!

Надя тоже заволновалась. Сама выпила микстуру: «Фу, горькая!»

— Скважину он ушел бурить. А что?!

Рагожин скинул одеяло, встал, прислушиваясь. Ушами водил по сторонам. Наконец крикнул неистово:

— Бежим!

Дверь в самолете, как назло, не открывалась, засело ее, что ли?! Так всегда бывает, когда надо...

— Секунды теряем! — бесился Рагожин. — Может, он сейчас уже!..

— Что?! Что сейчас?!

Дверь открылась, как ахнула. Скинули лестницу, ссыпались по ней, еле успевая хвататься за перекладины.

Мы с Николаем Николаевичем подбирались к космическому кораблю. Страшно было, поэтому оглядывались по сторонам. Оттуда, с высоты, я и заметил наших.

— Смотрите, — показал я Померанцеву, — Надя с Рагожиным куда-то бегут!

— Что-то случилось! — понял он. — Бежим и мы!

Побежали, попрыгали по ступенькам вниз. Я чуть голову себе не свернул — одна ступень под ногами поехала, словно специально поджидала меня тысячи лет.

Внизу потеряли наших из виду, да хорошо голос у Рагожина нервный — слышно далеко. Побежали на голос. Я запыхался, думал: сейчас упаду или сердце разорвется. Но перестал думать о себе, и побежалось легче. За поворотом увидели Рагожина и Надю. Пятки у Рагожина мелькали чаще, но бежал он сзади. Надя, кажется, не столько бежала, сколько мотала головой — волосы ее плескались из стороны в сторону.

Вдруг они остановились. Надя беспомощно озиралась, Рагожин оттопыривал уши.

— Что?! Что случилось?! — подоспели и мы.

— Сигналы прекратились!

— Валя пропал!..

— Тихо! — Николай Николаевич приложил палец к губам. — Слышите?..

Все прислушались. И услышали зловещее, жестяное шипение песка.

— Туда! — указал Померанцев.

...Огромная воронка предстала нашим взорам. Песок настойчиво и неумолимо ссыпался с боков в середину. Воронка оседала, расширялась, а в центре ее — уж как он там удерживался! — барахтался Валентин.

— Валя, держись! — крикнул Николай Николаевич. — Мы здесь!

И сам чуть не ссыпался вниз. Еле удержался.

— Валя! Валенъка! — причитала Надя и металась по краю, вытягивала вперед руки.

— Веревка! Веревка у него на плече! — заметил я. — Пусть кинет нам!

Обрадовался, что это я придумал, почувствовал себя смелее, неосторожно сделал вниз пару шагов, сзади под колени навалилась волна песка, я ткнулся носом — и по-собачьи скорее вверх. Уф! Сердце захолонуло. Едва там не очутился... вместе с Валентином.

— Кидай конец! — кричал Николай Николаевич Валентину. — Соберись с последними силами и ки-дай!

— Кидай, Валя! — беззвучно шевелила губами Надя. — Кидай, милый!

Валентин понял. Он сдернул с плеча веревку и, изогнувшись, метнул ее. Николай Николаевич ловко и цепко ухватил конец.

— Ура! — закричал я. — Ура-а-а...

И не докричал. Кинуть-то Валентин кинул, да конец другой себе не догадался оставить. Доверился парень, а самому подумать там, в воронке, некогда!

— А-а! — Надя закрыла лицо руками.

Парень погрузился уже по грудь. Вытаращенные глаза смотрели с мученической безысходностью. Наверное, прощался уже с Надей, с мамой, с жизнью.. Может быть, меня перед смертью вспомнил...

— Лови! — крикнул Померанцев и, как лассо, метнул веревку обратно. Не долетела она. Поползла, как змея, когда Померанцев стал вновь ее наматывать.

— Дайте мне! Дайте мне!.. — мешала, отнимала бесценные секунды Надя. — Ну кидайте же! Кидайте, что вы медлите!..

Николай Николаевич размахнулся, задел меня по голове (ой!), потерял замах, кинул — и мимо. Метрах в трех сбоку легла веревка.

— Ну что же вы!.. Что же!.. — Надя зарыдала. Я впервые видел ее такой, почти безумной.

— Дайте мне, — каким-то ледяным, решившимся голосом сказал Рагожин.

Померанцев обернулся, помедлил.

— На! — протянул смотанную в кольцо веревку.

Рагожин метнул. Сильно. Хлестко. Так метнул, что засветил Валентину прямо в лоб. Валька охнул и вцепился в веревку руками.

Рагожин за веревку, Николай Николаевич за него, я — за Померанцева, за меня — Надя. Потянули. Раз, два — ни с места! Чувствую я, что-то мешает мне. Отвлекает. Прямо до невозможности! Стал анализировать — руки! Надины руки у меня на поясе. Стыдно сделалось, аж в жар бросило. Из-за такого пустяка чуть друга не угробил.

— Отойди-ка, — сказал ей грубо. — Отойди, не мешай! Не женское это дело!

Жестоко поступил, но невыносимо чувствовать на себе женские руки, если они, держась за тебя, выручают другого.

И сразу дело пошло на лад.

— Вытягивается! — победно заорал Рагожин. — Глядите, вытягивается!

Мы пятались, упираясь в песок пятками. У меня перед глазами была напряженная спина Николая Николаевича; если заглянуть сбоку — kostистая упрямая спина Рагожина. Давно ли я нес его на себе, а теперь вместе спасаем буровика Валю. Тянем его из пучины...

Яма чавкнула и как выплюнула нам нашего незадачливого друга. Мы оттащили его подальше от злополучного места, перевернули на спину, он улыбался. Устало и благодарно. Надя склонилась над ним, по щекам ее ползли слезы, обрывались и падали Валентину на лицо, он улыбался...

Мы отошли в сторонку, оставив молодых наедине. Пески, пески... Пучки сухих водорослей... Нехорошо было у меня на душе почему-то. Вроде бы столько всего сегодня случилось, а удовлетворения и покоя нет.

Николай Николаевич глянул на молодых, вздохнул.

— А мы, знаете ли, кое-что любопытное обнаружили, — сказал Рагожину, — космический корабль.

— К-корабль?.. — лицо у Рагожина вытянулось. — К-как это... корабль?

Померанцев опять коротко глянул в сторону Нади и Вали.

— Сам удивляюсь. Стоит там... Лестница к нему ведет.

Я слушал их разговор, а самому принимать участия не хотелось. Отстраненно воспринимал все происходящее. Поэтому и уловил неожиданную отгадку. Как озарение нашло.

— Послушайте-ка! Если лестница выложена к кораблю, значит, он...

— Сел, когда город был жив! — подхватил Николай Николаевич.

И еще один удар ждал нас в тот день. С тех пор не люблю я солнечную, ясную погоду и, если выпадает теплый, безоблачный день, стараюсь не выходить из дома.

Мы вернулись в самолет и не застали Михалыча.

Ах, Михалыч, Михалыч! Мы ждали тебя до вечера, голодные, не садились без тебя за стол (плавленые сырки «Дружба», подсоленные морской водой, — 5 шт., хлеб «Бородинский», подсушенный — 1 бух.). думали, вот сейчас ты придешь усталый, улыбнешься своей мужественной улыбкой, пожуришь Валентина за беспечность. Пожалеешь Надю, подбодришь меня, спросишь у Рагожина: какая температура? Не пришел ты ни вечером, ни ночью, ни под утро. Мы не сомкнули глаз, не знали, что и подумать. Померанцев высовывался из самолета, кричал: «Ау, Михалыч!» Но никто ему не отзывался: ни ветер, ни прибой, ни голос ночной птицы. Даже я промолчал, хотя очень хотелось крикнуть: «Я здесь!», чтобы успокоить друзей хоть немного.

К вечеру, помню, сгрудились у ушей Рагожина, как у репродуктора. Ждали последних извес-

тий. Но молчали уши нашего товарища, краснели, как две алые розы, и — ничего.

Невыспавшиеся, изнуренные встречали мы новый, третий по счету день в Атлантиде. Чай пили холодный, со старой заваркой. Неудобно было как-то без Михалыча и готовить себе вкусный чай. Поэтому в животе, так же как в душе, было тоскливо и пусто. Рагожин слонялся по самолету, щурился в иллюминаторы, подходил к Николаю Николаевичу, шептал что-то. Померанцев отрицательно качал головой и говорил: «Надо ждать!» Вслед за Рагожиным подходил Валентин, тоже что-то шептал. Померанцев говорил ему: «Валентин Васильевич, не горячись!» Наконец приняли общее решение: разбиваемся на две группы: поисковую, которая отправляется на поиски Михалыча (эх, Михалыч, Михалыч!), и специально-исследовательскую, которая идет обследовать космический корабль.

Но прежде каждый написал письмо родным. Конверты оставили в кабине на видном месте — в кресле командира. В бортовом журнале сделали запись (писал Н. Н., а мы все расписались): «Уходим и, может быть, не вернемся». Число. Подписи.

Уходили с тяжелым сердцем.

Глава двадцать первая

Корабль древних пришельцев

Корабль стоял, накренившись на одну хромую опору. Корпус какого-то серо-могильного цвета, во вмятинах (метеориты, что ли, оставили свои

отметины?), нижняя часть стабилизаторов в багровой окалине, будто в запекшейся крови. Из-под днища крысиным хвостом тянулся вниз по склону холма шланг.

Мы обошли корабль. Рагожин пристально разглядывал все, поскреб ногтем опорную штангу:

— Металл редкий, в чистом виде в природе не встречается.

Башмаки на опорах были широкие, перепончатые. Рагожин постучал по одному согнутым пальцем, хмыкнул:

— А я им говорил, они не верили!..

Люк имел необычную, вытянутую в ширину форму.

— Любопытно... — закусил губу, задумался Рагожин.

Ох не по себе мне было! А уж как лезть не хотелось, это ж все равно что в посольство внеземной цивилизации. Хотелось повернуться к кораблю спиной и забыть, что он есть, и идти, идти, не оборачиваясь, к своему Тушке.

Полезли. Рагожин впереди, его туда словно магнитом тянуло. Вскарабкались по опоре. В люке то ли рычаг, то ли скоба (как потом объяснил Рагожин: ручка), дернул он за нее, и... люк приоткрылся. Я ахнул — внутри горел свет.

В нос ударила непривычный, какой-то кисло-застоявшийся запах. Мы подождали. Запах стал слабее, никаких звуков из корабля не доносилось.

— Ну... я пошел, — сказал Рагожин.

И скользнул в люк. Помедлив, я последовал за ним. Сразу посмотрел, откуда шел свет, — из

желтого овального фонаря на стене... над пультом управления. «Непонятно — тысячи лет... а светит!»

— Аккумулирует солнечную энергию, — объяснил Рагожин. — Я им, козлам, говорил, а они!..

— А... это что?

Напротив фонаря из стены торчало что-то похожее на присоски электродоильного аппарата.

— Это... — Рагожин взял в руки трубы. — Это... — На лице у него появилась растерянность. — Ка... как же так? В-ведь... именно над этим я работал последние годы. Шесть лет... Я хотел, чтобы все были счастливы, а оказывается...

Даже здесь — в инопланетном корабле — он удивил меня.

— Над чем работал? Как это... чтобы все были счастливы?!

— Я работал... Понимаешь, я уже почти нашел способ получения продуктов питания непосредственно из солнечных лучей. Ну... как тебе объяснить: солнце — трава — корова — молоко, понимаешь?

— Ну-у... нет вообще-то...

— Удаляём промежуточную инстанцию трава — корова, и все сыты! Понимаешь?! Все сыты и счастливы!.. Уже не нужно работать во имя еды, можно жить во имя жизни, понимаешь?!

Глобальность идеи меня потрясла. Так вот какого человека я нес на себе ночью! Захотелось схватить его в объятия и нести еще куда-нибудь несколько километров.

Рагожин вертел в руках присоски, нюхал, прикладывал к губам.

— Да, точно... Все сходится... я был на верном пути... Но ведь это значит, что они были счастливы! Понимаешь, они должны были быть счастливы!

— А это что? — я тронул рукой розовую кнопочку.

— Это... — Рагожин не успел договорить, что-то затряслось под ногами, люк со скрежетом и лязгом захлопнулся, и кабина стала наполняться уже знакомой кисло-заплесневелой вонью.

Глава двадцать вторая

Орел или решка?

Цепочкой, готовые ко всяkim неожиданностям, шли Померанцев, Надя и Валентин.

Валентин оглядывался, зло зыркал глазами. Кинулся бы с голыми руками хоть на океан, хоть на небо. По океану так вмазал бы кулаком, что брызги долетели бы до Луны! А небо стиснул бы с такой силой, что оно пискнуло бы и прорвалось дождем. Вот как он был готов дратвся за Надю, за Михалыча!.. Грудь побаливала, на зубах хрустел еще песок. Валентин плевался, кашлял, сопел.

Шли берегом. Ветер гнал длинные волны, как полководец войска в наступление: батальон за батальоном, волна за волной. Ворчал океан, чем-то был недоволен. Волны набегали на песок, сердито шипя, словно хотели схватить и унести наших путешественников с собой (а может, и

вправду хотели?!). Но не доставали, не дотягивались.

Первым колодец заметил Валентин.

— Глядите-ка, — сказал недоуменно, — скважина...

— Удочка! — воскликнула Надя. — Смотрите, удочка!..

Рядом с колодцем лежала аккуратно свернутая суровая нитка с загнутым гвоздиком. Теперь сомнений не оставалось — Михалыч удил именно здесь!

Ровные стены колодца трубой уходили вниз. Из черноты тянуло холдом, как с Северного полюса. Вот что — оказывается, не только в песке, но и тут, на берегу океана, дыра в глубь Земли!

Валентин, чувствуя ответственность професионала-буровика, наклонился над дырой, плюнул туда, крикнул: «Эй!»

— Глубоко, — уважительно сообщил, обернувшись. — Куда ведет — хрен ее знает! Гм!.. Пardon!.. Думаю, что метро, — высказал он с ногсшибательную мысль.

— Какое метро?! — почему-то с обидой проговорил Николай Николаевич. — Откуда оно здесь?!

— Судя по направлению, — спокойно сказал буровик. — Хотя, конечно, дело давнее...

Николай Николаевич присел на корточки и начал что-то чертить на песке пальцем, приговаривая задумчиво: «Так... Так... Так... Ишь ты!» Волны норовили смыть чертеж, но не дотягивались.

— А ну-ка, посмотрите, что получилось, —
пригласил он. — Видите, вот это — космический
корабль, а эти две точки, — он показал на дырочки
в песке, — колодец и скважина, куда Валя...
Валентин Васильевич провалился... и расположены
они, видите, практически на одной прямой.

— Что ж он, из-под земли, что ль, прилетел? — понял по-своему Валентин.

— Я не говорю, что из-под земли, — терпеливо объяснил Николай Николаевич, — но какая-то связь здесь, безусловно, есть... Должна быть...

Валентин опять глянул в колодец, наморщил лоб. Солнце подвинулось на небе и уронило луч в темную глубину.

— Глядите! — воскликнул Валя. — Следы!

Действительно, метрах в трех от поверхности, там, где на стенах колодца начиналась сырость, четко отпечатались следы сапог.

— Михалы-ыч!.. — жалобно всхлипнула Надя.

Валентин скинул с плеча веревку (он теперь с ней не расставался), обвязал вокруг пояса, другой конец решительно протянул Померанцеву:

— Держите!

— Нет, — Николай Николаевич потянул веревку к себе, — полезу я, у вас, молодых, вся жизнь впереди, а я уж... И не спорьте!

Он наступил и тоже обвязался веревкой. Теперь они оба стояли обвязанные, будто играли в какую-то игру. Смотрели упрямо, с вызовом. Валентин набычился, шея покраснела — если уступит, как тогда Наде в глаза смотреть?! А Николай

Николаевич не мог взять грех на душу — вдруг с Валентином что случится?! Как тогда жить дальше?!

— Пока мы здесь время теряем, — выкрикнул он, — Михалыч там, возможно, уже!..

— Так не держите меня! — дернул веревку Валентин.

— Поймите, я же хочу как лучше! — Померанцев дернул к себе.

Валентин опять к себе. Померанцев — к себе и сильнее. Валя покачнулся и едва не упал.

— Ты че?! — взъярился он. — Офонарел, что ли?! Да я тебе!..

В общем, до драки оставалось немного. И где — в древней Атлантиде! И из-за чего — из-за права рисковать своей жизнью!

Надя встала между ними, уперлась ладошками в напирающие мужские груди.

— Ну зачем вы так? — говорила укоризненно. — Николай Николаевич, вы же взрослый человек!.. Валя, а ты?! Ну, прошу вас, успокойтесь!.. Киньте лучше монетку. Если орел, лезет... пускай лезет Валя, если решка — вы, Николай Николаевич...

Померанцев усмехнулся: «Ну, конечно, орел — Валя! Ах, любовь, любовь!..», достал из кармана юбилейный рубль, подкинул. Монета сверкнула в воздухе и — нырнула в колодец. Вытянули туда шеи, помолчали. Николай Николаевич опять полез в карман пиджака, покопался и выудил копейку. Протянул ее на ладони Наде. Девушка широким махом подкинула копейку — «ой!».

Монетка как-то криво взлетела и — упала в колодец.

— Ну, ты даешь! — с досадой, укором и восхищением сказал Валентин. — Ну... теперь моя очередь.

Померанцев достал три рубля.

— Так бумажка же... — сказал Валя.

— Больше нету, — похлопал себя по карманам Николай Николаевич. — В самолете оставил...

Валентин взял три рубля, помял их, вздохнул. Многое вспомнилось в эту минуту: и как на последний трешник, бывало, брал бутылку красного, и как счету не знал трешницам (да что трешницам — четвертным!), получая на скважине зарплату с надбавками за дальность, за вредность, за глубину, за мир во всем мире!

Еще вспомнилось, как почтальон приносил бабушке пенсию... Бабушка в тот день наряжалась: повязывала чистый платок и с утра садилась у окна ждать. Почтальонша появлялась не раньше полудня.

— На, распишись, — говорила она как провинившейся.

— Даык, я слепая совсем, — врала бабушка в очередной раз, скрывая свою безграмотность, — вот внучек за меня распишется, можно?

— Ну пусть внучек, — безразлично соглашалась почтальонша. И давала бабушке три трешницы — пенсию за убитого на войне мужа. А сама-то бабушка пенсию не получала, справок каких-то все не хватало, а ходить по начальству — это ж сколько людей от дела отрывать!

Многое вспомнилось Валентину. И не подкинул от трешницу вверх, а бережно расправил и отдал Николаю Николаевичу.

— Спасибо, — сказал зачем-то и стал развязывать на себе веревку.

Николай Николаевич вздохнул. Вот и все разрешилось — лезть ему! Он сел на край колодца, спустил одну ногу, другую, помедлил и... оттолкнулся. Больно ударился коленкой, веревка впилась в тело. Он стиснул зубы.

— Травлю помалу! — крикнул Валентин. — Два рывка — сигнал вытаскивать!

Померанцев спускался. Все темнее и холоднее становилось. Даже веревка промерзла и жгла ладони. Вытягивая ногу, он всякий раз ожидал нащупать дно. Дна не было...

Надя, наклонившись, смотрела ему в затылок, и вот уже не видно Н.Н. Померанцева. Только угадывается во тьме какое-то шевеление... Веревки оставалось совсем мало, и, наконец, она натянулась в руках у Валентина. Тяжело и безнадежно. Что делать? Буровик ждал сигнала — его не было.

— Николай Нико-ла-ич!.. — позвала Надя. — Вы где-е?

И ответа не было тоже.

Померанцева выволокли еле живого. Синий, на ушах иней, под носом сосулька.

— А Михалыч?.. — у Валентина дрогнул голос. — О-он... где?

— М-мих-халыч... — Николай Николаевич опустил глаза и потянул с головы шляпу.

— Николай Николаевич, наденьте головной убор! — взмолился Валентин.

— Ба-Ба-Валя... На-На-Надя... — Померанцева колотил озноб, иней таял на ушах и стекал капельками за шиворот. — Ч-человеческий орг-ганизм не с-способ-собен выдержать с-столь низ-кие температуры. А-а-апчхи!

— Николай Николаевич, наденьте головной убор! — не успокаивался Валентин. — Я прошу вас: наденьте!

— Он всегда был такой добрый... такой... — у Нади на глазах набухли слезы, подбородочек задергался.

— Есть! Есть, а не был! — заорал Валентин. — Что вы... его хороните раньше времени!

— Он всегда... есть такой добрый... такой... хороший... — повторила Надя, и быстрые, обильные слезы выкатились у нее из глаз.

Она вдруг вспомнила папу с мамой и бабушку, и так ей стало страшно, что и они когда-нибудь умрут, что упала она Валентину на грудь и разрыдалась. И стояли они оба оглушенные. И не было их роднее и несчастнее в эту минуту никого во всей Атлантиде!

Глава двадцать третья

В западне

Я задыхался. Руки хватались за первое попавшееся: рычажки, кнопки, стены... Рагожин плечом пытался выбить прочную дверь. Бесполезно. Мы были обречены. Оставались секунды, в луч-

шем случае — минуты, и их надо было провести достойно. Не перед другими — перед собой отчитаться и доказать, что жил ты не зря и умер не в позоре.

— Давай прощаться, — сказал я Рагожину. — Прости, что втянул тебя в эту... в эту... — дышать было трудно, рот набит слюной, — в эту авантюру...

Сказал — и стыдом обожгло за свое предательство, хоть и не нарочно употребил это слово, от обиды. Рагожин утробно, с надрывом закашлялся. Наконец ему удалось обрести речь.

— Витя... — он впервые назвал меня по имени. — Спасибо тебе... я хоть умру по-человечески... — Он пошатнулся. — Вот и кончилась жизнь, Витя... а правильно ли я ее прожил? Понимаешь... — Рагожин говорил, мучительно вытягивая шею, — понимаешь, Витя... мне думается, я жил правильно, но скажи: почему так трудно?.. Витя, кх-кх-кх!.. ты слышишь меня?.. Неужели жить честно — значит обязательно трудно? Витя, ты слышишь, ты понимаешь?! Витя, почему я никому был не нужен?! Ведь не может быть, чтобы я родился по ошибке, ведь в природе все разумно,rationально... кх-кх... Витя, ты слышишь, ты понимаешь меня?! Витя?! — он задыхался, хватал себя руками за горло. — А если... если я родился тут... в Атлантиде?! Значит, я был нужен тут!.. Витя, ты слышишь — тут!..

Он взмахнул руками, пошатнулся, упал на стену и, скребя по ней ногтями, сполз на пол.

А газ густел. Он откуда-то выбивался с легким, зловещим посвистом. Он был мутен, и желтый фонарь светил, будто лампочка в бане.

Силы покинули меня. Удерживало одно — не было предчувствия конца, было чувство ожидающей большой неприятности и моей вины. Я ткнул еще в какую-то кнопку и... услышал голоса. Голоса людей!

Я осталбенел. Они говорили по-русски...

— Похож на буровую установку... — говорил мужской голос.

— Жуткий очень!.. — вторил мужскому женский.

— Осторожнее! Прошу вас, будьте осторожнее! — встревоженный и заботливый (чуть, кажется, простуженный!) голос... Николая Николаевича По-ме-ран-це-ва!

Да, это были они! Горло перехватило спазмом, как петлей. Я понял: еще немнога, и потеряю сознание. И застучал, заколотился об стену...

— Ломайте дверь! — услышал голос Николая Николаевича. — Быстрой!

Раздались удары по корпусу чем-то тяжелым (Валентин, что ли, кулаком громил?). Корабль сотрясался от грохота, как в лихорадке. Рагожин зашевелился, застонал.

Дверь пискнула и отошла, распахнулась. Плеснуло в глаза солнцем, дохнуло воздухом. Я зажмурился, закрыл лицо руками и уже не отпускал их, чтобы не показать выступившие на глазах слезы...

В прежней жизни я редко плакал, так же ред-

ко и смеялся. А во время экспедиции чувства, переполнявшие меня, то проливались слезами, то выплескивались смехом. Никогда потом я уже так часто не плакал и не смеялся.

А в корабль уже ввалились наши спасители.

— Они живы! Они живы! — Надя перебегала от меня к Юре, трогала нас, гладила, целовала в грязные щеки.

— Фу! — морщился Валентин, будто только на запах. — И чем тут воняет?! Чем-то знакомым...

...Мы сидели на холме. Тень звездолета маячила рядом, будто подслушивала. А мы пытались догадаться, высказывались разные предположения, вплоть до того, что корабль не инопланетный, а наш — земной, что цивилизация в Атлантиде достигла небывалого уровня. Эту гипотезу высказала Надя (как-то в ней уживалось: вещи носила заграничные, а все самое лучшее в мире считала — нашим!).

Юра не мог сидеть, прилег — сильно отколошил себе плечо об люк.

— Не верится, что Михалыч погиб... — сказал, морщась, — если уж я остался жив...

С вершины холма окружающая панorama выглядела мирно и по-рекламному заманчиво. И если бы кто-то заснял нас на пленку, у будущих зрителей создалось бы идиллическое настроение, а у некоторых, возможно, даже появилось назойливое чувство зависти к недоступной, шикарной жизни. А нам было несладко...

— Нужно поставить Юру как можно скорее на ноги, — сказал Померанцев.

Собрали по карманам у кого какие таблетки, заставили его прожевать и проглотить. Сказали: «Надо!» Подействовало. Через пять минут вскочил и, сконфузясь, побежал на другой склон холма. Вернулся с вдумчивым выражением лица.

— Для начала надо детально осмотреть корабль, — сказал обиженно.

Пошли гурьбой к кораблю. Запах еще витал, тянулся из чуждого нутра. Остановились у хвоста-шланга.

— Видимо, они готовились к заправке, — произнес Николай Николаевич, — но что-то их остановило...

Рагожин всунулся в люк наполовину (боялся уж весь залезать!), ухватил какую-то пластину, кинул нам. Я поймал и вздрогнул.

— Цифры!

Николай Николаевич взял у меня пластину из рук и задумался. Я вкратце пересказал суть его открытия. Все оживились, насколько позволяла тревожная обстановка, окружили Померанцева.

Черную гладкую поверхность украшали по краям голубые пятиконечные звезды с разной длины лучами, видимо, каждый луч что-то означал. А в середине были три цифры...

— Жур... нал... — произнес по слогам Валентин.

Все посмотрели на него с изумлением. Он смущился.

— Просто, я думаю, журнал-то должен быть, как у нас...

— Молодец! Валентин Васильевич... — похвалил Померанцев, перевернул пластину, на обороте шли столбиком цифры помельче. — Что ж, попробую дешифровать запись, это может быть очень важно!

Он сел на ступень древней лестницы, достал блокнот, ручку и склонился над пластиной. Мы отошли, чтобы не мешать.

Ветер с океана становился крепче. Откуда-то, как воронье, слетелись черные тучи. Небосвод тяжелел, мрачнел.

— Дождь будет... — сказала Надя и вытянула руку. В ладонь ее, будто прицельно, упала крупная капля.

— Гроза... — определил Валентин. Рагожин потрогал ушибленное плечо.

— Теперь всегда ноет к непогоде.

— Как-то там Тушка без нас?.. — вспомнила и поежилась Надя.

Никто ей не ответил, и каждый подумал о Михалыче. Печальные мысли пришли мне в голову: «Надо поставить Вожжееву крест. Или пирамиду. Но где ставить? Да что ты, — уговаривал я себя, — Михалыч жив!» А мысли упорно крутились об одном: «Конечно, пирамиду... со звездой, на высоком месте, на берегу океана!»

— Есть! Готово! — крикнул Померанцев. — Идите сюда!

Мы обступили ученого, ждали с интересом и надеждой — очень хотелось, чтобы там было написано, что все будет хорошо! Николай Николаевич встал, откашлялся.

— Слушайте... «Ши-ро-ка... стра-на... моя... род-ная... — с удивлением прочитал он. — Много в ней... гм... полей, лесов и рек...» Что-то я путаю...

— Опять стихи! — Валентин плюнул с досадой.

И мне показалось, что в меня. Но это упала вторая капля, за ней третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая... И застучало, забарабанило глухими шлепками по траве, звонкими по корпусу звездолета. Надя по-девчоночьи взвизгнула, и мы, не сговариваясь и почему-то уже не страшась, бросились в открытый зев инопланетного посланца.

Дождь обрушился лавиной, он как бы задавить хотел нас, раздолбать и смыть в океан наши атомы, мысли, планы, желания. Стихия? Нет, жажда нашей гибели, месть! Но за что?!

Что в звездолете прилетели враги, лично у меня не вызывало сомнения. Я давно заметил: национальный характер, а также человеческие наклонности обязательно проявляются в покрое одежды, манерах, архитектурном стиле, танцах... Меня в звездолете все раздражало! Раскоряченный, он стоял, как паук, как свастика. Внутри преобладали оскорбляюще-гладкие и бесстыдно вогнутые и выпуклые поверхности и формы. Даже «доильный» аппарат был неприятен и отталкивающе действовал на воображение своей функциональностью. Тут не было души! Вот что понял я. Здесь было разумное (подчас очень) животное предназначение.

Впрочем, когда мы впятером набились в кабину, чувство неприятия и брезгливости притупилось. Внутри корабль состоял из двух отсеков: собственно кабины и отсека с топливными баками. Рагожин полез их осматривать, обнюхивать, закричал:

— Газ шел отсюда! По-видимому...

Замешкался, заинтересовался чем-то и вдруг вскрикнул:

— Что такое?! С-жатие рассчитано... оно рассчитано на... в переводе на наше измерение, значит!..

Громыхнул гром. Молния прорезала небо. Я вздрогнул, на секунду показалось, что летит космический корабль выручать своих и нам грозит еще большая опасность.

Рагожин вылез из топливного отсека позеленевший. Я заметил, губы у него сделались серые и неживые, как резина. Фонарь горел, и как-то нехорошо было от его света, словно кто-то глядел на меня. Словно глаз это — желтый, недобрый, хитрый!

— Судя по вместительности баллонов... — выдавил Рагожин, и невыносимая мука отразилась на его лице, — и если взять массу нашей Земли...

— Н-не может быть?! — ошеломленно проговорил Померанцев. — Н-не... может...

— Что?! Что случилось-то?! — не понимал, но чувствовал необъяснимое волнение Валентин.

Николай Николаевич повел на него уничтожающим взглядом.

— Буровик тоже... Сверхглубокая!..

— Да что случилось-то?! — заорал Валентин. — Что?! Вы объясните толком!

Надя тоже ничего не понимала, тужилась сообразить. Очень переживала. Я сказал ей:

— Для заправки баллонов требуется столько газа, что корабль мог улететь с убитой им планеты...

— Нет, нет! — Надя замахала руками, как бы прогоняя наваждение. — Что вы?! Как же?! Мы в школе проходили, что Земля состоит...

— В школе вы учили то, что людям уже известно, — вздохнул Николай Николаевич. — А мы вынуждены узнавать новое... И подчас ценой своей жизни...

— Они метили в самую глубь! — выкрикнул Рагожин отчаянно. — Они хотели забрать само... сердце! Высосать кровь!

— А-а-а-а! — взвыл Валентин и шарахнулся кулаком по корпусу. На пол отвалилась какая-то гайка. Надя вздрогнула.

Дождь кончился, словно для того лишь и начинался, чтобы загнать нас внутрь и сунуть в ужас.

— Надо найти план! — убежденно произнес Николай Николаевич. — План или чертежи газопровода обязательно должны быть!

Никто не спросил: «Зачем?» — хотелось действовать, хотя и с опозданием на тысячелетия!

Мы принялись рьяно шарить в кабине. Валентин обнаружил то ли компьютер, то ли мину... Протянул Померанцеву, тот кивнул — отдай Рагожину. Я высгреб из темного угла какую-то

шляпу, вроде бы кожаная, с металлическими за-
клепками в виде звезд... Что-то в ней было при-
манивающее, сунул в карман.

— Посмотрите, что я нашла!.. — Надя держа-
ла в руках увесистый фолиант.

Померанцев бережно принял его у Нади, огля-
дел.

— Ба! Никак семейный альбом! Вот так на-
ходка!..

Время пощадило переплет (бордовый, похо-
жий на бархат). Декоративный замочек легко от-
щелкнулся. Николай Николаевич с любопытст-
вом открыл первую страницу-пластинку, и — ру-
ки ходуном заходили у него. Он смотрел в альбом,
словно его ударили, словно он сейчас упадет...

Я вынул у него из рук альбом — на первой
странице была одна-единственная фотография,
и запечатлен на ней был — птицеловек! В фор-
ме с погонами (судя по количеству пустого места
на погонах, звание имел не самое высокое).
Портрет поясной, в углу цифры. Должно быть,
имя и фамилия. Или что там у них — кличка!

Не сговариваясь, мы поспешили выбраться
на свежий воздух; оглядываясь на звездолет,
отошли подальше. Я открыл следующую страни-
цу. Тут было два групповых снимка: птицело-
век с женой и ребенком, и на втором несколько
птицелюдей (я насчитал шесть) на фоне этого са-
мого космического корабля!

Снимки были выполнены на тонких металли-
ческих (?) пластинах (чтоб уж на всю жизнь!),
цветные, объемные. Глядя на снимок, видно бы-

ло, что сзади у птицекосмонавта крылья, зачехленные во что-то белое (уж не под ангелов ли рядились?!), руки держат по швам, на сапогах — прорези для когтей...

Прочный альбомчик, и тысячелетия ему ни-
почем! Дальше смотреть не стали, любопытство
сменилось беспокойством. Все вспомнили того
птицечеловека, а Николай Николаевич еще порт-
рет у старушки в Серпухове.

— Как бы чего с Тушкой не случилось... —
сказала Надя.

Валентин забрал у меня альбом и, размахнувшись, швырнул с холма. Рагожин хотел зашвырнуть туда же то ли компьютер, то ли мину, но раздумал и сунул под мышку. Мы стали спускаться.

Вечерело. После грозы воздух был выжидав-
ще-ласковый, ветерок какой-то подкрадываю-
щийся... Песок скрипел под ногами, будто жи-
вой... много песка было вокруг.

Мы шли по мертвому городу. Нумерация домов, я заметил, была довольно странная — почти все дома № 13... Николай Николаевич осматривал цифровые знаки, как умел расшифровывал. Получалось: «Нельзя!», «Не стоять!», «Не говорить!», «Не рассуждать!», и почему-то: «Не мыть руки перед едой!» Лишь одна надпись на фронтоне показалось смешной: «Живи и радуйся дол-
го!», но потом, засомневавшись, Померанцев перевел еще раз, и получилось: «Жизнь — не ра-
дость, а долг!»

Чаще других встречалась цифра «4», значит,

догадался я, «4» идентично букве «Н». «Они и похожи даже по начертанию! — опешил я. — Неужели с тех пор пошло? Уцелело... Четыре... Где еще четыре? Четыре стороны света! — вспомнил я. — А Земля — круглая! Значит, «4» подразумевает ограничение и запрет. И мы сами, прячась для удобства, ограничиваем себя... в четырех стенах! Стены... Квадрат... окна, двери! Районы!!! Мысли!!! Квадратная жизнь...»

Мы брали понурые, угнетенные. Стены, стены... развалины. Вышли на окраину, и вдруг Рагожин заорал благим матом (дословно: «А-а-а-а-а-а!..»), выронил из-под мышки то ли мину, то ли компьютер и принялся прыгать и махать руками.

Мы отскочили от него.

— Оно светится! Смотрите, светится! — Надя указывала пальчиком, а сама пятилась.

Мина, компьютер — черт его разберет! — светился алым, как раскаленный металл.

— Я обжегся! — голосил Рагожин, прыгая и махая руками. — Сначала приятно было... тепло! А потом... уй! Самое чувствительное место — подмышка!

— Почему чувствительное самое? — спросила Надя (отменное качество — любознательность, для исследователя природы — первое дело!).

— По... потому что... — Рагожин продолжал размахивать руками и, наверное, поэтому был очень смел в своих предположениях. — Потому что... волосы у человека растут в самых важных местах! На голове... на... — он замолк, а потом

махнул руками еще отчаяннее: — На месте очень важном... связанном с продолжением рода! И — под мышками! Волосяной покров расположен крестом, и в древности существовала так называемая волосяная религия!

Валентин таращил глаза. Надя старалась запомнить.

— Религия эта существовала у ряда племен Юго-Восточной Африки вплоть до об... обращения их в христианство!.. Огнем и мечом католическая церковь насаждала свою власть, и тогда те... стали рвать на себе волосы!.. Кстати, выражение «рвать на себе волосы» пошло именно оттуда и выражало высшую степень отчаяния!

Рагожин прыгал, махал руками, и меня пронзила страшная биологическая догадка!

— Волосы растут у человека под мышками потому... — сказал я и сделал паузу, — что это остатки... крыльев! Вот! Крылья атрофировались, а это — остатки!

Зловещая тишина повисла над Атлантидой.

— Вы хотите сказать, что?.. — начал медленно Николай Николаевич. — Что мы произошли не от жителей... не от исконных жителей Земли, а от этих?! — он ткнул пальцем в сторону. — От птицелюдей?

Валентин поднял руку, заглянул себе под мышку, хмыкнул, уставился на меня мрачнее тучи.

«Убьет!» — мелькнуло в воспаленном мозгу.

— Крылья за столь короткий срок атрофироваться не могли! — выкрикнул Рагожин. — И потом... мы же видели их потомка... одичавшего, озверевшего, но — потомка!

— Я, знаете, вот что заметила, — Надя смутилась, — у них там... в ракете... шесть сидений, и три из них — женские...

— Как женские?.. — начал я и замолк.

— Так... — Николай Николаевич задумался, — значит, они летали парами.

Рагожин перестал прыгать. Это открытие произвело на нас оцепеняющее впечатление, даже про мину-компьютер забыли, а оно!.. Во все время спора меня раздражало какое-то змеиное шипение, я повел взглядом и... обмер.

Мина, компьютер (или что там?!?) раскалился добела и плавил песок. Он погружался все быстрее и быстрее, оставляя скважину, стены которой были оплавлены и напоминали изнутри ржавую трубу.

Мне стало дурно. Лоб давила тяжесть, в затылке остренько билась опасная боль.

Николай Николаевич вытянул шею, заглянул в скважину.

Повернул лицо к нам. Поначалу мне показалось, что это не лицо, а знак вопроса.

— Видали? — спросил он, словно не веря своим глазам.

В голове, там, где гнездилась боль, что-то произошло, как бы разжалось, и я почувствовал власть над болью: я мог сделать ее сильнее, острее, шире, мог пригасить. Все в зависимости от того, что я думал. Как только я приближался в мыслях к чему-то главному, боль становилась яростной, начинал думать о чем-нибудь второстепенном, например о деньгах, — расплыва-

лась, как лужа. Если ничего не думал — проходила совсем.

Я заставил себя думать о скважине. Боль жгла, неистовствовала, лютела, но я терпел. И вот где-то на грани возможного явилась догадка-вопрос: «А почему именно в этом месте? Почему мина-компьютер раскалилась и ушла в землю именно тут?!»

— Сначала она была прохладной, как камень, — растерянно рассказывал Рагожин, — а потом...

— Иглоукалывание! — заорал я, боясь, что меня перебьют и я забуду. — Иглоукалывание, как у человека! Определенные точки на теле! Вы понимаете?!

По глазам я видел — Рагожин понял. И теперь знает почти все. Николай Николаевич тоже смотрел на Рагожина. И Надя смотрела на него по-детски доверчиво. Ну? Ну же! Говори, Рагожин, говори!..

Глава двадцать четвертая

Жизнь на Земле

— Жизнь на Земле зародилась, по утверждению ученых, несколько миллиардов лет назад. Ха-ха-ха-ха!.. — Рагожин злорадно и одиноко рассмеялся. — Вы чувствуете всю абсурдность и смехотворность этого утверждения: жи-знь... на Зем-ле? Вы понимаете?! (Мы пока не понимали ничего!) На Зем-ле! А самой Земле — в жизни отказано! Ха-ха-ха-ха-ха!.. То есть всякая козявка, клоп, дафния имеют право на жизнь: дышать,

питаться, размножаться, а Земля наша, матушка, — нет! («Действительно, — подумал я, — почему?») Но стоит только представить, что Земля живая, как все встает на свои места. Да, она была когда-то юная, озорная (Надя откинула волосы, выпрямила спинку), она была ребенком, и кто ее мама и папа, я не знаю (Николай Николаевич поднял брови): Но они обязательно есть или... были! Наша Земля, наша девочка! Красавица!..

— У нее и х-характер-то... женский! — сам себе удивляясь, подтвердил Николай Николаевич.

«Земля-матушка... Родина-мать...» — вспомнил я, и ступням сделалось жарко. Хотелось поджать ноги и повиснуть в воздухе.

— Теперь понятно, почему треснули, расплзлись материки... — Николай Николаевич понимающе покачал головой. — А что же... динозавры, ихтиозавры, ящеры, ледниковый период?

— Так ошибка молодости, дядя Коль! — просто объяснил Валентин. — Кто из нас в молодости!.. Надя!.. — закричал он. — Я должен тебе сказать правду, и именно сейчас! У меня, Надя, судимость! За хулиганство! Но поверь, Надя, я теперь не такой! Я!..

— Вы понимаете, она живая, а этот компьютер!.. Эта мина!.. — Рагожин схватил себя за голову и застонал.

Вечер в Атлантиде наступает быстро, будто кто занавес опускает. А ночь является, будто за дверью стояла. Не успеешь оглянуться — небо уже все в звездах, луна... Шум волн почему-то лучше слышно.

Четверо мужчин и одна девушка сидели на остывающем песке. Рядом из скважины, невидимый, но живой, поднимался запах страдания. Я представил, как раскаленная металлическая мушка вгрызается в мое тело, идет к сердцу... Зуд охватил кожу. Ой! Кольнуло сердце. Я притронулся к груди и... нашупал в кармане какой-то предмет.

«Шляпа! — вспомнил. — Шля-па... А зачем она птицеловеку?»

Смутно о чем-то догадываясь, я вытянул ее из кармана, расправил — необычная, конечно, на изнанке какие-то знаки, как схема радиоприемника... Нахлобучил ее на голову и... злая, буйная радость наполнила меня! Захотелось крикнуть: «А, гори все огнем!» — и поджечь что-нибудь. Огонь!.. Вообразил, как он красно и зловеще всходит над черными огрызками города, и в душе словно ворота раскрылись, сдерживавшие зачем-то внутри все неприятности. Огонь! И будто в душе огонь забушевал тоже. Весело сделалось, что небо чужое и далекое! Что мы — одни! Что дырку в Земле пробурили! Здорово!

Чего-нибудь сломать захотелось. Поднял щепку трухлявую, переломил — хорошо! Поднял камень, кинул в темень — ух, еще лучше! Шарахнулся кулаком по песку — ой, больно! Но сладко до невозможности! Блаженство!..

— Виктор, вы что? — покосился Николай Николаевич.

— Так... ничего, — ответил снисходительно. Встал, походил вокруг сидящих. Ох, тянуло меня к ним — у Николая Николаевича шея соблазни-

тельная, с ложбинкой... Так бы и дал ребром ладони, так бы и!.. Ох, сил нет сдержаться.

А у Валентина, что за щеки! Небритые, в лунном свете, как... два блина поджаристых! Так бы и отвесил ему оплеуху!

Ходил вокруг, присматривался, облизывался, примеривался.

Наденька, студенточка!.. Зашел со спины — волосики курчавенькие, непослушные, затылок доверчивый, нежный... Сил нет отвести от него взгляд, так бы и тюкнул булыжником в самую середку.

Аж пот прошиб, невозможно устоять перед искушением, помню, что друзья вроде бы они мне... вместе летели сюда... а устоять не могу. И глаза уже находят в темноте — лежит на песке то ли мачты обломок, то ли просто дубина... И беру я эту дубину, и в предвкушении губы облизываю, и голова кружится, и не верится — неужели свершится?! А посмаковать — зайти со стороны света, чтобы черная тень легла на бледные лица, чтобы взвизгнула девушка от страха, чтобы...

Я занес дубину, шагнул, как во сне, но... слава богу, забыл тогда про Рагожина, он-то и сбил меня с ног, сорвал с головы шляпу. Век ему этого не забуду и до последних дней своих буду ему благодарен за спасение души моей и спасение моих друзей тоже...

Ночная прохлада легла на воспаленный затылок, остудила. И озноб пробежал по всему телу, но не от холода, а от резкого отвращения к себе. Стыдно, обидно, жутко!

Николай Николаевич вертел в руках шляпу,

усмехнулся брезгливо. Валентин обнял Надю, за-
слонил плечом, на меня глядел волком.

Я поднялся и пошел к прибою. В груди, слов-
но гирю нес, такая тяжесть в душе...

— Вить, ты же не нарочно! — крикнул Раго-
жин. — Каждый мог бы надеть! Куда ты?..

Волны набегали на берег с ленивой методич-
ностью. Одиноко светила в небе луна... Что-то
меня роднило с океаном и небом. Казалось, что
тело помнит плотную толщу воды, простор не-
ба... Неслышно подошел сзади Николай Нико-
лаевич.

— Выбросьте вы все из головы... Слишком
серезная обстановка, чтобы думать лишь о се-
бе. Пойдемте в самолет, завтрашний день будет
для нас нелегким.

— Утопить ее к хренам собачьим! — раздался
из ночи голос Валентина.

— Пойдемте. Ну... — Николай Николаевич по-
ложил мне не плечо руку.

И что-то опять слезы выступили у меня на
глазах. Очередная волна распласталась у ног и
отползла, уступая место следующей. Ритмич-
ность и педантичность океана начали раздра-
жать. Подумалось, так вот и человек бежит по
жизни, бежит, а под конец лизнет берег своей
судьбы и — все.

* * *

Деда Рагожина — Фому Тимофеевича Рагожи-
на раскулачивали три раза. Он только кряхтел и
затылок скреб, ничего не понимая. Из крестьян,

то есть человек моченый, дубленый, каленый, он сметкой и хваткой отличался еще в русско-японской кампании 1904 года: окоп всегда самый глубокий выкопает, в атаку уйдет, так... грех вспоминать, однажды, когда дым рассеялся, смотрит: посредине центральной улицы города Осака стоит.

В первую империалистическую во время Брусиловского прорыва шел в первой шеренге...

Кособокая избенка на краю деревни Нахапетовки, что в Тульской губернии (недалеко от Ясной Поляны), встретила его как награда за верную службу царю, отечеству и революции. Братья и сестры — разметало их по белу свету. А родители — два креста на погосте...

Взял Фома горсть земли с могильного холмика и ушел в Москву. Там на этой горсти и возвел себе на окраине сначала одноэтажный дом, потом двухэтажный. Увидел как-то в газете фотографию американского небоскреба, задумался, а тут и конец нэпа. А он, надо сказать, в той горсти земли-то глину нашел, заводик поставил кирпичный, уголек тоже помаленьку добывал, щебенку — чего ж добру пропадать!

Вот его и турнули с насиженного места на Уральский хребет. Взял Фома жену свою Настеньку, детей взял, горсть земли завернул в чистую тряпичку, поклонился в пояс Москве-матушке, и — вот Бог, вот — порог. А вот хребет горный — Уральский. И что обидно, только отстроился — не мариновать же семейство под открытым небом, да и Настенька на сносях, — кабанчика дикого приручил, козу, медведя... Пшенку, манку,

просо посеял. А только первый и обильный урожай собрал со своей горсти земли — опять раскулачили! Приехали на подводе трое в дырявых сапогах, рожь отняли, манку сгноили, кабанчика зарезали, медведя убили, козу с собой увеличили — бумажку с печатью лиловой, где значилось, что кровопивец он народный, враг классовый. Загрустил Фома Тимофеевич, сел на камень, пригорюнился, а потом чувствует: странность какая-то от того камня исходит, глянул, а это — кусище золота. Самородище величиной с... детский горшок!

Отпихнул его Фома Тимофеевич сапогом (правым, ловко латанным), взял меньшую Вареньку на руки, старшему Сашке велел, чтоб крепче за руки держал Ванюшку, Танюшку, Сергуньку, Маняшу (мать Ю. И. Рагожина). Жене Насте наказал, чтоб за Олеинкой и Алешенькой по дороге лучше доглядывала, поклонился хребту Уральскому, такому же крепкому, как его собственный, сунул за пазуху горсть землицы родной и пошел со двора, куда справка велела, где ночи белые, где снега белые, где все белое-белое: и мечты, и совесть, и медведи.

Долго сказка сказывается, да недолго дело делается. А только когда прикатил уполномоченный Вострецов на собачьей упряжке, видит — дом стоит! Дом не дом — терем ледяной! А за окошками, рыбыми пузырями затянутыми, — свет горит семейный, уютный, и песня доносится, поет женский голос о сторонке далекой любимой, о молодце-удальце...

«И это в то время, когда поставки по мороженой рыбе в округе не выполняются!» — скривил тонкие губы в недоброй улыбке уполномоченный Вострецов. Начали раскулачивать...

Плюнул тогда Фома Тимофеевич густым плевком в мерзлую землю, в самую что ни на есть вечную мерзлоту, забрал детишек в охапку, жену на шею, горсть земли — в карман и зашагал широкими просторами обратно в Москву. «Знать, надо так, чтоб я нищим жил! — понял он. — Знать, такая во мне потребность государству...»

И родился Юра Рагожин в полуподвале в Ордынском тупике. Самый уважаемый человек в детстве — участковый капитан Артюхов. Вторая по общественному значению фигура — домоуправ Филиппов, третья фигура зловещая — стерва соседка Нюрка.

Фома Тимофеевич, старенький, в обрезанных валенках на босу ногу, сидел у окна, смотрел на мелькающие за пыльным стеклом ноги прохожих, и вся жизнь казалась ему такой — состоящей из одних мелькающих ног. Без головы, без рук, без смысла.

Хоронили его в 1957 году, во время Международного фестиваля молодежи и студентов. Весело тогда было в Москве, празднично...

А талант, упорство и никому не нужность перешли Юре Рагожину по наследству.

Тушка поджидал нас. Стоял тихий, присмиревший. Мы невольно сравнили его с кораблем пришельцев — никакого сравнения! Сколько в

Тушке благородства, какие чистые линии, гордая осанка, открытости! Нет, может быть, технически птицеловеки и обогнали нас, но по духовным качествам, по морально-нравственным ценностям отставали на несколько миллионов лет точно! Или.. может быть, ушли вперед на несколько сотен лет?!

Тушка встретил путешественников с распластанными крыльями. Но радость была недолгой. Командира его любимого, Михалыча, не было!

Поднялись в самолет, собрали кое-что на стол, сели. Всё молча. Губы от горя и возмущения не разжимались. Что делать? Был бы Михалыч, сказал. Пускай неправильно, пускай потомкаялся в своей ошибке, но хоть сказал бы, что сейчас делать — не сидеть же сложа руки.

Рагожин... все в нем было перепутано: слабость тела и сила духа, смелость творческого поиска и бытовая трусость (он даже здесь, в Атлантиде, продолжал бояться жены, ему мерещилось, что она может вдруг появиться из-за угла и сказать: «Посмотри на себя! До чего ты докатился!»). Ему бы подпорку в жизни, он бы!.. Ладно, не будем об этом.

Рагожин кое-как, разлепляя рот руками, сжал сырок плавленый и ушел в свой закуток, достал из чемодана бумажку, стал что-то на ней вычисывать. Я смотрел ему в спину, и горестно было и неловко, словно я смотрел на инвалида. И было мне, дураку сентиментальному, невдомек, что именно сейчас и именно он — Рагожин! — найдет путь к спасению!

Он выводил на бумажке формулы, бормотал:

«Из пункта А в пункт Б...», сопел, кряхтел, грыз карандаш, чесал страстно за ухом. «В одну трубу вливается, в другую... в другую... Ах вот оно что!!!»

Сколько раз он мечтал сделать великое открытие и гордо воскликнуть: «Эврика!», но всегда что-то мешало: то открытие заведомо никому не нужное, то совершил в неподходящей обстановке — ночью, а квартира коммунальная... А сейчас и крикнул бы, да что-то бутафорское явилось в этом слове, самодовольное, не наше... Поэтому, когда лопнул в голове пузырь мрака и решение проблемы ударило ярко, как луч прожектора, Юрий Иванович негромко произнес одно лишь слово: «Спасибо...»

Он подошел к нам, все еще сидящим за столом, и положил свою бумажку.

— Вот, — сказал он, — единственная возможность ликвидировать очаг — отвести канал, лучше тоннель от океана к скважине, и тогда во время прилива масса H_2O ...

Пелена спала с глаз, надо было действовать! Померанцев и Рагожин склонились над расчетами: какова протяженность планируемого тоннеля? Возможный объем земляных работ? Сроки! Эти и другие вопросы требовали уточнения, детальной проработки.

Горела свеча. Огонек вздрагивал от дыхания, пригибался. Было ощущение, что он внимательно слушает разговор и очень волнуется.

Валентин пошел искать лопаты, посмотрел под сиденьями, забрел в кабину. Луна смотрела в фонарь кабины... тихо светились зеленоватым

цифры на пульте. Он повернулся уйти, но что-то остановило его. Что? Вот оставленный Михалычом гаечный ключ... На полу тряпка... Валя на-гнулся, чтобы поднять ее, и... замер с вытянутой рукой.

На кресле командира не было писем!

Глава двадцать пятая

Великое противостояние

День — ночь, жизнь — смерть... Крутится Земля, и, как из ротационной машины, высекают новые жизни, судьбы...

Кому и зачем это надо?

Эх, годы, годы! Листья увядшие! Старались держаться за ветку покрепче. К солнышку тянулись, дождем умывались, собой любовались. За густотой вашей подчас и ствола не было видно. Но пришел черед: оборвались, облетели... сгреб вас дворник метлой в большой совок, бросил в большую кучу вам же подобных...

А подобных ли?! А те, кто всю жизнь по краю ходили?! Кто последний с ложкой и первый с молотком?! Э, нет! Не будем валить всех в одну кучу, мы не дворники.

Михалыч... Он-то за что должен пропадать там, в Земле, которую всю жизнь любил, воздевывал, защищал?!

...Скрюченный, покрытый инеем, лежал он в сплошной мгле. И не было здесь ни света, ни тепла, ни надежды. Сколько бы так пролежал Михалыч? Век? Два? Три тысячелетия? Возможно, нашли бы его, прекрасно сохранившегося, через

много-много веков далекие потомки нынешней цивилизации, вернули к жизни, дали бы работу по душе, женили. А что, наука вполне может шагнуть и столь далеко. А возможно, оживили бы его и — выставили для всеобщего обозрения, дивясь дремучей необразованности нашего современника и сладенько радуясь за себя? Впрочем, сколько бы лет ни прошло, а такие люди, как Михалыч, всегда будут в цене, если и не в почете!

Михалыч лежал на мерзлом грунте, но вдруг — что это? Прошуршало, прошумело там впереди? Откуда это потянуло живительным теплом? И все теплее, жарче...

Первая проталинка образовалась рядом с Михалычем, вторая... Изморозь на веках растаяла и сползла капельками по носу. Лоб тоже покрылся капельками. От изморози? Нет, это был пот! Михалыч ожидал...

Еще не открывая глаз, поправил фуражку. Охнул и попробовал приподняться, правая рука онемела. «Отлежал!» — подумал Михалыч. Не догадался, что она не разморозилась еще. Разлепил глаза — темнота. Но там впереди что-то, отблеск какой-то? «Ух, душно! Паленым, что ль, пахнет?..»

Встать не смог, ноги не слушались — не чувствовал их ниже колен. Тогда, помнится, впервые подумал: «Ног не чувствую, а соображать-то — все соображаю. Выходит, что ж: главное в человеке — мозг, а остальное так... приспособления?..»

Оказывается, сапоги были всему виной — голенища задерживали тепло, но вот Михалыч

поднялся. Постоял. Сделал первый, неустойчивый шаг, второй и — заковылял вперед. Качался, хватался за стены. А в лицо ему, в грудь было жаром, и дышать становилось все труднее. Надо было решиться и повернуть назад, но впереди был свет, а позади — тьма.

...Ночь в Атлантиде длится обычно столько, сколько хочешь. Мы хотели спать и хотели побыстрее проснуться со свежими силами. Так и сделали: легли и тут же встали.

Заря молодая, нежная всходила над Атлантидой. И, грубо разрывая ее, тянулся вверх из скважины столб серого дыма. И оседал на небосклоне грузными тучами, и упливали они вдаль.

Николай Николаевич распахнул дверь, первым выпрыгнул из самолета.

— Ой! — крикнул снизу. — Лестницу забыл...

Лопаты накануне нашли под креслом Михалыча в кают-компании. Там же были: ящик с гвоздями, моток проволоки, сломанные плоскогубцы, жестяная банка из-под растворимого кофе с болтиками, винтиками и шайбочками, ножовка по металлу, плоский фонарик без батарейки, сломанные женские часики «Слава», завернутые в листок из школьной тетради, и многое еще всевозможных вещей, необходимых хозяйственному человеку, как кислород.

Мы похватали без разбору лопаты, так что Наде досталась самая большая, и вдогонку за Померанцевым.

Он уже вышагивал по берегу, отмеряя рас-

стояние от прибоя. Океан ворчал, чуял неладное. Ветер налетал порывами, будто замахивался и ударял. Тревожно шевелились на песке мочалки водорослей.

— Здесь! — указал Померанцев в песок. — Будем копать здесь, углубимся на глубину десять...

— Пять! — поправил Валентин: его бы, специалиста, надо спросить в первую очередь, потом командовать.

— Десять... — сказал Померанцев.

— Пять! — за Валентином были производственный опыт, долгие годы общения со строительными рабочими.

— Ладно, на глубину... семь метров, — Николай Николаевич не повысил голос — не время для амбиций! — И будем пробиваться к скважине. Надо во что бы то ни стало успеть до прилива.

Копать начали с осторожностью. Песок летел во все стороны, лопаты мелькали, как сабли, — того и гляди снесут кому голову. Не до техники безопасности, успеть бы!

Углубились метра на половину, когда Надя закричала:

— Ой! Мальчики! Здесь же есть уж яма! Колодец-то, куда Михалыч упал!

Мы побросали лопаты, кинулись к колодцу. Из него тоже вился дымок, поднималось тепло.

— Они связаны подземным ходом! — Рагожин глядел безумными глазами. — Вы понимаете, они!.. Они это сделали! Они боролись! Папа!.. Мама!..

От возбуждения он чуть не свалился в колодец. Его оттащили силой.

— Нужно дождаться прилива, — возбужденно говорил Померанцев. — Начнется прилив, и тогда...

— Миха-лы-ыч!.. — вдруг завопил Валентин. — Там же Михалыч!.. Он ко мне, как к сыну-у!..

Николай Николаевич взглянул на солнце.

— У нас в запасе одиннадцать минут...

Океан уже набычился, уже расправил плечи, готовый к походу на сушу. Волнами играл, как бицепсами. Солнце пропало в дымных тучах.

— А-а-а-а!.. — Валентин отчаянно рванул на груди рубаху и побежал навстречу волне, упал в нее грудью, весь мокрый устремился обратно, к колодцу. Рубаха и брюки облепили крепкую фигуру, брызги летели, как искры. Наде на миг показалось, что это не Валентин, а один из тех гордых и недоступных атлантидцев с барельефа пробежал мимо и полез в колодец.

Счет шел на секунды. Прилив начался. Волны пошли на нас, как вражеские танки. Вот оно как обернулось: друг-оcean сделался врагом, а через несколько минут ему предстоит выполнить великую и святую миссию спасения (ну уж!) Земли...

Откуда-то прилетела чайка. Одна... Она настойчиво кружила над нами, кричала.

А дымок из колодца вился все охотнее. И запах появился. Знакомый...

Валентин шел вперед. Лицо заслонил ладонью с растопыренными пальцами, левое плечо выставил вперед, на случай если столкнется с кем-нибудь в дымном мраке. Он весь превратил-

ся в литое, единое «надо!», в снаряд, который выпустило детство его пионерское, колония трудовая, страна наша необъятная! И снаряд этот ни остановить, ни спрятаться от него — нельзя! Дым ел глаза, газ травил органы дыхания, да не по зубам им такой парень, как Валентин, коли он за дело возьмется!

Валентин щел, как в атаку штыковую, — и самому не жить, если Михалыча не спасет!

А Михалыч? Он оседал у стены, цеплялся, обсыпал себя крошевом... Не мог, не хотел повернуть назад, знал, что должен идти вперед, обнаружить источник выделения газа и по возможности обезвредить.

Валентин уже не загораживал лицо, он отмахивался от газа и дыма руками и двигался, как на лыжах. Ап!.. Ап!.. Ап!.. Х-хрясь! Споткнулся обо что-то, лбом в стену приложился. Наклонился, ощупал препятствие — человек лежит. Живой еще, мягкий. Михалыч — это был он, пошел вился, прошептал:

— Т-там... огонь!..

— Михалыч!.. Родной!.. Не волнуйся, это я — Валя, кх-кх!.. А там все наши!.. Они ждут тебя!.. Кх-кх-кх!..

Валентин говорил, хватал ртом отраву. А внутри уже включились часы: торопись! Когда пробивался к Михалычу, одна цель была — найти! Сейчас секунды стучали в висках, колотились в сердце. Он поднял Михалыча, обхватил за пояс, понес... Трудно, неудобно — а, была не была! — Валентин закинул Михалыча на плечо, попер.

Дышать было нечем, да он и не дышал, не думал. Он выносил своего командира с поля боя.

Волны подкатывали все ближе. Дым из колодца становился гуще. А из скважины уже был, как из пушки. Город затянуло маревом. Эх, Атлантида, Атлантида!.. Видимо, подлецы птицеловеки вслед за буром крепили шланг у горловины скважины, охлаждая и сжижая газ, у нас же получилось, что все пошло в атмосферу.

Рагожин! Он смотрел на город. Дома и улицы еле угадывались в серой мути. Вонь стояла во-круг несусветная. Рагожин мог поклясться, что уже пережил когда-то подобное, только волны были выше и песок крупнее... А если это потому?.. Он встал на колени — теперь совпадало точно: песок зернистый, волна — густая, словно и не волна, а ткань узорную кто на берег стелет. Значит, когда видел подобное, был маленьким. Но ведь он же родился в Москве?! Рагожин нашупал в кармане рыбку-игрушку и замер, боясь шевельнуться, потому что сердце могло не выдержать.

Первая волна, докатившись, плеснула в колодец, упала далеко, гулко. Вторая недотянула, зато третья грозила обрушиться всей мощью. И тут из колодца показалась мокрая, облитая голова Валентина и обтянутый сырьими брюками зад Михалыча.

— Руку!.. — прохрипел Валентин.

Мы бросились на помощь, потянули Михалыча за ремень. Надя от радости кинулась обнимать Валентина, и волна чуть не смыла их в ко-

лодец обоих. Хорошо, Николай Николаевич успел ухватить Надю за ногу, а уж она вцепилась в Валентина — не оторвать!

Волны одна за одной падали в отверстие, а потом вода надвинулась и воронкой завертело, засосало. Вода скручивалась в жгут и уходила вниз, словно океан бросал буксирный трос попавшему в аварию, терпящему крушение — кому?

Завороженно мы смотрели в воронку. Михалыч сидел на песке, отхаркивался дымом и копотью, оправдывался:

— На разведку пошел... Хотел как лучше...

А океан продолжал подползать, воронка вдавливалась, как пупок. Дым из скважины прекратился. Ветер относил хмару, продувал улицы. Солнце улыбнулось нам поощрительно.

Николай Николаевич достал свою забытую трубку.

— Ну вот и все, — сказал, как удивился. — Страшно подумать: сами... своими руками могли погубить земной шар!

Зажег спичку, но прикуривать не стал, подождал, дунул на огонек, убрал трубку в чехольчик.

Валентин глядел хмуро, вбок. Решившись на что-то, подошел к Николаю Николаевичу.

— Граж... товарищ Померанцев?..

— Что, Валь?

— Н-Николай Николаевич... надо лететь обратно!

Я навострил уши.

— А как же Тунгусский метеорит? — Николай

Николаевич посмотрел на меня, на Рагожина — слышим ли?

— Николай Николаевич, скважина там... в тайге... — выдавил Валентин. — Сверхглубокая...

Я шепотом пересказал Михалычу наши последние злоключения. Он нахмурился, покачал головой. Поднялся с песка.

— Похоже, и вправду надо собираться...

Рагожин молча смотрел в воронку. Неожиданно повернулся и, не сказав ни слова, зашагал в город. Когда маленькие мужчины идут широким шагом, это всегда трогательно. И предчувствие беды словно идет следом.

— Юра-а?! — окликнул я. — Ты куда-а?!

А что спрашивать? Ясно же, что — домой. Пшел, чтобы еще раз увидеть родные стены и попросить прощения (за что?), и мучиться от беспомощности, и терзать свою душу бессмертную... (Ах, бессмертную!!!) А зачем? Что он мог изменить?

Мы смотрели ему вслед, и надо было бы остановить его, да духу не хватало.

— Пусть пойдет... поплачет... легче будет, — сказал Михалыч.

— Пойдемте и мы, — вздохнул Николай Николаевич. — Пойдемте собираться в дорогу...

Мы шли по мертвому городу и смотрели на него уже иными глазами: родной, близкий, не город-концлагерь, а город борцов, героев. Теперь многое было понятно: воронка в песке, куда едва не засосало Валентина, — старая скважина, колодец и тоннель — дело рук атлантидцев. Но почему Атлантида оказалась под водой?

Я оглянулся и не смог сдержать крик испуга. Прилив не остановился, он наступал. Вода поднималась, и волны шли за нами почти по пятам. Мутные и длинные, они с погибельной наглостью прокатывались по улице и поднимались все выше и выше в город. Неужели Атлантида просела за счет вышедшего газа?!

— Нужно бежать! — сказал Николай Николаевич.

— Бегом... марш! — скомандовал Михалыч.

Как только появилась зримая опасность, он подтянулся, порозовел, даже одежда тут же высохла.

Мы побежали, оглядываясь, — не верилось, что так скоро и просто закончится наше пребывание в Атлантиде. Я как-то уже привык к ней: климат мягкий, малолюдно...

— Михалыч! — кричал на ходу Валентин. — Михалыч, а ведь горючего-то ни капли! Я скважину-то не пробурил!

— Сейчас не до горючего! — отвечал ему бедовый Михалыч. — Сейчас лишь бы ноги унести!

Поравнялись с особнячком, где жил маленький Рагожин тысячи лет назад.

— Юра! Юрка! Юрий Ивано-ви-ич!.. — заорали наперебой.

В окно высунулась перепуганная физиономия Рагожина. Увидел нас, слезы на глазах моментально высохли.

— Что случилось?!

— Сматываемся! — крикнул Валентин. — Атлантида ко дну идет!

Рагожин выскошил, надевая на ходу пиджак.

— А-а?..

Он что-то хотел спросить, Николай Николаевич схватил его за руку, потянул за собой.

Рагожин бежал задом наперед и свободной рукой махал дому: «Прощай!»

— Наденька где?! — Михалыч метнул напряженный взгляд по сторонам.

Надя замешкалась, вытряхивала камушек из туфли. Валентин подскочил, схватил ее на руки, побежал.

— Куда?! — заорал оглашенно Михалыч. — Нам в другую сторону!

Валентин, понятное дело, бежал, ничего не соображая, думая только об одном: «Лишь бы Наде было удобно! Лишь бы не уронить!»

— За мной! — гремел Михалыч. — Вперед!

А океан, коварный океан, подбирался к самолету уже с другой стороны, плескал свои волны под шасси, брызгал на дюралюминиевое брюхо «Ту-104».

Окраинные домики Атлантиды уже скрылись под водой неясными очертаниями, как отражение. Рыбины, той самой огромной породы, которых пытался поймать Михалыч, вместе с волнами шли на город, шныряли по закоулкам, вплывали в окна и в двери.

Тушка! Он увидел своего командира живым и здоровым и подпрыгнул от радости. Засиял иллюминаторами, сверкнул стеклами пилотской кабины. Без Михалыча и жить не хотелось, а тут — помахал хвостовым оперением, двигатели запустил, чуть форсаж не дал от восторга.

И Михалыч тоже не каменный. Обнял Тушку за левое шасси, прижался щекой. Промолвил: «Здравствуй, родимый!»

А Тушка наверху блаженства. Нет, правда, только в минуты испытаний открываются в нас лучшие душевые качества.

Полезли в самолет радостные, довольные, даже Рагожин улыбался, размазывал по щекам слезы. Конечно, нелегко ему было — понятно, зато уходил не по своей воле, корить себя не приходится.

— Как полетим-то?! — не унимался Валентин, чувствовал свою промашку с горючим.

— Как! Как! — весело отвечал Михалыч. — На честном слове! Вот как! Айда в кабину!..

В кабине сели по местам: Михалыч в кресло командира, я — на пол, остальные по рангу и способностям.

— От винта! — гаркнул Михалыч озорно и браво, как кричал в молодости, когда еще на «ПО-2» летал.

— Дверь закрыта, свечка погашена! — доложил Валентин. Вот что делает дисциплина: изменился парень за последнее время — не узнать.

— Ключ на старт! — закричал я неожиданно с пола. Тоже хотелось быть вместе со всеми, не бояться ответственности.

— Молодец, Витец! — похвалил Михалыч. — Освоил науку. А теперь внимание: все громко говорим: чест-но-е сло-во. Ну!

— Чест-но-е... сло-во!.. — вразнобой, но громко и старательно выкрикнули мы.

Тушка удовлетворенно дрогнул телом, качнулся крыльями и побежал на волну.

Волна! Я это видел своими глазами — она отступила! Сначала остановилась, а затем — отползла назад.

Тушка разогнался, и — сердце подпрыгнуло у меня в груди и — не упало, повисло. Самолет летел. Летел пока еще невысоко, и нам хорошо было видно покидаемый город. Вода уже поглотила его наполовину, осталась самая высокая часть.

— Вот та площадь! — показала пальчиком Надя.

— А вон!.. — Померанцев не договорил. Мы все смотрели туда же. Космический корабль раскорякой стоял на вершине, противный, как прыщ.

— Что это?! — я в ужасе разинул рот — никак, мне показалось, что из открытого люка кто-то выпрыгнул. Какая-то тень скользнула вниз и спряталась под днищем.

На лицах моих друзей была та же растерянность. Но никто из нас не промолвил ни слова.

Самолет выровнялся и стал упорно набирать высоту.

*Москва — Атлантида — Москва
1986 — 1987*

Про все хорошее *(сборное интервью)*





**Сборное интервью из опубликованных
в «Крокодиле», «Семье», «Трибуне»
«Экспресс-газете», «Эстраде и цирке»,
«Аргументах и фактах», «Полиграфисте»,
«МК-бульваре», «Литературной газете»,
«Антепне», «Книжном обозрении»**

— Как вы пришли к этой довольно странной профессии, Виктор Михайлович?

— Вернулся после трех лет в армии в Москву и очутился в комнате, где, кроме матраса, ничего нет. — иди куда хочешь. Устроился на завод, по-работал — чувствую, что-то не то в жизни происходит. Уволился, побежал по Москве место искать. Бежал мимо «Диафильма»; заскочил туда — устраиваться художником.

— Имелось для этого данные?

— Были какие-то путги непонятные, которые больше не от мозгов, а от нахальства. Мне сказали: художники у нас уже есть, нам требуется только корректор. Я говорю: согласен.

— Согласиться на такую нудную немужскую работу можно разве что от растерянности.

— Да, но у меня сразу появился письменный стол, телефон и пишущая машинка. И когда не было работы, я доставал со шкафа старый тяже-

лый «мерседес» и тюкал на нем свои произведения, от чего душа наполнялась неизъяснимым восторгом.

А началось все с ерунды. Шли с приятелем мимо старого здания МГУ, а там «Литературную газету» вывешивали, и такое количество людей у 16-й полосы собиралось, сегодня совершенно невероятно представить. Что-то там вычитывал народ, обсуждал. Юмор же везде дозировали, обстругивали, а «Клуб 12 стульев» был штукой особой. Меня что-то заело: я, говорю, такое запросто напишу. Пrijатель говорит: не напишешь. И тогда я стал каждый день писать по несколько «рогов и копыт» — рубрика была очень модная в свое время — и посыпать по почте. И в конце концов я их достал. И напечатали.

— *И получили первый гонорар — 4, 52. То есть по тем временам 10 копеек до бутылки «Старки» недобрали.*

— Публикация в «ЛГ» была покрепче «Старки». А уж когда вышла первая юмореска подписанная... Там же, возле МГУ, стоят люди, читают, я подпрыгнул сзади-то, и глаза сразу — бац! — схватили цепко фамилию. И у меня было ощущение, что я как подпрыгнул, так в воздухе и повис.

— *Это 70-й год, а выступать стали?..*

— В 72-м... И сразу ЦДЛ, ВТО, Политехнический... Каким-то боковым ветром вдуло меня на эти сцены. Ну а учиться приходилось уже у тех, с кем рядом выступал: Александр Иванов, Аркадий Арканов, Михаил Жванецкий...

— Все время сочинять смешное — это, наверное, достаточно изнуряет психику?

— Как мне сказал один начальник в Москонцерте, как бы спохватившись: «А почему юмор должен быть обязательно смешным?» Юмор, конечно, должен быть смешным, но с годами возрастает ощущение потери, какая-то внутренняя тревога возникает. Утром мозги говорят: «Нужно писать монолог», чтобы как-то удержаться в этой жизни. Но ведь вместо него ты уже не напишешь того, к чему, может быть, предназначен. Раньше казалось: все успеешь, а сейчас страх ползет. И потом, трудно: посмотреть новости про теракт и беженцев и сесть после этого фигачить нечто смешное.

— Зощенко писал в «Голубой книге»: «Мы, сатирики, вроде как бы и не люди, а собаки». И еще о том, что эта профессия вредная для здоровья и утомительная, располагающая к меланхолии и порче характера.

— Кстати, от характера многое зависит... По молодости я думал, что талант все победит, а теперь-то знаю, что без крепкого характера талант — что лопата без ручки.

— У вас в повести «Тут был Витя» есть такое суждение: «Это очень опасно — смеяться над другими. Месть наступает незамедлительно. И не только та людская, обычная. Что-то большое и тайное посыпает отраженный заряд в смехача. И попадает метко».

— Это точно, смех — бумеранг, он обязательно вернется. И злой тебя же и ранит, а добрый, пусть озорной, но не похабный, согреет и поможет. Даже Сергий Радонежский говорил, что смех очищает душу, и благословлял.

— Очищать-то очищает, но в той же вашей повести проступает самоощущение. И даже желание спрятаться: «Надо купить новую рубашку. Серую-серую, чтобы не выделяться даже на асфальте».

— Охватывает иногда такое желание. Хочется раствориться в воздухе, чтобы не быть соучастником в глупости жизни. Я не хочу сравнивать себя с маленьким сереньким невзрачным словьевем, но иногда приходится маскироваться. Как сказано у меня в другой книжке: «Притворившись дурачком, я хожу всегда бочком».

— Играете в воробышка?

— Воробей — честная птица, он не жаждет быть вороной или орлом. А у людей — кто-то мнит себя гениальным; а у иных способности большие, но побеждает привычка жить по-воробышковому, не отлетать далеко от помойки.

— И какую книгу вы посоветовали бы в таком случае?

— Есть такая книга. В ней написано: дорогу осилит идущий, там не написано: спорящий, орущий, обманывающий, даже — страдающий... Написано: и-ду-щий... шаг за шагом, постепенно... А у нас как: шагу не сделают, вытянут руку

и хотят достать то, что за сто шагов! И — не достают, капризничают, возмущаются. Толстая такая книга, там много еще полезного для рода человеческого.

— *А что вам не нравится в современной литературе?*

— Мне не нравится то, что нравится теперешним литературоценителям: вычурность без мастерства, скандал без смысла, цинизм мальчика, вошедшего не в жизнь, но в Интернет. А также убогость поползновений на историческую правду.

— *С кем из великих и знаменитых людей вы хотели бы познакомиться?*

— С Антоном Павловичем Чеховым. Ведь мы практически были соседями. Будучи начинающим писателем, он жил в одном из переулков на Сретенке, а я родился в соседнем Уланском переулке. Иногда меня посещает наивная и отчасти глупая мысль: оказаться в прошлом, встретить молодого Чехова и сказать ему: «Антон Павлович, не огорчайтесь, вы будете столь знаменитым, что даже через сто лет во всех главных столицах мира будут ставить ваши пьесы — «Дядя Ваня», «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры». А над юмористическими рассказами буду смеяться даже я, иссушивший свои мозги эстрадным репертуаром!»

— *Можно поподробней о детстве будущего юмориста?*

— В детстве у меня была самая знатная голубятня между Сретенкой и Мясницкой. И было много врагов, покушавшихся на моих голубей. Учился я в школе в Уланском переулке, где сейчас учится мой сын. Иногда я прихожу в школу за сыном и жду его, стоя под деревом, под которым стоял много лет назад. Я точно помню это ощущение — сентябрьское солнце, я с брезентовым портфелем, в дурацкой фуражке с кокардой, где листики и буква «Ш». И думаю: «Я стоял здесь, и впереди была вся жизнь, пугался чего-то, нервничал, а сейчас стою, и все — позади. Ради чего я переживал? Дерево то же, земля та же». Иногда забудусь, беру за руку сына и веду к своему бывшему дома, а дом давно сломали, только фасадную стену оставили. Недавно смотрю, к ней какую-то доску приколачивают, подхожу и читаю: «Памятник архитектуры XIX века».

— Действительно существует голубиная любовь, преданность?

— У меня вместе с почтовыми голубями была пара львовских шпанцирей. Эти шпанцири крупные птицы, и они у меня летали вместе с почтовыми. Мощная стая взмывала и уходила за Самотеку, Трубную площадь, скрывалась с глаз. Потом появлялась и уносилась в другую сторону, за Чистые пруды. А как мальчику, которому нужно в школу, эту стаю посадить? Представьте себе: летит высоко в ясном небе сильная стая, а я просто беру голубку шпанциря и показываю. И шпанцирь, увидев свою голубку, камнем падал вниз, а вслед за ним и остальные голуби возвраща-

лись в голубятню. Кстати, чем породистее и холенее голуби, тем привязанность у них сильнее.

— Виктор Михайлович, сейчас многих тянет в эстраду.

— Конечно, только зачем? Недавно позвонил один молодой. «Виктор Михайлович, вы учились на Высших театральных курсах, скажите, я могу туда поступить?» Я говорю: «Это было очень давно, я даже не знаю, есть ли сейчас эти курсы или нет. А зачем они вам?» Он говорит: «Ну так... вообще». Я спрашиваю: «А конкретно, что вы хотите?» Он говорит: «Я хочу жить в Москве, быть известным и получать много денег». Это дословно наш разговор.

— А как, на ваш взгляд, сейчас изменились отношения между писателем и издателем?

— Раньше было так: выпустил книжку — богатый человек, допустим, мог купить квартиру, а сейчас книжку выпустил — можешь только заплатить за квартиру. Причем плохую книжку выпустить легче, чем хорошую, и тираж у нее будет больше. Если бы в конце 70-х или в начале 80-х я где-то сказал, что хороший сборник Булата Окуджавы будет издан тиражом 4 тысячи, меня бы оплевали, а сегодня был в магазине — стоит на полке, и руки покупателей к нему не тянутся.

— А вы кто больше: артист или писатель?

— Когда обо мне говорят «писатель», я внутренне краснею, но за письменным столом чувствую себя спокойно. Я, может быть, и занялся бы чем-нибудь другим, но судьба втолкнула меня

в эти оглобли. Да к тому же и фамилия Коклюшкин обязывает. Коклюшками вяжут вологодские кружева, но по словарю Даля «плести коклюшками» — рассказывать байки. А поскольку прадед Тимофея Коклюшкин пришел когда-то в Москву из Смоленской губернии, то и получается, что кто-то из моих предков смешил людей, и я продолжаю эту традицию.

— *А чем занимался прадед в Москве?*

— Прадед держал ломовых, и довольно много, потому что только на Первую мировую у него взяли полсотни лошадей и телег. И сына Петра, моего деда, который тяжело раненный пролежал трое суток на нейтральной полосе, потерял здоровье и в 28-м году умер. А прадеда в 30-м, отобрав последнюю лошаденку, турнули из Москвы. Выслали как нежелательный элемент, как церковного старосту.

Бабушка со стороны отца была очень доброй, хлебосольной. И хотя в доме был достаток, каждый день вставала в шесть утра, сама пекла пироги. Баба Поля... Полина Ивановна. А бабушка со стороны матери — Александра Ивановна. А дед со стороны матери из Калужской губернии. Работал в типографии у Сытина рабочим, в двадцатые годы стал красным директором... Работал всю жизнь, но после его смерти ничего не осталось.

— *Вы на вид человек спокойный, флегматичный. А вас что-нибудь может вывести из равновесия?*

— Да не такой уж я и спокойный. А порой меня просто приводит в бешенство, когда человек, вместо того чтобы действовать, упорствует в своих заблуждениях. Очень не люблю, когда люди доверяют не собственным глазам и ушам, а чьим-то настояниям, внушениям, забывая известное: не создавай себе кумира...

— Если уж вы вспомнили заповеди, то скажите, как часто вы наносите визиты Бахусу?

— Все реже и реже. Когда употребляю алкоголь, я начинаю чувствовать, что меня обманывают. Мизерное количество жидкости являет мир не таким, каков он есть на самом деле. А возвращаться приходится в действительность. Поэтому жить нужно или в том мире, или в этом. Но иногда с устатку, промерзнув изрядно, оно, может, и не грех...

— Армейский опыт помог вам как автору юмористического жанра?

— В армии я понял: шутить надо аккуратно, чтобы не убили. Я служил в ракетных войсках и выпускал в роте стенгазету. Опубликовал там как-то частушку про своего товарища-сибиряка. А он ее прочитал раньше, чем успел сдать оружие после караула. Так он по всему гарнизону бегал с автоматом — меня искал. Хорошо, что в этот день я был в наряде на кухне и он до меня не добрался. Но отчужденность между нами осталась на все годы службы.

— Самая неудачная шутка в вашей жизни?

— Опять-таки в армии. Принято было заставлять человека плясать, если ему приходило письмо. Я решил пошутить над одним парнем, взял пустой конверт и говорю: «Пляши, тебе письмо!» Он не поверил: «Не может мне быть письма». — «Пляши, говорю!» Он и плясал и пел, а потом я протянул ему пустой конверт. Никогда не забуду его лица. Оказалось, парень из детдома и ему действительно неоткуда было ждать писем. Я этого не знал, но все равно почувствовал себя скотиной.

В Киеве, помню, плохо пошутил... Привезли с приятелем сценарий на киностудию. Сценарий не приняли, потому что не соответствовал утвержденной заявке. Мой соавтор и редактор расстроились, и, пока шли к гостинице, они все чего-то обсуждали, и в лифте обсуждали, даже перед номером остановились и все никак не могут успокоиться. Ну а я вошел в номер, подождал-подождал, потом распахнул с шумом окно, опрокинул стул, а сам спрятался в стенном шкафу. Влезли они в номер — никого нет! Мой приятель Альбинин кинулся к окну, склонился с подоконника и закричал вниз... «Витя, куда ты?! У нас же бутылка!»

— Я знаю, он заведовал тогда юмором в «МК»...

— В «Московском комсомольце» был крепкий отдел сатиры и юмора. Замечательная тогда была атмосфера! Платили мало, писали много! Помню, в Театре эстрады был устный выпуск. Ко мне подошел главный редактор и говорит: «Вить, там будут люди из ЦК, поэтому ты давай что-ни-

будь поострее». А надо сказать, что дело было еще до антиалкогольной кампании, в артистической накрыли большой стол, выпивки столько, что глаза разбегались. Мне предлагаю, а я отказываюсь. Вот сейчас, говорю, выступлю, а уж потом... И все было бы хорошо, не скажи мне Гусев «поострее». Я же человек прямой — что сказали, то и делаю... Вышел на сцену и стал читать. И главное, еще те, кто из ЦК, в первом ряду, нормально восприняли, смеялись. А вот когда я вышел за кулисы, кругом ни души. Захожу в артистическую, сейчас, думаю, выпью с кем-нибудь... Так, помнится, коньечку хотелось, тем более что и заслужил вроде. И вы знаете, до сих пор обидно. Выглядываю я из этой комнаты, чтобы кого-то позвать, и вижу: в конце коридора появляется одинокая фигура. Заметила меня — и как ветром сдуло! Теперь этот человек живет за границей и, наверное, рассказывает, как он тут тоже с чем-то боролся.

— Виктор Михайлович, как вы считаете, за что вас любят зрители?

— Думаю, что за наивность. Это то качество, которое я сохранил с детства. Кроме того, я продолжаю верить во что-то светлое. Людям интересно смотреть на человека, который в это верит, потому что сами уже ни во что не верят... Да это и понятно: слишком много ложных целей было. Вот многие и сбились с пути.

— Трудно было перестраиваться, когда рухнул Советский Союз?

— Самое смешное, что я не перестраивался. В Библии написано: «И последние станут первыми»... А я всю жизнь посредине.

— *Как вы относитесь к слову? Вам не страшно, что слово может заставить человека плакать или смеяться?*

— Трепетно отношусь, с опаской. Вообще считаю, что лучше молчать, но работа заставляет быть разговорчивым и на сцене, и на бумаге. Что такое слово? Это как пальцы музыканта, нажимающие на те или иные клавиши, только слово нажимает на клавиши человеческого характера, подсознания, на клавиши образования. Слово общается не с телом, а с душой; та чужая душа, по народной поговорке — потемки. Человек, раненный словом, ранен на всю жизнь. Поэтому каждую репризу приходится рассматривать со всех сторон, как бы кого невзначай не обидеть. А плачет человек не над словом, а над собой. Опыт жизни диктует реакцию.

— *Вы верите во всевышнюю силу творчества? Как вы думаете, это не случается с помощью сверхъестественных сил?*

— Все мы под Богом ходим. Говорить о своей творческой силе нахальство. Даже работоспособность и трудолюбие — качества не приобретенные, а врожденные. Да и жизнь подкидывает примеры, когда еще вчера талантливый человек нынче хлопает пустыми глазами. Талант — это не терпеливая жена, которая все прощает; талант, если ему изменили, исчезает, испаряется,

а вместо него в душе остается зияющая дыра. И ни водкой ее не зальешь, ни самообманом не заткнешь.

— Удивлялись ли вы, когда вам приходила на ум какая-нибудь, скажем так, талантливая фраза?

— Самая талантливая фраза соскаивает с пера неожиданно, но для этого надо разбежаться, что легче, когда пишешь повесть. Если пишешь монолог, который начинается: «Иногда мне кажется, что, когда я умру, провожать меня в последний путь придут телевизор, холодильник, батарея парового отопления и кресло, если, конечно, не будет занято...», то правила игры, в которую ты приглашаешь поиграть зрителей, уже обозначены, вопрос в том, примут ли они их. Над этим монологом, помню, публика в свое время очень смеялась.

— Кстати, какое место юмор занимает в вашей семейной жизни?

— Иногда слышу утром фразу жены — и вечером уже читаю ее со сцены. Например, открывает она холодильник и говорит: «Что ты будешь есть, у нас ничего нет!» Она просто так сказала, а над этим тысячи людей смеются. Или иногда изрекает нечто философское: «Тебя очень трудно кормить. Ты съешь котлету — и сразу об этом забываешь». Я ей говорю: «Записывай, что говоришь, и тебе не будет равных!» И что же — послушала и недавно книжку выпустила.

— Юмористическую?

— Нет, она человек серьезный, у нее два высших образования.

— Да, жизнь юмориста сурова. Но, может быть, хотя бы дети относятся к вам лояльно?

— Дети относятся ко мне с большим снисхождением. Постоянно учат жить — больше же некому. Иногда жалеют. Но воспитатель я неумелый. Когда дочке было года три, она плохо кушала. Как-то долго настаивая на том, чтобы она что-то поела, я взял деревянную линейку и ею слегка шлепнул дочь. Она надулась и ушла в другую комнату. А потом вышла и сказала: «Разве можно людей бить линейкой по попе?!» Людей! Представляете?! Это меня сразило наповал. Сын в школу еще не ходил... жалуюсь ему: и то не то, и это не так. «И зачем, — говорю, — все это надо?» А он подумал и мудро отвечает: «Значит, надо». Я откуда-то из-под проблемы глянул, а он посмотрел на это сверху. Попроще я... Меня обидят, я думаю: почему обидели меня, Витю? А дочь уже в три года восприняла обиду общечеловечески — «людей»!

— Вы считаете себя джентльменом?

— Нет, потому что это подразумевает определенный образ жизни и своеобразное отношение к ней. Так же, как, например, я не могу считать себя джигитом или гвардейцем. Это все звучит гордо, но от меня далековато. Джентльмен — более эгоистичен, джигит — более воинствен, а я — мирный житель, ремесленник и созерцатель.

— Ваш созерцательный взгляд хотя бы время от времени падает на вас самого? Как вы себя оцениваете?

— Все больше убеждаюсь, что я себя не люблю. Ни походку, ни фигуру, ни образ мыслей, ни поступки. Хотя пришлось смириться с тем, что я вижу в зеркале. И, знаете, в этом есть какое-то ощущение свободы и непривязанности к самому себе. Тогда как остальные привязанности: к близким, к природе, к профессии — прочны и долговечны.

— Перед вами стоит такое понятие, как долг перед искусством, перед обществом? И вообще, долгов у вас много?

— Долг перед самим собой. Я не хочу умирать прозревшим к старости пустоцветом. Материальное состояние довольно зыбкое. А задолжал я людям, близким — внимание и много-много добрых слов.

— В отношениях с девушками вы тоже всегда оставались юмористом?

— Нет, тут я был романтик и лирик, а проще говоря — дурак. Я читал много романов, поэтому все девушки казались мне принцессами из неземного царства. Первая любовь случилась, когда мне годика три было. Я в детстве сахара много ел, поэтому все так хорошо помню. Во дворе у нас была девочка Наташа. И вот как-то я вылез из песочницы, где мы лепили куличики, поднялся в ее квартиру и попросил у ее бабушки разрешения жениться. На вопрос: «Где же вы будете

жить?», я отвечал: «Построю дом», на вопрос: «Какой?», я, как сейчас помню, ответил: «Из кирпича». Посмеявшись, ее бабушка сказала, что меня звали домой. Я сбежал домой — оказалось, не звали. Вернулся обратно к Наташиной двери, стучал, слышал голоса, а мне не открыли. Я обиделся и женился на другой, но уже через много лет...

— Чрез какой срок начинает окупаться деятельность писателя-сатирика морально? А материально?

— Морально, как только люди в зрительном зале начинают смеяться. Материально... если бежать по этой гаревой дорожке, то превратишься в халтурщика. Сытого и как бы виноватого. Крупные же личности: Сервантес, Гоголь, Гашек, Булгаков, Зощенко, жившие в разное время и в разных странах, от трудов праведных не построили палат каменных. Гоголь был в постоянной финансовой зависимости, как собака на поводке, Зощенко в письме Федину в 53-м году писал, что лишен всяческих заработков... Кстати, не одолжите сто рублей? Шучу, шучу...

— Как вы относитесь в творчестве к гиперболе, абсурду, фарсу?

— Хорошо отношусь. Но в нашей стране что-нибудь преувеличить трудно. Какой-то очень Всевышний сатирик смеется над нами. Что уж остается нам, маленьким, на этой земле, где требования людей растут быстрей умения, где завтрашний день желаннее сегодняшнего, что само

по себе уже абсурд, потому что завтрашнего дня может и не быть!

— Как вы думаете, помогает ли человеку в жизни его творческий потенциал?

— И да и нет. Творческий потенциал — это груз, который может нести только натренированный человек. Слабый оставляет его, забывает и, идя налегке, постепенно заболевает завистью к тем, кто этот груз несет. Еще можно сказать, что творческий потенциал — это богатство, которое можно приумножить и щедро оделить других, а можно промотать... Все тут непросто. Вообще, я заметил, что нетворческие люди счастливее чаще.

— Вы спите спокойно?

— Сплю, как живу. Если ничего не делаю, сплю спокойно, если в башке копошатся мысли... Я азартный, в детстве, проявляя фотопленку, не мог утерпеть и выхватывал ее из проявителя. Пленка приходила в негодность, но мне хотелось быстрее узнать, что у меня получилось.

— Как вы относитесь к прессе? Я имею в виду искусствоведческую. Делите ли вы ее по цветам, по географической принадлежности? Получаете ли какую-нибудь пользу от чтения статей? Или, может быть, хоть какое-то удовольствие?

— За редким исключением искусствоведческая пресса малопрофессиональна, зависима от личных отношений, высокомерна к молодым и льстива к устоявшимся авторитетам. Более ин-

тересны и профессионально полезны выступления в печати мастеров жанра. И то если они не перешли возрастную черту, когда все, что было раньше, — хорошо, а все, что сейчас, — плохо. Любопытны бывают интервью, но в основном в центральной прессе о юморе пишут походя, как бы делая одолжение. Ну а как пишется, так и читается.

— Все чаще можно слышать выражения «простые граждане», « рядовые граждане»...

— Когда я слышу выражение « рядовые граждане», невольно думаю: «А кто же граждане-генералы? Уж не чиновники ли мздоимцы? А может, артисты, взахлеб играющие бандитов и тем на-саждающие в обществе уголовные нравы и понятия? А может быть, депутаты, жалобно выпрашивавшие перед выборами голоса избирателей и напрочь забывающие о своих обещаниях? И кто тогда скромный учитель женской гимназии из Калуги Константин Эдуардович Циолковский? И кто, в конце концов, Иисус Христос, въехавший в Иерусалим на осле, а не на колеснице (так и хочется сказать: «с мигалкой»). Нет, не нам раздавать звания! Доверимся в этом вопросе Все-вышнему. А вас я могу успокоить: если не нравится выражение « рядовые граждане», ждите 9 мая. Только в этот день говорят: «народ-победитель». А в остальные дни — электорат, толпа, чернь. Короче, простые граждане.

— Как вы относитесь к пародиям на самого себя?

— Пародия — признак популярности, а к популярности я отношусь, как солдат к своей форме: какую командование выдало, такую и ношу. Популярность юмориста — особенность профессии, и не более. Особенность профессии шпиона — чтобы его не знали, хирурга тоже не будешь демонстрировать во время операции...

— Ваш лучший друг, подруга?

— Мой лучший друг — разум, а подруга — совесть.

— А что вы скажете вообще про нашу жизнь?

— Скажу... мне кажется, что кто-то неведомый и сильный смеется над нами: подкидывает нам кошелек на веревочке, как мы сами поступали в детстве, и только мы протягиваем руку, кошелек отдергивает, гогота беззвучным смехом. Пугает нас нами же самими, как когда-то в детстве в комнате смеха: сует кривое зеркало и говорит: «Это вы, криворожие». А правительство сует другое зеркало, где мы толстомордые, и спрашивает: «Видите, как хорошо вы выглядите?» Коммунисты подсовывают зеркало длинное и узкое, вопя при этом оглашенно: «Смотрите, до чего вас демократы довели!» И опять за спиной беззвучный гогот, от которого сотрясаются не барабанные перепонки, а трепетная человеческая душа, расположение коей в нашем теле учеными пока не определено, потому что, по мнению некоторых, она находится в груди, а по ощущению большинства — в пятках!

— Что бы вы могли пожелать нашим читателям, Виктор Михайлович?

— Пожелать... один артист на дне рождения у спонсора сказал: «Желаю вам так же прожить ещё сто лет!» На что спонсор обиделся и сказал: «Ты что — я полжизни в тюрьме просидел!»

Поэтому, чтобы не попасть впросак, желаю всем просто: счастья!

Издательство «ЭКСМО»

СОВРЕМЕННАЯ САТИРИКА

Сборник юмористических рассказов и анекдотов
отечественных и зарубежных писателей.
Сборник включает в себя 150 юмористических рассказов и анекдотов.
Сборник включает в себя 150 юмористических рассказов и анекдотов.
Сборник включает в себя 150 юмористических рассказов и анекдотов.
Сборник включает в себя 150 юмористических рассказов и анекдотов.
Сборник включает в себя 150 юмористических рассказов и анекдотов.

Литературно-художественное издание

Виктор Коклюшкин

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Том пятьдесят второй

Ответственный редактор М. Яновская

Художественный редактор А. Мусин

Технический редактор О. Куликова

Компьютерная верстка Т. Комарова

Корректор Н. Сгибнева

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksмо.ru E-mail: Info@eksмо.ru

Подписано в печать 06.09.2007.

Формат 84x108¹/32. Гарнитура «Букмэн».

Печать офсетная. Бум. тип. Усл. л. 26,88 + вкл.

Тираж 5000 экз. Заказ 2948.

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат», 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34. Телефон/факс (4822) 44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.

E-mail: reception@eksмо-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ООО «ТД «Эксмо»
E-mail: foreignseller@eksмо-sale.ru**

International Sales:

*For Foreign wholesale orders, please contact International Sales Department at
foreignseller@eksмо-sale.ru*

**По вопросам заказа книг «Эксмо» в специальном оформлении
обращаться в отдел корпоративных продаж ООО «ТД «Эксмо»
E-mail: project@eksмо-sale.ru**

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksмо-sale.ru, сайт: www.kanc-eksмо.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.
В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Ставки, 243А.
Тел. (863) 268-83-59/60.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литер «Е».
Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел./факс: (044) 537-35-52.

Во Львове: ТП ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым» ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:

117192, Москва, Минуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 780-58-34.

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12, тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

ЧОНКИН ЖИЛ, ЧОНКИН ЖИВ, ЧОНКИН БУДЕТ ЖИТЬ!

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чоннина

РОМАН

Книга I. Лицо неприкосновенное

Книга II. Претендент на престол



ТОВАРИЩ
ЧОНКИН
КЛАССИКА!

БУДЕТ СМЕШНО ДО СЛЁЗ!

www.eksmo.ru

ЧОНКИН ЖИЛ, ЧОНКИН ЖИВ, ЧОНКИН БУДЕТ ЖИТЬ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ
УНИКАЛЬНОГО САТИРИЧЕСКОГО РОМАНА,
созданное в 2007 году!

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина

Книга III. Перемещенное лицо



БУДЕТ СМЕШНО ДО СЛЁЗ!

www.eksмо.ru



**Сборники
афоризмов и цитат
от Константина Душенко –
незаменимые книги
в вашей домашней библиотеке**

Константин Васильевич Душенко – историк, культуролог, переводчик. Сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. Над каждой книгой К. В. Душенко работает очень тщательно. Вот почему его сборники получают самые высокие оценки журналистов, историков, культурологов, литературоведов и считаются лучшими в своем жанре.

За последние годы продано свыше 1,5 млн. экз. его книг.

*Самая лучшая коллекция афоризмов –
остроумных, деликатных и изысканных*

*Незаменимое справочное пособие
журналистов, политиков, писателей
и других профессионалов слова*

Книги современны,
так как содержат
высказывания и афоризмы
не только деятелей прошлого,
но и наших современников –
Владимира Путина,
Михаила Жванецкого,
Алисы Фрейндлих,
Барбры Стрейзанд,
Иоанны Хмелевской,
Елены Яковлевой,
Татьяны Догилевой,
Ирины Хакамады и др.





~~Сколько же, а не не
суета. Да и не суета
это, а ошибка. Но
и забывание~~

~~всё же
всё же
и не забывание~~

~~и не забывание
и не забывание
и не забывание
и не забывание~~

~~и не забывание
и не забывание
и не забывание
и не забывание~~

~~и не забывание
и не забывание
и не забывание
и не забывание~~

~~и не забывание
и не забывание
и не забывание
и не забывание~~

~~и не забывание~~

если "република" не поддается
искусственному управлению, то
зачем же ее создавать?
~~зачем~~ нет границ
~~зачем~~ нет союза

~~Чтение~~ и
репортажи о событиях в стране
и за рубежом, а также о работе
и жизни политических партий, профсоюзов, организаций.
~~А также~~ о работе
и жизни политических партий, профсоюзов, организаций.
~~Сообщения~~ и «Репортер».

my ~~neighbor~~ people. I'd carry
it to a place where

~~165-00~~

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Виктор Коклюшкин

Антология Сатиры и Юмора России XX века

— Он крикнул:
— Ау!
Эхо ответило:
— Заткнись!

В. Коклюшкин

России XX века

России XX века

ISBN 978-5-699-23546-9



9 785699 235469 >

Сатиры и Юмора России XX века